

А К А Д Е М И Я Н А У К С С С Р
И Н С Т И Т У Т Я З Ы К О З Н А Н И Я

В О П Р О С Ы Я З Ы К О З Н А Н И Я

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ — ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1969

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Е. Курилович (Краков). Флексии прилагательного в балтийском и славянском.	3
Б. А. Серебrenников (Москва). Существовали ли в протоуральском языке именные классы?	12

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. М. Маковский (Москва). Опыт типологической характеристики лексико-семантических систем	24
Э. М. Медникова (Москва). К критике некоторых современных методов лингвистической семантики	37

К дискуссии о славянском аканье

Я. Риглер (Любляна). Общеславянское значение проблемы аканья	47
П. Ивич (Нови Сад). О древности аканья в славянских языках	59

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Ф. П. Филин (Москва). Из истории синтаксиса восточнославянских языков. О форме именительного падежа имен женского рода на -а (-я) в значении акузатива	70
В. А. Дыбо (Москва). Среднеболгарские тексты как источник для реконструкции праславянского ударения	82
И. И. Ревзин (Москва). Так называемое «немаркированное множественное число» в современном русском языке	102
М. Г. Прядохин (Москва). Семантическая структура недоговорки — особого типа китайских народных речений	110
С. Б. Тощьян (Ереван). Слогораздел и строение слога в армянском языке	116

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В. П. Вомперский (Москва). Неизвестная грамматика русского языка И. С. Горлицкого 1730 г.	125
---	-----

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М. М. Глушко (Москва). <i>H. Kučera, W. Nelson. Computational analysis of present-day American English.</i>	132
И. Г. Милославский (Москва). <i>Зд. Ф. Оливериус.</i> Морфемный анализ современного русского языка	134
Н. В. Кирпичникова (Москва). <i>М. Кубик.</i> Условные конструкции и система сложного предложения; <i>М. Кубик.</i> Изъяснительные конструкции и способы их порождения	136
Г. А. Хабургаев (Москва). «Московская деловая и бытовая письменность XVII в.»	141

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

А. С. Аманжолов (Алма-Ата). Илийские рунические надписи	147
О. Г. Гецова (Москва). К проблемам диалектной лексикографии	151
Хроникальные заметки	165
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию	167

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахмидова, В. В. Виноградов (главный редактор),
 В. М. Жирмунский (зам. главного редактора), Э. А. Макаев, М. В. Панов,
 В. З. Панфилов, И. И. Ревзин, Ю. В. Рождественский, А. А. Серебrenников,
 Н. И. Толстой (отв. секретарь редакции), О. Н. Трубачев

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. 228-75-55

Е. КУРИЛОВИЧ

ФЛЕКСИИ ПРИЛАГАТЕЛЬНОГО В БАЛТИЙСКОМ
И СЛАВЯНСКОМ

Согласно традиционному мнению, склонение так называемого сложного, или определенного прилагательного (форма, состоящая из прилагательного + указательное, или «артиклевое» **ios*) представляет морфологическую изоглоссу для балтийской и славянской групп индоевропейской языковой семьи. При ближайшем рассмотрении оказывается, однако, что имеются два существенных различия между флексией *gēras* + *jis* (литов. *gerāsis*) и флексией *dobr̃ + jь* (*dobr̃jь*), а именно: 1) различие между простыми формами, входящими в состав сложных; так, мы находим, например, в дат. падеже ед. числа церк.-слав. *dobru* (как *то̃жу*), но в литов. *gerām* (как *јām*, а не *ṽjruī*); 2) с другой стороны, имеется весьма существенная разница в отношении акцентуации. В балтийском присоединяемый местоименный элемент всегда является энклитическим. В славянском этот элемент — с точки зрения акцентуации — рассматривался как суффикс (см. ниже).

Указанные расхождения следует объяснить первоначальным различием синтаксического и семантического употребления, обусловившего морфологические следствия в склонении как сложного, так и простого прилагательного.

Прежде всего необходимо объяснить проникновение в балтийский местоименных окончаний во флексии простого существительного. Это морфологический признак, наблюдаемый только в балтийском и в германском (но не в славянском). Принципиальное тождество флексий типа *jis* и *gēras* в литовском, типа *sa* и *goþs* в готском и т. д. вполне очевидно. Склонение простого прилагательного в балтийском и «сильного» прилагательного в германском, таким образом, представляет значительное отклонение от индоевропейской модели, для которой характерно морфологическое тождество существительного и прилагательного.

Формы падежей прилагательного, подвергшиеся морфологической ассимиляции со стороны форм местоимения, следующие:

Литов. ед. число дат. пад. <i>gerām</i>	как <i>јām</i>	но <i>ṽjruī</i>
мест. пад. <i>geram̃</i>	» <i>јam̃</i>	» <i>ṽjre</i>
мн. число им. пад. <i>geri</i> (<* <i>gerie</i>)	» <i>јĩ</i>	» <i>ṽjrai</i>
дат. пад. <i>geriems</i>	» <i>јiems</i>	» <i>ṽjrams</i>

В готском во всех трех родах прилагательное претерпело изменение флексий:

Муж. род ед. число дат. пад. <i>godamma</i>	как <i>Famma</i>	но <i>daga</i>
вин. пад. <i>godana</i>	» <i>fana</i>	» <i>dag</i>
мн. число им. пад. <i>godai</i>	» <i>fai</i>	» <i>dagos</i>
род. пад. <i>gedaize</i>	» <i>fize</i>	» <i>dage</i>
дат. пад. <i>godaim</i>	» <i>faim</i>	» <i>dagam</i>

Ср. род ед. число им.-виш. пад.	<i>godata</i>	как	<i>bata</i>	но	<i>waïrd</i>
Жен. род ед. число род. пад.	<i>godaizos</i>	»	<i>fizos</i>	»	<i>gibos</i>
мн. число род. пад.	<i>godaizo</i>	»	<i>fizo</i>	»	<i>gibo</i>
дат. пад.	<i>godaim</i>	»	<i>faim</i>	»	<i>gibom</i>

Местоимение не оказало влияния на все падежные формы, где такое влияние было возможным. Так, в готском мы находим дат. пад. ед. числа от формы жен. рода *godai* (ср. *pizai*). В северном и западном германском, однако, существует изначальное тождество окончаний местоимений и прилагательных. Ср. др.-исл. *spakrar*, *spakre* (как *þeirar*, *þeire*); др.-англ. *blindre* (род. и дат. пад.) как *þære*; др.-в.-нем. *blintera*, *blinteru* как *dëra*, *dëru*.

Какова бы ни была причина (или скорее мотив) подобных расхождений, их существование не противоречит тому факту, что направление морфологического давления было от местоимения к прилагательному, а не наоборот.

Важно отличать эту балтийскую и германскую особенность от с п о р а д и ч е с к о г о появления местоименных окончаний в некоторых падежных формах существительного. В то время как только что упомянутые изменения касаются прилагательного как такового, окончание типа лат. $\ddot{i} < *oi$ (им. пад. мн. числа муж. рода) было введено в парадигму $-o$ -основ в о о б щ е (а не только прилагательных), что, однако, не сопровождалось наличием каких-либо других черт местоименного склонения. Причина инноваций типа лит. *gerâm*, *geramë* и т. д., гот. *godamma*, *godana* и т. п. должна, поэтому, быть иной по сравнению с фактором, обусловившим замену лат. $-ôb$ на $*oi$ во флексиях как к с у щ е с т в и т е л ь н о г о, так и п р и л а г а т е л ь н о г о.

Что касается изменений, общих для существительного и прилагательного, то причина их представляется вполне ясной. Имеется тенденция, используя различия между флексиями местоимения, избегать омонимии окончаний, особенно смешения между окончаниями им. и виш. падежей (муж. рода мн. числа) или смешения родов. Такое смешение угрожало возникнуть между окончаниями им. и виш. падежей мн. числа $-o$ -основ мужского рода. Ср. лат. $-ôb$ и $-ons > -ôs$; в др.-ирл. окончание $-u$ зват. падежа мн. числа, т. е. старого им. падежа мн. числа, омонимично $-u$ виш. падежа мн. числа; в лит. $-ôs > -uos$ и $-ôns > -uos$. Везде $-oi$ было результатом замены фонетического развития старого $*-ôb$ (им. падеж мн. числа) или, вернее, различие $-oi : ôns$, засвидетельствованное в парадигме местоимения (санскр. *té : tân* против *vrkâh : vrkân*) было воспринято как существительным, так и прилагательным.

П о л н а я а с с и м и л я ц и я именных и местоименных окончаний произошла в греческом. Как правило, именные окончания были введены во флексию местоимения (тоб, тф, тѳ и т. д.); однако $-oi$ вместо $-os$, возможно, обусловлено тем фактом, что различие между $-ôs$ и $-ôns$ в некоторых диалектах стало слишком незначительным ($-ôb : ôb$), а в других и вовсе исчезло (дорийск. $-os$).

В противоположность языкам типа латинского, другие языки сохранили фонологическое различие $-ôs : ôns$ и, таким образом, не имели нужды пользоваться местоименными флексиями: санскр. $-âs : ân$; авест. $-â : -ân$; гот. $-os : -ans$; в пределах италийского в умбрском различается $-us$ от $-ôs$ (*Ikuvinus* «игувинцы») против виш. $-u(f)$ из $-ôns$.

С другой стороны, мы склонны объяснить распространение санскритского творительного падежа на $-ena$, $-ayā$ (окончания местоимения $-tēna : tāyā$) на именные основы $-a$, $-ā$ (*vr̥kēna*, *sēnayā*) тенденцией различения родов. Эта тенденция, конечно, сильнее в отношении прилагательного,

чем существительного. Унаследованным окончанием творительного падежа ед. числа в индоиранском было *-ā* как для *a*-основ муж. рода, так и для *ā*-основ жен. рода (Wackernagel — Debrunner, III, стр. 34). В славянском введение *-oi* в форму им. падежа мн. числа муж. рода можно отнести за счет тенденции к различению муж. рода от женского (*-ōs > -ās*).

В балтийском склонение сложного, или «определяемого» прилагательного характеризуется энклитическими формами местоимения *-*jō-*, присоединяемого к флексивным формам прилагательного, например, литов. *geró-ji* (слав. *dobra-ja*). Первоначальная автономия *jis, jì* засвидетельствована еще в древнелитовских формах типа *žaisla pa-jo-prasta* «обыкновенная игрушка», *visi su-jie-spausti* «все угнетенные», *pra-jis-puolės* «погибший», где местоимение (*jo, jie, jis*) вставлено между превербом и личным глаголом (E. F r a e n k e l, Die baltischen Sprachen, стр. 82 и сл.). Соответствующими современными формами были бы *paprastóji, suspáustieji, prapúolėsis*. *Jis* как регулярный энклитик, всегда присоединяемый к прилагательному, представляется поэтому относительно недавним явлением.

Форма типа литов. **gēras jis (geràsis)* могла представлять либо «синтаксическую», либо «семантическую» субстантивацию прилагательного, если под субстантивацией понимать автономное использование прилагательного, не сопровождаемое определяемым существительным. В случае синтаксической субстантивации прилагательное относится к существительному, уже упомянутому в предыдущем рассказе или диалоге. Семантическая субстантивация имеет место, если прилагательное с присоединенным к нему указательным местоимением относится к о б ъ е к т у, а не к с л о в у, как в случае синтаксической субстантивации. Ср., например, литов. *raudonàs-is (raudonó-ji)* «золотая монета» (*raudónas* «красный»), *baltó-ji* «белая (т. е. чистая) водка» из *báltas* «белый», *kruvinó-ji* «дивентерия» (*krūvinas* «кровавый»), *greitó-ji* «спешка» (*greítas* «торопливый»).

Различение между «синтаксической» и «семантической» субстантивацией весьма важно. Оно основано на двойной функции указательного местоимения — соответственно анафорической и деиктической. До тех пор пока форма типа слав. *dobrě + jь* соотносится с существительным, а не с внешним предметом, прилагательное согласуется с этим засвидетельствованным существительным (встречающимся в тексте) и сохраняет свою унаследованную флексию [в *dobrě + jь* прилагательное выступает в своей вторичной синтаксической функции (обычно оно используется как атрибут)]. Однако если форма типа литов. *raudónas + jis* становится с существительным, т. е. знаком внешнего предмета, соотношение между *raudónas + jis* меняется. В этом случае местоимение начинает представлять обозначаемый предмет и флексия прилагательного согласуется с флексией местоимения. Тот факт, что *raudónas* определяет *jis*, а не существительное, обуславливает частичное изменение флексивных окончаний прилагательного. Последнее стало возможным в связи с унаследованным согласованием некоторых падежных форм местоимения *jis* и прилагательного на *-o-*. Так: *jō: gēro, jū: gerū, jaīs: geraīs* и т. д. (падежные формы с идентичными именными и местоименными окончаниями), *jám: gerám, jamè: geramè, jiemis: geriemis* (вместо **gēruì, *gerè, *gerámis*).

В балтийском развитии характеризуется тенденцией к использованию таких «семантически субстантивированных» прилагательных сначала в анафорической функции, а затем в виде приложения (следовательно, и в функции обычного определения). Наряду со старой группой **gēruì vj-ruì* (дат. падеж ед. числа) возникает новая конструкция: *gerám jam vj-ruì*. С этим можно сопоставить другие хорошо известные факты типа нем.

der grosse Karl: Karl der Grosse, или франц. *le grand Charles* и *Charles le grand*.

Здесь, однако, возникает основная проблема. Почему противопоставление между *gēruī vŷruī* (дат. падеж ед. числа): *gerám jam vŷruī* не сохранилось? В действительности единственной представленной формой является не **gēruī vŷruī*, а *gerám vŷruī*.

Оппозиция между *gēras vŷras* (**gēruī vŷruī*) и *gēras jis vŷras* (*gerám jam vŷruī*) превратилась в связи с ослаблением местоимения (последнее имеет тенденцию быть одинаковым по значению с артиклем) в противопоставление между простым и сложным «определенным» атрибутом. Последний, т.е. форма *geràsis*, проникает в первоначальную семантическую сферу *gēras*, особенно в сферу, соответствующую использованию определяемого артикля во многих других языках: речь идет о функции детерминации (*geràsis vŷras* «the good man»: *gēras vŷras* «a good man») и функции обобщения [*pilkàsis genŷs* «серый дятел» (подразумевается весь вид, а не его отдельные представители)]. Неопределенная форма *gēras* становится маркированным членом оппозиции *geràsis: gēras*.

Лишенная некоторых своих прежних функций, парадигма определения *gēras* под давлением сложной формы *geràsis* соответственно претерпевает следующие изменения: *gēro-jo: gēro*, *gerŷ-ju: gerŷ*, *geràšs-iais: geràšs-gerá(m)-jam: gerám* и т. д.

Окончательным результатом этого обобщения местоименных окончаний является возникновение морфологического различия в именной флексии (противопоставления прилагательного существительному). Ср. дат. падеж ед. числа *gerám* (прилаг.), *geruī* (сущ.); *labám* (прилаг.): *lábui* (сущ.).

Принятие местоименных окончаний прилагательным облегчалось в связи с тем упрощением, которое претерпело склонение прилагательного в балтийском. Практически оно было низведено до одного типа, а именно *-(j)a*-основ. Даже в (продуктивных) прилагательных на *-u*- единственными унаследованными окончаниями, реально представленными в мужском роде, являются *-us* (им. падеж ед. числа), *-aus* (род. падеж ед. числа), *-u* (вин. падеж ед. числа) и *-ūs* (им. падеж мн. числа).

В связи с тем, что в славянском не имела места какая-либо формальная семантическая субстантивация прилагательного, судьба склонения прилагательных здесь была менее сложной. Первичная функция форм *dobrŷjŷ*, дат. *dobrujemu* и т. д. принципиально была анафорической, т.е. при автономном использовании сложная форма прилагательного первоначально относилась к слову, а не к предмету (синтаксическая субстантивация). В более поздний период сложная флексия проникла в синтаксическую позицию атрибута и стала соперничать с простыми формами.

В славянском присоединяемый местоименный элемент воспринимался как форматив, сама сложная форма — как дериват простой формы. Именно этим фактом можно объяснить странную акцентуацию сложного прилагательного в славянском. Местоименный элемент перестал быть энклитиком и стал вести себя как суффикс в том отношении, что на него могло падать или не падать ударение в зависимости от акцентуации и интонации корня простой формы. Отсюда и различие:

ед. число	род. падеж	<i>p'blna</i>	<i>p'blnajego</i>	<i>sŷxa</i>	<i>suxajegò</i>	<i>dobrŷ</i>	<i>dobrajegò</i>	
»	»	дат. падеж	<i>p'blnu</i>	<i>p'blnujemu</i>	<i>sŷxu</i>	<i>suxajemŷ</i>	<i>dobrŷ</i>	<i>dobrujemŷ</i>
мн. число	им. падеж	<i>p'blni</i>	<i>p'blni</i>	<i>sŷsi</i>	<i>susi</i>	<i>dobrŷ</i>	<i>dobrŷi</i>	

После сращения сложные формы выступают, например, в русском, с одной стороны, в виде *пáлно́го, пáлно́му, пáльные*, а с другой стороны, в виде *сухогòб, сухомú* и т. д. Эта старая акцентуация все еще засвидетель-

ствована в патронимах типа *Дурновб*. Под давлением форм, в которых ударение падает на корень, типа *пблный, пблного, пбльному, пблные* и т. д. прилагательные типа *сухбй* приняли колонное ударение: *сухбй, сухбого, сухбму, сухбй* и т. д. (вместо **сухобо* и т. д.).

Такое развитие энклитического местоимения совместимо с ранними стяжениями и упрощением сложной парадигмы. Так как энклитическое местоимение становится суффиксом, появляется тенденция к лишению предшествующего прилагательного флексивных окончаний и к сохранению только флексии суффиксов. Отсюда, в частности, частичное обобщение корня *рылну* — *сылу* в некоторых языках, например в русском: *пблным, пбльных* < *рылнотъ-итъ* (дат. пад. мн. число), *рылнотъ-итъ* (твор. пад., ед. число), *рылнехъ-ихъ*, в то время как в *пблные, пбльных, пбльными* (вин., род., твор. пад. мн. числа) и является фонетическим элементом. В польском языке формы род. пад. *pełnego*, дат. пад. *pełnemi* (с первоначально долгим, а затем закрытым *e*), полное слияние окончаний прилагательного с местоимением было доказано последующим распространением стяженных групп в местоименном склонении, ср. диалектн. *tégo, témi* (закрытое *e*) вместо унаследованного *o*.

В литовском, где энклитический характер *jis* обусловлен более недавними процессами, энклитическое местоимение и в то же время полная флексия предшествующего прилагательного хорошо сохранились. Имеются некоторые спорадические упрощения, которые можно объяснить чисто фонетическими причинами, например, выпадение *m* под влиянием диссимилляции в формах ед. числа дат. пад. *-ám-jam* > *-ájam*, местн. пад. *-amè-jame* > *-ájame*, мн. число дат. пад. *-iems-jiems* > *iesiems* и соответственно в женском роде.

Гипотезу, предложенную здесь для объяснения различия между балтийским и славянским «определенным» прилагательным, можно проверить, если обратиться к аналогичной эволюции в германском. На исторической стадии развития гот. *sa goþa*, дат. *þamma godin* против *goþs*, дат. *godamma* (с местоименными окончаниями) продолжает более старое противопоставление **sa goþs*, дат. падеж **þamma godamma* — *goþs*, дат. падеж *godamma* [последняя форма заместила форму дат. падежа **goda* (как *daga*)]. В начальной стадии развития в германском было параллельно развитию в балтийском, если отвлечься от отличия местоименных элементов (проклитическое *sa* в противоположность энклитическому *jis*): гот. *godamma*: **þamma godamma*, как и литов. *gerám*: *gerá(m)-jam* с обобщением местоименной флексии как в сложной, так и в простой форме (если назвать **þamma godamma* сложной формой). Известно, что в германском **sa goþs* в случае семантической субстантивации было заменено п р о з о д н о й формой. Так же, как, например, в греческом, вторичные существительные производились от прилагательных посредством суффикса *n* (ср. греч. *οὐρανός*: *οὐρανίον*). Гот. *þamma godin* вытеснило как синтаксически субстантивированное прилагательное, так и атрибут, подобно тому как на предыдущей ступени развития **þamma goda* было вытеснено формой **þamma godamma* в обеих этих функциях.

В германском, как и в балтийском, влияние местоимения на флексию «сильного» прилагательного облегчалось единообразием склонения прилагательного: если не принимать во внимание некоторые формы им. падежа ед. числа основ на *-i-* и *-u-* (ср. гот. жен. род *hrains*, муж. и жен. род *hardus*, сред. род *hardu*), все другие засвидетельствованные падежные формы восходят к основам на *-(i)σ*: *-(i)ā*.

Чтобы суммировать сказанное, представляется уместным подчеркнуть, что местоименная флексия «сильного», или простого прилагательного (соответственно в германском или балтийском) в конечном итоге

была обусловлена формами с местоименными элементами (или «артиклем»), которые первоначально функционировали как семантически субстантивированные прилагательные, затем как синтаксически субстантивированные прилагательные и, наконец, как определения. Только в тесной связи с местоимением прилагательные могли управляться последними (в виде согласования) и принимать их особые флексивные окончания. Став определенными, они навязали свои местоименные окончания простому прилагательному. Литовские формы типа дат. падеж *gėrui*, им. пад. мн. числа *gėrai* и т. д. представляют старые прилагательные, «семантически субстантивированные» до распространения местоименных окончаний.

Изложенные выше соображения, как нам представляется, носят довольно общий характер, ибо дают возможность приблизиться к пониманию флексии прилагательного в других языках (ср., например, прилагательное в албанском). Последнее имеет два склонения: «неопределенное» и «определенное», причем в обоих случаях прилагательное сопровождается артиклем (или, вернее, выделяется с помощью различных артиклей). Короче, мы имеем дело со следующим: 1) В некоторых падежных формах имеется различие в форме артикля. Так, в форме вин. падежа ед. числа и им.-вин. падежа мн. числа используется артикль *e* в определенных, *tē* — в неопределенных формах прилагательного. В обоих случаях прилагательное вместе с артиклем стоит в позиции после определяемого существительного. 2) Если прилагательное предшествует существительному (такая возможность возникает, как правило, только в поэзии, и лишь в исключительных случаях в прозе), артикль всегда неопределенный.

Судя по аналогии балтийского и германского, можно быть склонным рассматривать определенную форму прилагательного (в позиции после существительного) как позднейшую инновацию флексии прилагательного в албанском. Неопределенная флексия вместе с несколько другой формой артикля продолжает старую определенную флексию, функция которой была сужена до неопределенной под влиянием недавней инновации. Став функционально неопределенной, старая определенная форма полностью вытеснила унаследованное прилагательное без артикля. Схематически сопоставление албанского материала с литовским и готским может быть представлено в следующем виде:

	Первая стадия	Вторая стадия
Литов.		
неопред.	* <i>gėrui</i>	<i>gerám</i>
опред.	<i>gerám-jam</i>	<i>gerá (m) jam</i>
Гот.		
неопред.	* <i>goda</i>	<i>godamma</i>
опред.	* <i>famma godamma</i>	<i>famma godin</i>
Алб.		
неопред.	* <i>mirē</i>	<i>tē mirē</i>
опред.	<i>tē mirē</i>	<i>e mirē</i>

Тот факт, что литов. *gerám* (гот. *godamma*) стало неопределенной формой на стадии II ведет к тому, что старая неопределенная форма **gėrui* (гот. **goda*) вытесняется. Тот факт, что в алб. *tē mirē* стало неопределенной формой на стадии II, ведет к вытеснению старой неопределенной формы *mirē* (без артикля). Возобновление формы определенного артикля повело к понижению статуса форм, первоначально склонявшихся с определенной флексией.

С точки зрения общего языкознания весьма поучительна синтаксическая взаимосвязь между существительным и прилагательным. Ср. в литовском:

Синтаксическая функция

1. Атрибут (**gēruī*)
2. Синтаксическая субстантивация (**gērui jam*)
3. Семантическая субстантивация (*gerām jam*)
4. Аппозиция (*gerām jam*)
5. Определенный атрибут (*gerájam*)
6. Атрибут (*gerām*)

Часть речи

прилагательное
 прилагательное
 существительное
 существительное
 прилагательное
 прилагательное

Процессы словообразования, как правило, мотивируются синтаксическими функциями. Приведенная выше схема дает возможность понять структуру существительных, производных от прилагательных (стадия 2—3: «синтаксическая → «семантическая» субстантивация) и прилагательных, образованных от существительных (стадия 4—5: аппозиция → определенный атрибут, «синтаксическая адъективация» → «семантическая адъективация»).

В славянском не произошло изменений одной части речи в другую, ибо здесь развитие было ограничено стадиями 1, 2, 4, 5.

Кроме синтаксической субстантивации, прилагательное, главной или первичной функцией которого является роль атрибута, может подвергнуться другому кардинальному синтаксическому изменению, а именно «синтаксической» или «семантической» вербализации. Различие между прилагательным, используемым в качестве именной части сказуемого (независимо от того, применяется ли при этом связка или нет), и атрибутом больше, чем между атрибутом и его синтаксической субстантивацией. Это часто поддерживается морфологическими фактами, что видно, например, из сравнения противопоставления краткой формы русского прилагательного в его предикативной функции и формы прилагательного, функционирующей и как атрибут, и как синтаксически субстантивированное прилагательное. Ср. также отсутствие противопоставления рода и числа в немецкой форме *gut* в предикативной функции в отличие от его полной флексии в других случаях как в атрибутивных, так и в субстантивированных формах.

История славянского прилагательного показывает, что в предикативной функции можно ожидать сохранения старых, «окаменелых» форм прилагательного, т. е. форм, полностью вытесненных из парадигм прилагательного в атрибутивной функции.

Другой важной синтаксической функцией прилагательного, находящейся как бы на полпути между атрибутивной и предикативной, является так называемая сопредикативная функция. Конструкции с сопредикатом предполагают первоначально предикативное членение именной группы, которая на первый взгляд кажется атрибутивной конструкцией. Очень часто, хотя и не всегда, имеются формальные различия адъективного сопредиката в отличие от обычного атрибута (например порядок слов). Следует различать два вида сопредикативной функции: 1) когда адъективный сопредикат соотносится с подлежащим предложения; 2) когда он соотносится с дополнением.

А ргіогі можно ожидать следующее распределение: сопредикат, относящийся к подлежащему предложения (т. е. только к именительному падежу), будет иметь ту же форму, что и предикативное прилагательное. С другой стороны, сопредикат, определяющий дополнение, изменчивый в отношении падежа (вин., дат. и т. д.), может оказаться более подверженным влиянию флексивной атрибутивной формы.

Категорией, первичной синтаксической функцией которой — роль сопредиката, является причастие. В своей вторичной функции в качестве атрибута причастие ведет себя как прилагательное. В случае дифференциации между сопредикативной и атрибутивной функ-

цей атрибутивная форма становится просто прилагательным (отглагольным прилагательным), в то время как сопредикативная форма продолжает соотноситься с системой спряжения глагола. Ср. исп. *escrito, frito* в противоположность *escribido, freído*. Ср. также разрыв между некоторыми английскими причастиями и соответствующими отглагольными прилагательными (*drunk : drunken*) или русскими причастиями на *-ённый* (печённый) в противоположность отглагольным прилагательным на *-ёный* (печёный).

В рамках сопредикативной функции может возникнуть указанный выше разрыв, а именно дифференциация между сопредикативным причастием, определяющим подлежащее, и сопредикативным причастием, определяющим дополнение. Последнее должно быть флексивным, в то время как первое, по необходимости безразличное к изменению падежных форм (и относящееся только к именительному падежу), легко теряет также и различие рода и числа, становясь герундием.

Такой формальный раскол можно обнаружить в славянском и для прилагательного: в сопредикате, относящемся к подлежащему, мы находим такую же скудную парадигму (т. е. такие же краткие формы), как и в предикативной функции (дифференциация только по роду и числу). В сопредикативных функциях, относящихся к дополнениям, краткие формы представлены только, если они являются флексивными (как, например, в сербскохорватском); в противном случае должны использоваться полные (т. е. атрибутивные) формы (как в русском и т. д.).

Предикативное использование прилагательного (например, в русском *он бел*) — вторичная синтаксическая функция (первичной функцией является атрибутивная). Можно назвать ее «синтаксической вербализацией». Под «семантической вербализацией» мы будем понимать и р о з в о д с т в о глагола от прилагательного, например, в русском *бел — белеет*. В своей первичной причастной функции причастие выступает первоначально как сопредикат, а во вторичной функции — как атрибут («синтаксическая адъективация» причастия). «Семантическая адъективация» причастия осуществляется формальным расколом типа того, который имеет место между русск. *печённый* и *печёный* или исп. *freído* и *frito*. Но, с другой стороны, источником происхождения причастия всегда является девербативное прилагательное [ср., например, индоевропейское глагольное прилагательное на *-to-* или *-no-*, которое постепенно стало элементом системы спряжения во многих индоевропейских языках (но не в санскрите или в греческом)].

Взаимосвязь между прилагательным и глаголом может быть представлена в виде следующей таблицы:

Синтаксическая функция	Часть речи
1. Атрибут	прилагательное
2. Предикат (синтаксическая вербализация)	прилагательное (+ связка)
3. Предикат (семантическая вербализация)	глагол (личный)
4. Сопредикат	глагол (причастие)
5. Атрибут (синтаксическая адъективация)	глагол (причастие)
6. Атрибут (семантическая адъективация)	прилагательное

Эта таблица дает возможность понять образование глаголов от прилагательных (стадия 2—3; «синтаксическая вербализация» → «семантическая вербализация») и образование прилагательных от глаголов (стадия 5—6, «синтаксическая адъективация» → «семантическая адъективация»).

Две таблицы, приведенные в настоящей статье, показывают соотношение между прилагательным и существительным, с одной стороны, и между

прилагательным и глаголом — с другой. Синтаксическая функция и часть речи — взаимозависимы, но только косвенно. Говоря о «синтаксической» субстантивации или вербализации прилагательного, мы имеем в виду его синтаксическую функцию; при этом переход одной части речи в другую не наблюдается (во всех случаях прилагательное остается прилагательным): изменение касается ф л е к с и и, а не деривации. Флексия может быть синтетической, например, в русском *белый* (синтаксическая вербализация — *бел, бела, бело, белы*) или аналитической, например, в английском *white* (синтаксическая вербализация *is white, are white*); синтаксическая субстантивация — *the white one*. Говоря о «семантической» субстантивации или «семантической» вербализации прилагательного, мы имеем в виду деривационный процесс, например, *the red, the reds* (индейцы) или *to redden*, русск. *краснетъ* (красный).

Только на основе различия синтаксического и деривационного аспектов становятся понятными отношения между членами предложения и частями речи.

Что же касается проблемы, которой посвящена настоящая работа, то именно различие между синтаксической и семантической субстантивацией лежит в основе расхождения славянского и балтийского склонения прилагательного.

Перевед с английского М. М. Маковский

Б. А. СЕРЕБРЕННИКОВ

СУЩЕСТВОВАЛИ ЛИ В ПРОТОУРАЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
ИМЕННЫЕ КЛАССЫ?

1. **Постановка вопроса.** Этот вопрос может показаться несколько необычным, поскольку хорошо известно, что никаких показателей именных классов в уральских языках нет; подобная проблема прежде вообще никогда не ставилась. Сущность классного деления имен существительных заключается в том, что все имена существительные обычно разбиваются по известному ряду признаков на определенные категории или классы, причем каждый такой класс получает свой специфический показатель. Так, например, в суахили класс, который характеризуется префиксом *m-*, объединяет существительные, обозначающие людей (например, *m-tu* «человек», *m-toto* «ребенок»); класс, показателем которого служит префикс *ki-*, обозначает неодушевленные предметы (например, *ki-tu* «вещь», *ki-kombe* «чашка») и т. д.¹ Действительно, ничего похожего в уральских языках на первый взгляд как будто бы нет. Вместе с тем в уральских языках наблюдаются факты, наводящие на предположение о существовании в уральских языках в древнейшую эпоху если не классного деления существительных, то во всяком случае явления, типологически близкого подобному делению.

Такие факты в изобилии содержатся в двух капитальных обобщающих трудах по словообразованию в уральских языках, появившихся в 30-х годах почти одновременно². Каждый, читавший работу И. Дьёрке, не мог не заметить интересную особенность словообразовательных суффиксов в уральских языках: один и тот же суффикс часто является одновременно именным и глагольным словообразовательным суффиксом. Так, суффикс *-l* дает отыменные образования (типа нганасанского *juā-lā* «песчаный» от *juā* «песок», горно-марийск. *šimā'l-γə* «черноватый» от *šimə* «черный»); этот же суффикс часто передает многократность действия (например, фин. *riihe-le-* «неоднократно говорить» при *riihi-* «говорить»), а в некоторых случаях — значение мгновенности или понудительности действия, а также используется для образования отыменных глаголов³. Заслуга Дьёрке заключается в том, что ему удалось во многих случаях доказать генетическое тождество сходнозвучающих суффиксов. Оказалось, например, что в основе многих значений суффиксов первоначальным было значение уменьшительности⁴. К такому выводу в известной степени уже приходили предшественники И. Дьёрке — Й. Буденц и Й. Синнеи, которые отмечали, что значение принадлежности может выражаться при помощи суффиксов,

¹ См.: Е. Н. М я ч и н а, Краткий очерк грамматики языка суахили, в кн.: «Суахили-русский словарь», М., 1961, стр. 516, 517 и сл.

² См.: J. G y ö r k e, Die Wortbildungslehre des Uralischen (Primäre Bildungssuffixe), Tartu, 1934; T. L e h t i s a l o, Über die primären ururalischen Ableitungssuffixe, Helsinki, 1936.

³ J. G y ö r k e, указ. соч., стр. 35—38.

⁴ Там же, стр. 81, 87, 94, 95.

имеющих уменьшительное значение⁵. Т. Лехтисало сделал из этих фактов также некоторые выводы, которые сводятся к следующему: 1) наличие основ с одновременным именным и глагольным значением представляет реликты той эпохи, когда имя и глагол еще не различались и не было особых глагольных или именных производных суффиксальных элементов; 2) в некоторых случаях представляется достаточно очевидным, что первоначальным значением суффикса было уменьшительное значение. В прауральскую эпоху суффиксы могли получать различные вторичные функции и значения⁶.

Широкий диапазон возможностей каждого уральского словообразовательного суффикса вряд ли результат простой случайности. В системе значений каждого суффикса следует искать первоначальное значение, послужившее исходным пунктом дальнейшей деривации; для ряда случаев такое первоначальное значение уже обнаружено, это уменьшительное значение. Возникает, однако, вполне закономерный вопрос: если большинство суффиксов первоначально имело уменьшительное значение, то чем можно объяснить такую усиленную потребность уральского языка-основы в уменьшительных суффиксах? Пытаясь ответить на этот вопрос, естественно предположить, что первоначальным значением многих уральских именных и глагольных словообразовательных суффиксов была не уменьшительность, а нечто иное.

Во всех современных уральских языках обнаруживается довольно большое количество суффиксов собирательной множественности. С большей или меньшей долей уверенности можно выделить десять суффиксов собирательной множественности: *-a (-ja)*, *-č*, *-i (-j)*, *-k (-kk)*, *-l*, *-m*, *-n*, *-r*, *-š*, *-t*. Назовем их предварительно показателями классов собирательной множественности.

К л а с с *-a (-ja)*. Как показатель собирательной множественности суффикс *-a* встречается в коми-пермяцком языке, например, *koz-ja* «ельник» (т. е. совокупность некоторого количества елей) от *koz* «ель», *požum-a* «сосняк» от *požum* «сосна», *kužža* «березняк» (<*kužja*), от *kuž* «береза». Можно предполагать, что показатель данного класса содержится в окончаниях мн. числа *-jo-s*, *-o-s*, *-ja-s*, встречающихся в пермских языках, например: удм. *busy-os* «поля», *tir-jos* «топоры», коми-зырян. *vör-jas* «леса» и т. д., а также в финских образованиях типа *mei-jä* «наша община», *tei-jä* «ваша община», *hei-jä* «их община». Любопытно при этом отметить, что названия некоторых пород деревьев в финском языке имеют суффикс *-ja (-jä)*, например: *petä-jä* «сосна», *pihla-ja* «рябина», *kata-ja* «можжевелник» — вероятно, некогда эти названия имели собирательное значение («сосняк», «рябинник»), а позже это значение исчезло.

К л а с с *-č*. Как показатель собирательной множественности *-č* представлен в обско-угорских языках; в мансийском и хантыйском языках он отражается как *-š(i)*. Например: хант. *xäl'ä-ši* «березняк» от *xäl'* «береза», *ulär-ši* «кедровник» от *ul'pä* «кедр», *xouta-ši* «ельник» от *xout* «ель» и т. д., хант. *sumta-š* «березняк» от *sumät* «береза», *nör-ši* «ивняк», ср. коми-зырян. *nör* «прут». Показательные в этом отношении также аналогичные собирательные названия в венгерском языке, например: *bükkö-s* «буковый лес», *fenyeg-s* «ельник», *tölgye-s* «дубовый лес; дубняк», *füze-s* «ивняк», *náda-s* «заросли тростника»⁷; сюда же относится венг. *zölde-s* «зелень» от *zöld* «зеленый».

⁵ См.: *Budenz J.*, *Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana*, Budapest, 1884—1894, § 43, стр. 255 и сл.; *J. Szini nyelvi*, *Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft*, Berlin — Leipzig, 1922, стр. 88.

⁶ *T. Lehtisalo*, указ. соч., стр. 1, 3.

⁷ См.: *Й. Балашша*, *Венгерский язык*, М., 1951, стр. 147.

В марийском языке это значение представлено наиболее наглядно только одним словом *регенче* (*rege-n'žə*) «мох» при диалектной форме *rege-n* с тем же значением⁸.

Не вполне ясно, является ли отражением этого суффикса элемент *s*, выступающий в сложных финских суффиксах собирательной множественности *-sto(-stö)*, *-iso(-isö)*, например: *saari-sto* «архипелаг, шхеры» от *saari* «остров», *laiva-sto* «флот» от *laiva* «корабль», *nuor-iso* «молодежь» от *nuori* «молодой», *yle-isö* «публика» при *yleinen* «общий», поскольку финское *s* может отражать *š*, *š* и *s*.

К л а с с *-i*. В современных уральских языках нет примеров, где суффикс *-i* выражал бы собирательную множественность непосредственно. Тем не менее, имеется целый ряд косвенных доказательств, свидетельствующих в пользу того, что некогда эта функция ему была свойственна, — прежде всего следует иметь в виду суффикс собирательной множественности *-ši* в обско-угорских языках, который можно рассматривать как составной суффикс, состоящий из суффикса *-š* (< *š*) и суффикса *-i*. Кроме того, суффикс *-i* в йотированной форме мог выступать в составе суффикса собирательной множественности *-ja*, где он соединен с суффиксом *-a*. В некоторых финских собирательных названиях с суффиксом *-kko* (*-kkö*) обращает на себя внимание находящийся перед этим суффиксом гласный *i*, например: *koivi-kko* «березняк» при *koivu* «береза», *haavi-kko* «осинник» при *haara* «осина», *lepi-kkö* «ольховник» при *leppä* «ольха» и т. д. Не свидетельствует ли это о том, что суффикс собирательной множественности *-kko* (*-kkö*) вторично примкнул к собирательным именам с суффиксом *-i* типа *koivi* «березняк», *haari* «осинник», *leppi* «ольховник»?

В финском, венгерском, саамском, камасинском и ненецком языках *-i* имеет значение абстрактной множественности, возникшее, по-видимому, в результате переосмысления первоначального значения собирательной множественности. Например: фин. *sano-i-lla* «словами», *talo-i-ssa* «в домах», саам. (диалект Луле) *tuorä-i* «деревьев», *tuorä-i-n* «в деревьях» от *tuorrä* «деревцо», ненец. *rid-i'* «рук» от *rida* «рука»⁹. В венгерском языке показатель множественного числа *-i* употребляется только в сочетании с притяжательными суффиксами, например, *könyve-i-m* «мои книги», *könyve-i-d* «твои книги» и т. д. В камасинском языке суффикс *-i*, *-je'*, *-je* может выступать в им. падеже основного склонения (например, *p'a'-i* «деревья», *d'aga-je'* «реки») ¹⁰.

К л а с с *-k* (*-kk*). Как показатель собирательной множественности суффикс *-k* (*-kk*) лучше всего представлен в прибалтийско-финских языках. Например: фин. *koivi-kko* «березняк» от *koivu* «береза», *lepi-kkö* «ольховник» от *leppä* «ольха», *haavi-kko* «осинник» от *haara* «осина», *petäji-kkö* «сосняк» от *petäjä* «сосна», эст. *kuusi-k* «ельник» от *kuus* «ель», *lepi-k* «ольховник» от *lepp* «ольха» и т. д. Возможно, что этот же показатель содержится в финских образованиях с суффиксом *-kä*, например, *mei-kä* «наша община» или «ваша местность», *tei-kä* «ваша община» или «ваша местность», *hei-kä* «их община» или «их местность», где конечное *ä* может быть самостоятельным суффиксом собирательной множественности. В венгерском языке суффикс *-k* выступает уже как показатель абстрактной множественности, ср. *város* «город», но *város-o-k* «города».

К л а с с *-l*. В роли показателя собирательной множественности суффикс *-l* лучше всего представлен в марийском суффиксе собирательной

⁸ J. Губке, указ. соч., стр. 29.

⁹ См.: В. Collinder, Comparative grammar of the Uralic languages, Uppsala, 1960, стр. 298.

¹⁰ А. Кюниа, Показатели множественного числа имен существительных в камасинском языке, СФ, 1967, 4, стр. 282, 283.

множественности *-la*, например: вост.-марийск. *кож-ла* «лес» (первоначально «ельник») от *кож* «ель», *ya-la* «ивняк» от *ya* «ива». Суффикс *-la* со значением собирательности встречается и в прибалтийско-финских языках, например, фин. *Kalevala* «страна Калевы» или «род Калевы». В современном финском языке суффикс *-la (-lä)* обозначает преимущественно место, например, *setälä* «дом дяди», но не «род дяди». Свидетельством того, что некогда этот суффикс широко использовался для обозначения собирательности, является суффикс *-loi (-löi)*, используемый частью диалектов финского и большинством диалектов карельского языков в качестве показателя множественности, например, *kivi-löi-llä* «каменьями»¹¹.

Т. Лехтисало приводит некоторые мордовские образования с суффиксом собирательной множественности *-nal*, например: *koz-nal* «ельник» от *koz* «ель», *säli-nal* «вязовая роща» от *säli* «вяз», *kev-nal* «каменистое место» от *kev* «камень». Возможно, что конечное *l* также представляет рассматриваемый суффикс¹².

К л а с с *-m*. Значение собирательной множественности прослеживается только в отдельных реликтах, ср. коми-зырян. *pož-õt* «сосна», удм. *piž-um* при мордов. *piče* «сосна». *Pož-õt*, *piž-um* первоначально означало «сосняк», ср. также горн.-марийск. *пӱзыл-мы* «рябина» (первоначально «рябинник») и луг.-марийск. *пӱкшер-ме* «орешник» (от *пӱкш* «орех»). Следы этого суффикса имеются и в обско-угорских языках, например, манс. *пӱагет* «дети» при *пӱагер* «жеребенок». В венгерском языке бытует дублет *gyermek* и *gyerek* «дитя, ребенок»¹³ — можно предположить, что форма с элементом *m* — *gyermek* — некогда означала собирательную множественность («дети, ребята»), а позднее была переосмыслена. Ср. также хант. *ја8-эт* «бор», но коми-зырян. *јаg* «бор», горно-марийск. *јаk-тә* «сосна».

Показатель собирательной множественности *-m*, возможно, присутствует в составе марийского суффикса *-мыт*, обозначающего групповую множественность людей, чаще всего связанных родственными отношениями, например, *кока-мыт* «моя тетка со своими близкими», *Эчан-мыт* «Александр со своими друзьями»¹⁴. Не исключено также наличие этого суффикса в составе суффикса собирательной множественности *-žom*, *-žoma*, встречающегося в вепском языке (например, *poržom* «молодежь» от *por'* «молодой»).

К л а с с *-n*. Как показатель собирательной множественности *-n* не обнаружен. Можно лишь по косвенным данным судить, что подобное значение ему некогда было присуще, ср. редкий суффикс групповой собирательной множественности *-ja-n*, встречающийся в современном коми-зырянском языке, например: *pi-jan* «сыновья» от *pi* «сын», *tatõ-jan* «моя мать и ее родственники». Уже в общефинноугорскую эпоху суффикс *-n* широко использовался в функции показателя множественности объектов обладания, а также множественности объектов действия. Например: манс. *puta-n-um* «мои котлы» (при *put* «котел») и *puta-n-uw* «наши котлы» (при *putuw* «наш котел»); эрзя-мордов. *сон ловны-н-зе Лапшинень заро бути статьянзо* «Она читала некоторые статьи Лапшина».

К л а с с *-r*. Значение собирательной множественности показателем *-r* наиболее отчетливо представлено в марийском языке, ср. луг. и вост.-марийск. *кож-ер* «ельник» от *кож* «ель», *пӱнч-ер* «сосняк» от *пӱнчӱ* «со-

¹¹ Д. В. Б у б р и х, Историческая морфология финского языка, М.—Л., 1955, стр. 97.

¹² Т. Lehtisalo, указ. соч., стр. 120.

¹³ J. G ü b r k e, указ. соч., стр. 43.

¹⁴ А. С а в а т к о в а, З. У ч а е в, Краткий грамматический очерк марийского языка, в кн. «Марийско-русский словарь», М., 1956, стр. 802.

сна», *ломб-ер* «черемушник» от *ломбо* «черемуха», *ку-эр* «березняк» от *куэ* «береза», *уки-ер* «хворост» от *уки* «ветвь», горно-марийск. *кү-эр* «камни» от *кү* «камень» и т. д. В других уральских языках подобные образования встречаются только в отдельных реликтах, например: ненец. *пэда-ра* «лес» (первоначально «сосняк» — ср. фин. *petä-ja*, эрзя-мордов. *пиче* «сосна»), ненец. *ныбе-рё* «мошка», при коми-зырян. *пот* «комар» и т. д.

К л а с с -s. В значении собирательной множественности показатель *-s* ни в одном из современных языков не выступает. О наличии у него этого значения в прошлом свидетельствуют только косвенные данные: *-s* в пермских языках является суффиксом прилагательных, обозначающих обилие чего-либо, например, *тылкж-öš* «холмистый», *йур-öš* «болотистый» и т. д. Кроме того, в языке коми суффикс *-öš*, заключающий в себе тот же показатель, может выражать (по согласованию) мн. число прилагательных, находящихся в предикативной позиции, например, *рияс жиžуд-öš* «деревья высокие», *siktjas ožur-öš* «деревни богатые».

К л а с с -t. Собирательное значение показателя *-t* обнаруживается в финском суффиксе собирательной множественности *-sto*, например, *laivasto* «флот», где суффикс *-t* соединен с другим суффиксом собирательной множественности *-s* (< *š*?). Собирательное значение суффикса *-t* некоторые исследователи усматривают также в таких финских образованиях, как *alus-ta* «то, что внизу (в совокупности)» от *alus* «то, что внизу (хотя бы отдельный предмет)», *sisus-ta* «то, что внутри (в совокупности)» от *sisus* «то, что внутри (хотя бы отдельный предмет)». «Собирательное значение имен вроде *alusta*, *sisusta* подчеркивается тем, что они, в противоположность именам типа *alus*, *sisus*, не могут иметь множественного числа»¹⁵.

В эрзя-мордовском языке существует суффикс *-de*, который совместно с притяжательными суффиксами *-n*, *-t'*, *-nze*, *-nek*, *-nk*, *-st* имеет собирательное значение, указывает на присутствие при названном лице других лиц. Он употребляется только с именами родства, причем названное лицо по возрасту старше лица, указываемого притяжательным суффиксом, например: *pat'a* «старшая сестра», *pati-de-ni* «моя старшая сестра с другими лицами», *pati-de-t'* «твоя старшая сестра с другими лицами» и т. д. Д. В. Бубрих высказал предположение, что суффикс *-de* генетически родствен суффиксу мн. числа существительных *-t*, *-t'*¹⁶.

Таким образом обнаруживается, что в протоуральском языке существовало по меньшей мере десять отдельных суффиксов, т. е. *-a*, *-č*, *-i(-j)*, *-k(-kk)*, *-l*, *-m*, *-n*, *-r*, *-š* и *-t*, способных выражать собирательную множественность. Каждый язык мира, как известно, стремится к устранению плеоназма. Не слишком ли много средств для выражения одного значения? Для того чтобы приблизиться к решению этой исторической загадки, предположим, что каждый суффикс, по крайней мере — первоначально, обозначал собирательную множественность особого класса имен предметов, отличающегося от других подобных классов определенными признаками. В таком случае каждый суффикс выполнял двойную функцию: он выражал собирательную множественность, в то же время указывая на то, что в языке по линии собирательной множественности существовало классное деление, т. е. понятие собирательной множественности существовало не вообще, а применительно к определенному классу предметов.

Можно предположить, что классное деление имен существительных в протоуральском языке выразилось не в непосредственной классификации

¹⁵ Д. В. Бубрих, указ. соч., стр. 33.

¹⁶ Д. В. Бубрих, Историческая грамматика эрзянского языка, Саранск, 1953, стр. 78.

самих имен существительных, а опосредованно, в так называемых классах собирательной множественности. Каковы были конкретные признаки каждого класса собирательной множественности, отличающие его от других подобных ему классов, точно определить в настоящее время уже не представляется возможным. В современных уральских языках нередко можно наблюдать такие случаи, когда собирательные имен предметов, обладающих одинаковыми свойствами, в разных уральских языках выражается совершенно различными суффиксами собирательной множественности, ср. фин. *koivi-kko*, марийск. *ку-эр*, горно-марийск. *коги-лӓ*, манс. *xäl'a-si* «березняк». Это свидетельствует о том, что уже в довольно раннюю эпоху исторической жизни уральских языков специфические значения классных показателей собирательной множественности начинали утрачиваться. Некоторые классные показатели, как, например, *-t*, *-k*, *-i*, *-n* в отдельных уральских языках стали выражать абстрактную множественность. Для выражения трудно определяемых в настоящее время нюансов собирательной множественности классные показатели сочетались между собою, образуя сложные суффиксы. Не исключена также возможность, что уже в эпоху раздельной жизни уральских языков в отдельных уральских языках могли возникать новые специфические значения суффиксов собирательной множественности.

II. Исторические пути дальнейшего развития значений классных показателей собирательной множественности. Развитие значений классных показателей собирательной множественности в уральских языках характеризуется необычайной выдержанностью общей линии. Первоначальное значение собирательной множественности переосмыслилось в следующих направлениях: 1) в плане уменьшительности, 2) в плане создания нового значения — «изобилующий определенным признаком», 3) переосмысление значения собирательной множественности в значении множественности актов действия (многократность действия). В отдельных случаях значение собирательной множественности могло переосмысливаться в значение абстрактной множественности. Все эти особенности исторического развития семантики изучаемых показателей можно продемонстрировать на приводимых ниже примерах.

К л а с с *-a(-ja)*. В роли уменьшительного суффикс *-a(-ja)* не зарегистрирован. В коми-зырянском с помощью этого суффикса образуются довольно многочисленные относительные прилагательные, например: *vör-a* «лесной» от *vör* «лес», *ñur-a* «болотистый» от *ñur* «болото», *bij-a* «огненный» от *bi* «огонь». В удмуртском ему соответствует суффикс *-o*, например, *šud-o* «счастливый» от *šud* «счастье», *burd-o* «крылатый» от *burd* «крыло» и т. д. В марийском суффикс *-a* в соединении с суффиксом *-n* часто выступает как суффикс относительных прилагательных, например: *кун-а-н* «бологистый» от *кун* «болото», *курык-а-н* «гористый» от *курык* «гора», *шӱлык-а-н* «грустный» от *шӱлык* «грусть».

Показатель *-a* в пермских языках входит также в состав глагольного суффикса *-al*, обозначающего длительное действие, или действие, направленное на несколько объектов. Например: коми-зырян. *ju-av-ny* «спрашивать», *šet-av-ny* «раздавать», удм. *daš-a-ny* «готовить» (< *dašalny*), *ver-a-ny* «говорить» (< *veralny*).

К л а с с *-č*. В венгерском языке суффикс *-č* в форме *š* и *č*¹⁷ выступает как уменьшительный суффикс. Например: *kutyu-s* «собачонка» от *kutya* «собака», *kék-é-s* «синеватый» от *kék* «синий», *sárg-a-s* «желтоватый» от *sárga* «желтый», *sötét-é-s* «темноватый» от *sötét* «черный», *köv-e-cs* «камешек» от *kő* «камень». В старовенгерском существовал также уменьшительный

¹⁷ Орфографические венг. *s = š* и *cs = č*.

суффикс *-csa* (*ča*), например: *gyermek-cse* «ребеночек» от *gyermek* «ребенок», *leány-csa* «девочка» от *leány* «девушка, девица» и т. д. Первоначальное значение уменьшительности в большинстве прилагательных было пересмыслено в направлении «обладающий определенным качеством», например: *erő-s* «сильный» от *erő* «сила», *világ-os* «светлый» от *világ* «свет», *kár-os* «вредный» от *kár* «вред».

Подобное явление наблюдается также и в финском языке, где суффикс *-isa(-isä)* (*s < č*) выражает «изобилующий чем-либо», например: *kalai-s-a* «рыбный, богатый рыбой» от *kala* «рыба», *marjai-s-a* «богатый ягодами» от *marja* «ягода», *ojai-s-a* «изобилующий ручьями, канавами» от *oja* «ручей, канава», *tuhoi-s-a* «пагубный, гибельный» от *tuho* «гибель»¹⁸.

В обско-угорских языках показатель *-č* также приобрел значение уменьшительности (например, манс. *ap-si* «младший брат» при *apč* «брат»). В прибалтийско-финских языках сохраняются отдельные реликты, демонстрирующие уменьшительное значение этого суффикса. Например: вепс. *priha-č* «паренек» от *priha* «парень», карельск. *kari-čča* «годовая овца», ср. фин. *kari* «ягненок», олонецк. *hebo-čču* «маленькая тощая лошадь», ср. фин. *hepo* «лошадь», ст.-фин. *nei-tsi* «девушка» при современном *neiti* с тем же значением¹⁹. В удмуртском имеется несколько прилагательных с характерным суффиксом *-ч*, например: *век-чи* «тонкий», *кап-чи* «легкий», — по-видимому, первоначально эти слова имели уменьшительное значение.

В ряде уральских языков показатель *с* получил значение суффикса многократного действия глаголов, например: венг. *kere-s* «ищет» от *ker* «искать», *futo-s* «бегать» от *fut* «бежать», *repe-s* «порхает» от *rep* «летать» и т. д. В большинстве случаев в современном венгерском языке многократное значение суффикса *-s* уже утратилось. В саамском отражением *č* является глагольный суффикс *-š-*, передающий значение длительного действия, например, норв.-саам. *áddá-š-it* «раздавать» от *áddet* «давать», *vazzá-š-it* «гулять, прохаживаться» от *vazzet* «идти пешком» и т. д.²⁰ В пермских языках существует глагольный суффикс *-š(-č-)*, обозначающий переход в определенное состояние; например: коми-зырян. *ńeb-č-yny* «смягчать», *lov-č-yny* «оживать», *va-č-yny* «намокать», удм. *ńeb-č-yny* «становиться мягким»²¹.

Отражением уральского суффикса *-č* является также суффикс *-š-*, выступающий в мордовских языках в роли показателя многократного действия; например, эрзя-мордов. *jak-š-ems* «останавливаться часто» при *jakams* «ходить, останавливаться», *pičk-š-ems* «выздоровливать» при *pičkams* «выздороветь, зажить», мокша-мордов. *maks-š-ems* «давать часто» при *maksšms* «давать». Отражением уральского *-č* в финском языке Т. Лехтисало считает элемент *tse* в глагольных суффиксах *-itse*, *-oitse*, *-öitse*, например: *ruosk-itse* «бить кнутом», *tuom-itse* «судить», *main-itse* «упоминать»²².

К л а с с *-i(-j)*. Значение уменьшительности зафиксировано во многих уральских языках, например: коми-зырян., удорск. *meg-e-j* «барашек», удм. *čip-e-j* «щука» (первоначально: «щучка»), удм. *gyž-y* «ноготок» (ср. коми-зырян. *gyž* «ноготь»), *tyl-y* «перышко», фин. ингерм. *eto-i* «матужка», *kukko-i* «цветочек», манс. *šai-i-m* «моя мать» (первоначально ласкательная форма от *šai* «мать»).

¹⁸ «Грамматика финского языка», М.—Л., 1958, стр. 243.

¹⁹ T. Lehtisalo, указ. соч., стр. 206, 207.

²⁰ K. Nielsen, Lærebok i lappisk, I — Grammatikk, Oslo, 1926, стр. 232.

²¹ T. Lehtisalo, указ. соч., стр. 216.

²² Там же, стр. 219.

В некоторых уральских языках суффикс *-i(-j)* выступает как суффикс прилагательных. Например: венг. *ember-i* «человеческий» от *ember* «человек», *atya-i* «отцовский» от *atya* «отец», саам. *murri-i*, *muorra-i* «богатый лесом» от *muorrá* «дерево», *suovi-i*, *suovva-i* «дымный» от *suovvá* «дым»²³, хант. *xul-i* «богатый рыбой» от *xul* «рыба», *jiŋk-i* «водянистый» от *jiŋk* «вода», манс. *takessi* «осенний» от *takvys* «осень», ненец. *xasy-ŷ* «сухой», ср. коми-зырян. *koš-myny* «сохнуть» и т. д.

Показатель *-i(-j)* употребляется также в роли глагольного суффикса, обозначающего многократное или длительное действие. Например: эрзя-мордов. *sora-je-ms* «схватывать» при *soradems* «схватить», *pšti-je-ms* «лягать» при *pštídems* «лягнуть», фин. *rep-i-a* «разрывать» при *revetä*, *repeä* «лопаться», *potk-i-a* «пинать, толкать ногой» при *potkaista* «толкнуть», луг.-марийск. *ŷытыра-ŷ-аш* «чистить» от *ŷытыра* «чистый», *пори-ŷ-аш* «лыбеть» от *поро* «добрый», хант. *nemi-j-* «называть», *tini-j-* «продавать», коми-зырян. *gud-j-yny* «ковырять» и т. д. В ненецком языке суффикс *-ŷ-* указывает на множественность объектов действия, например: *подер-ŷ-ада* «он запряг (многих)»²⁴.

К л а с с *-k(-kk)*. Значение уменьшительности развилось во всех уральских языках, например: фин. *nurmi-kko* «лужок», от *nurmi* «трава», *kerä-kko* «палочка» от *kerpi* «палка», эст. *iva-ke* «зернышко» от *iva* «зерно», *pilve-ke* «облачко» от *pilv* «облако», венг. *madár-ka* «птичка» от *madár* «птица», *leány-ka* «девушка» от *leány* «девушка, девица», эрзя-мордов. *oš-ke* «городок» от *oš* «город», *piks-ke* «веревочка» от *piks* «веревка», горно-марийск. *кужы-кă* «длинноватый» от *кужу* «длинный», *кӱжши-кă* «высоковатый» от *кӱжшы* «высокий», ненец. *лохо-ко* «уголок» от *лохо* «угол», *вада-ко* «словечко» от *вада* «слово», манс. *tür-ke* «озерко» от *tür* «озеро», хант. *ewä-kä* «девочка» от *ewi* «девица, девушка», коми-зырян. *пуv-ka* «девushка» от *пуv* «девушка, девица» и т. д.

Показатель *-k(-kk)* также был использован как глагольный суффикс со значением многократного или длительного действия. В ненецком языке суффикс *-ко* указывает на несовершенство действия, например, *хонра* «известить», *хонар-ко-* «известать», *хусара* «доказать», *хусар-ко* «доказывать»²⁵. В селькупском языке присоединением к основе глагола суффикса *-кы* (*-ккы*) передается значение повторности действия: *ŷнтычи-ко* «услышать» — *ŷнтычи-ка-п* «я слыхивал»²⁶. Чаще всего в этой роли суффикс *-k* выступает в соединении с суффиксом *-s*, образуя сложный суффикс *-sk-*; например: удм. *vuri-sk-yny* «заниматься шитьем», *duri-sk-yny* «заниматься кузнечным делом», фин. *hupi-ske-lla* «попрыгивать», *lue-ske-lla* «почитывать».

К л а с с *-l*. Уменьшительное значение представлено в таких случаях, как хант. *šowär-le* «зайчик» от *šowär* «заяц», *woj-le* «зверек» от *woj* «зверь», эрзя-мордов. *ašo-la* «беловатый» от *ašo* «белый», *ožo-la* «желтоватый» от *ožo* «желтый», *pižo-la* «зеленоватый» от *piže* «зеленый», фин. *vete-lä* «водянистый» от *vesi/vete-* «вода», коми-зырян. *görd-öl*, *görd-öv* «красноватый» от *görd* «красный», марийск. *oša-l-še* «беловатый» от *ošo* «белый», *šema-l-še* «черноватый» от *šet* «черный» и т. д.

Суффикс *-l* был широко использован в роли суффикса многократного действия, например: эрзя-мордов. *kañt-l-ems* «носить неоднократно» при

²³ Там же, стр. 55.

²⁴ Н. М. Терещенко, Очерк грамматики ненецкого языка, Л., 1947, стр. 202.

²⁵ Там же, стр. 181.

²⁶ Е. Д. Прокорьева, Селькупский язык, «Языки народов СССР», III, М., 1966, стр. 411.

kan-doms «носить», *šorma-l-ems* «часто писать» при *šormadoms* «писать», сев.-саам. *ad'dâ-l-it* «раздавать» при *ad'det* «давать», *baččâ-l-it* «стрелять многократно» при *baččet* «стрелять», фин. *annella* «часто давать» при *antaa* «давать», эст. *küisit-l-ema* «расспрашивать» при *küsima* «спрашивать», марийск. *kolt-äl-aš* «посылать часто» при *koltaš* «посылать», *pokt-äl-aš* «гонять» при *poktaš* «гнать», коми-зырян. *bošt-ly-ny* «брать много раз» при *boštiny* «звать», удм. *poty-ly-ny* «выходить многократно» при *potyny* «выходить».

К л а с с *-m*. Как самостоятельный суффикс с уменьшительным значением суффикс *-m* нигде не выступает. О былом наличии у него этого значения можно судить только по косвенным данным — суффикс *-m* может иметь уменьшительное значение, будучи соединен с другими суффиксами. Таков финский суффикс *-lma*: *lahde-lma* «бухта, заливчик» от *lahti* «бухта, залив», *notke-lma* «ложбинка» от *notko* «лощина, ложбина, низина». В некоторых диалектах языка коми имеется суффикс прилагательных *-gõm*, выражающий неполноту качества: *ul'-gõm* «сыроватый», *lõz-gõm* «синеватый». В удмуртском также встречаются прилагательные с суффиксом *-gem*, например: *žižyt-gem* «немного более высокий», *paškyt-gem* «немного более широкий». В венецком отмечен суффикс *-мбой*, обозначающий качество или свойство, присущее тому или иному предмету в не очень высокой, но и не слишком низкой степени, например: *неарка* «большой» — *неарка-мбой* «довольно большой», «не такой маленький», *пирця* «высокий» — *пирця-мбой* «довольно высокий», «не такой низкий»²⁷. Этот суффикс может иметь и уменьшительное значение, например, *яха-мбой* «речка» от *яха* «река».

Суффикс *-m* может выступать как суффикс прилагательных, например: эрзя-мордов. *čара-мо* «кислый», ср. фин. *hapro* «кислота», норв.-саам. *suolle-m-as* «тайный» при *suole* «тайный», фин. *avoim* (осн. *avoim-*) «открытый», хант. *хоš-эм* «теплый» при коми-зырян. *gož* «жар», *tar-эм* «сильный», коми-зырян. *mug-õm* «смуглый», *čug-õm* «тесный, узкий».

Суффикс *-m* используется в уральских языках и как глагольный суффикс для обозначения становления определенного качества. Например: коми-зырян. *iz-my-ny* «каменеть» от *iz* «камень», *tom-my-ny* «молодеть» от *tom* «молодой», удм. *urod-my-ny* «худеть» от *urod* «плохой», *izyry-my-ny* «богатеть» от *izyry* «богатый», эрзя-мордов. *valdo-mo-ms* «светлеть» от *valdo* «светлый», *tusto-mo-ms* «густеть» от *tusto* «густой», луг.-марийск. *pore-m-aš* «добреть» от *poro* «добрый», *šonъ-m-as* «стареть» от *šonъ* «старый», манс. *тай-m-urkwe* «уменьшаться» от *тай* «маленький».

К л а с с *-n*. Уменьшительное значение наглядно представлено в таких случаях, как хант. *хаš-п* «лодочка» при *хар* «лодка», *tom-эн* «бюж» при *torэм* «бог», эрзя-мордов. *kal'-ne* «рыбка» от *kal* «рыба», *кев-не* «камешек» от *кев* «камень», карел. *lin-du-ne* «птичка» от *lindu* «птица», *van-ha-ne* «старенький» от *vanha* «старый», фин. *pala-nen* «кусочек» от *pala* «кусок», *kala-nen* «рыбешка» от *kala* «рыба», венг. *kiczi-ny* «маленький» при *kiczi* то же.

Известно употребление *-n* в роли главного суффикса, обозначающего длительность или многократность действия. Например: венец. *паd-на-сь* «писать» при *паdась* «написать», *сэд-на-сь* «шить» при *сэдась* «спшить»²⁸, кольско-саам. *kost-n-a* «попадаю, добираюсь» при *kosta* «попаду, доберусь», *jesk-n-a* «перестаю» при *jeska* «перестану»²⁹.

Чаще всего суффикс *-n* выступает в соединении с аффиксом *-i*, образуя сложный суффикс *-nt*; например: фин. *pure-nt-еle* «покусывать» при *pure-*

²⁷ Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 55.

²⁸ Там же, стр. 181.

²⁹ А. Г. Эндюковскиий, Саамский (лопарский) язык, в кн. «Языки и письменность народов Севера», ч. I, М.—Л., 1937, стр. 153.

«кусать», мокша-мордов. *pälä-ñd-ams* «сверлить часто», «просверливать» при *pälams* «сверлить», *vešä-ñd-ams* «искать» при *vešams* «искать», хант. *xut-ənt* «прислушиваться» при *xut* «слушать», манс. *joma-nt-* «похаживать» при *jom-* «идти, брести», *xajta-nt* «бежать» при *xajt-* «бежать», селькуп. *ми-нта-п* «я даю» при *ми-қо* «дать»³⁰.

В прибалтийско-финских языках суффикс *-ne-* может как глагольный суффикс обозначать нарастание определенного количества: фин. *kove-ne-* «становиться твердым, твердеть», *paksu-ne-* «толстеть», эст. *raga-ne-ma* «улучшаться», *vana-ne-ma* «стареть»³¹.

К л а с с *-r-*. Самостоятельно в роли уменьшительного суффикса *-r* выступает очень редко. Например: фин. *parru-ra* «маленький узел» при *parra* «узел», коми-зырян. *vug-ör* «крючок» при *vug* «скоба, рукоятка»³². В роли показателя уменьшительности суффикс *-r* выступает в соединении с суффиксом *-ka* в так называемых сравнительных формах ненецкого языка, выражающих умеренную степень преобладания признака, например: *нгарка* «большой» ~ *нгарка-рка* «побольше», *пиricia* «высокий» ~ *пиricia-рка* «повыше»³³ (точнее: «великоватый», «высоковатый»).

Показатель *-r* известен как суффикс прилагательных; примеры: фин. *hätmä-rä* «сумрачный, темный», *kire-ra* «выпуклый», эрзя-морд. *яксте-ре* «красный», луг.-марийск. *йошка-р*, горно-марийск. *якиа-р* «красный», вост.-марийск. *лозы-ра*, луг., горно-марийск. *лазы-ра* «водянистый, болотистый», ср. горно-марийск. *лаза*, вост. марийск. *лоза* «низкое, болотистое место»³⁴.

В роли глагольного суффикса, обозначающего длительное действие, показатель *r* используется главным образом в самодийских языках: ненец. *яда(сь)* «идти пешком» — *ядэ-р-ць* «ходить», *ва-дѣ(сь)* «вырасти» — *вадю-р-ць* «вырастать»³⁵, нганасанск. *ramsä* «съесть» — *rami-r-sä* «съем, кушать», *toleje* «украсть» — *tola-r-sä* «воровать»³⁶. В селькупском языке суффикс *-r* обозначает обычное действие, например, *matty-r-sak* «я приходил (по обыкновению)» от *tygo* «прийти»³⁷. В других уральских языках глагольный суффикс *-r-* не получил сколько-нибудь значительного распространения (см. фин. *kaive-r-tä* «ковырять» при *kaivata* «копать», норв.-саам. *mulljâ-r-dit* «щелкать языком», *vižä-r-dit* «щебетать» и т. д.).

К л а с с *-š-*. Уменьшительное значение показателя обнаруживается в таких случаях, как венг. *gava-sz* «хитрый» (первоначально — «лисица»), эрзя-мордов. *rive-š* «лисица», ср. фин. *gero* «лиса»³⁸. В пермских языках имеется значительное количество прилагательных с суффиксом *-öš-*, *-eš-*, обозначающих полноту качества; примеры: коми-зырян. *ñur-öš* «болотистый» от *ñur* «болото», *ñajt-öš* «грязный» от *ñajt* «грязь», *vir-öš* «запачканный кровью» от *vir* «кровь», удм. *vi-eš* «водянистый» от *vi* «вода», *sir-eš* «смолистый» от *sir* «смола», хант. *jəykə-s* «мокрый» от *jəyk* «вода», *näre-s* «крутой», *nära* то же³⁹.

³⁰ Е. Д. Прокофьев, указ. соч., стр. 410.

³¹ T. Lehtisalo, указ. соч., стр. 130.

³² Там же, стр. 180, 181.

³³ Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 55.

³⁴ И. С. Галкин, Историческая грамматика марийского языка. Морфология, ч. II, Йошкар-Ола, 1966, стр. 56.

³⁵ Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 176.

³⁶ Г. Н. Прокофьев, Нганасанский (тавгийский) диалект, «Языки и письменность народов Севера», ч. I, стр. 71.

³⁷ Г. Н. Прокофьев, Селькупский (остяко-самоедский) язык, там же, стр. 114.

³⁸ Hajdú P. Bevezetés az uráli nyelvtudományba, Budapest, 1966, стр. 145.

³⁹ G. Sauer, Die Nominalbildung im Ostjakischen, Berlin, 1967, стр. 162, 164.

Показатель *-s* был использован как глагольный суффикс, выражающий многократное и длительное действие, например: венг. *le-sz* «будет», *te-sz* «делает», *ve-sz* «берет», *u-sz-ik* «плывет», *jat-sz-ik* «играет», хотя в современном венгерском языке он уже не воспринимается как суффикс. Использование этого показателя в роли глагольного суффикса изредка наблюдается и в других языках: хант. *jontá-s-* «пить часто» при *jont-* «шить», манс. *ял-ас-ас* «ходил, бродил» при *ялс* «сходил» и др.

К л а с с *-t*. Уменьшительное значение суффикса *-t* отражено в марийском языке, например: вост.-марийск. *чонга-та* «холмик» от *чонга* «холм»⁴⁰, дуг.-марийск. *канга-та* «тощеватый» от *канга* «тощий», *лонка-та* «широковатый» от *лонка* «широкий», ср. также фин. *imm-yt* «девушка» от *impi* «девица», *neits-yt* «девушка, девица» от *neito* то же; карел. *täh-üt* «звездочка» от *tähti* «звезда». Этот же суффикс *-t* нередко выступает как специфический словообразовательный суффикс прилагательных: норв.-саам. *čiuovg'ád* «светлый», *loss-ád* «тяжелый», фин. *valkea* «белый» (<*valke-ta*), *kolea* «неровный» (<*kole-ta*), марийск. *волгы-до* «светлый», *йонгы-до* «просторный», коми-зырян. *kur-yd*, диалектн. *kur-yt* «горький».

Известно также использование *-t* в роли глагольного суффикса: селькуп. *ū-ŋo* «взять» — *ū-Ta-n* «я беру»⁴¹. Для выражения многократности действия суффикс *-t* обычно выступает в сочетании с суффиксом *-n*: фин. *pure-nt-ele* «часто покусывать», мокша-мордов. *vešə-ñd-əms* «искать часто» при *vešəms* «искать».

Общее направление развития значений суффиксов собирательной множественности в уральских языках логически можно объяснить. Собирательная множественность имен включает в себя одновременно понятия известной совокушности и вместе с тем дробности. Дробность легко могла быть ассоциирована с понятием уменьшительности, чем и объясняются широко распространенные случаи переосмысления суффиксов собирательной множественности как суффиксов уменьшительности. Превращение суффиксов собирательной множественности в суффиксы прилагательных развивалось также в основном тем же путем переосмысления, например, понятие «холмистый» могло в начале иметь значение «обладающий признаком, присущим множеству холмов»; отсюда развитие значений, например, коми-зырян. *мылжй-сь* «холмистый» < холмы > холмистый».

Многократность действий также легко могла быть ассоциирована с понятием собирательной множественности, поскольку многократность могла быть понимаема как некая совокушность качественно однородных отдельных актов действия.

Вопрос, однако, осложняется тем, что в одном и том же языке для выражения каждого из понятий — уменьшительности, качественности и многократности действия — может быть использовано несколько классовых показателей собирательной множественности. Например, в марийском языке собирательная множественность может выражаться суффиксами *-ла*, *-эр* и *-че*. Исследователи истории венгерского языка установили, что многократность действия в венгерском языке выражалась по меньшей мере шестью разными суффиксами многократного действия — *-sz*, *-z*, *-s*, *-g*, *-d*, *-l*, не считая их различных сочетаний⁴². Эти суффиксы можно возвести к определенным классным показателям собирательной множественности и их сочетаниям. Таким образом, само переосмысление значений классовых показателей собирательной множественности осуществлялось отнюдь не стихийно, а было подчиненно принципу относительного подобия значения.

⁴⁰ И. С. Галкин, указ. соч., стр. 21.

⁴¹ Е. Д. Прокофьева, указ. соч., стр. 410.

⁴² И. Балашша, указ. соч., стр. 136.

Не располагая возможностями определить конкретные значения классных показателей собирательной множественности в уральских языках в настоящее время, можно сделать самые общие выводы на основе изучения конкретных реликтов этих показателей и путей их развития. Прежде всего при этом обнаруживается известная специализация этих показателей. Так, например, выясняется, что совокупное множество людей могло выражаться главным образом суффиксами *-n* или *-m*. Показатель *-r*, за исключением самодийских языков, где он может выражать длительное действие, почти нигде не используется как суффикс многократного действия; очень мало примеров, показывающих его роль как уменьшительного суффикса. Совершенно иначе ведет себя классный показатель *-l*: он дает суффиксы уменьшительности и очень широко используется почти во всех уральских языках как показатель многократного действия. Это может свидетельствовать о том, что классный показатель *-l* в отличие от показателя *-r* первоначально обозначал собирательную множественность мелких предметов. Интересны и некоторые закономерности сочетания суффиксов. Суффиксы *-k*, *-t* в сочетаниях суффиксов обычно занимают последнее место — например, в сочетаниях суффиксов, выражающих многократное действие, — *-šk* и *-nt*. Согласно закону структуры агглютинативных языков при сложении словообразовательных суффиксов суффикс с более конкретным значением располагается ближе к корню. Конечное положение суффиксов *-k* и *-t* свидетельствует об их большей абстрактности, что также подтверждается тем, что в венгерском *-k* превратился в суффикс мн. числа (например, *város* «город», *város-o-k* «города»), суффикс *-t* в настоящее время является суффиксом мн. числа во многих уральских языках (например: фин. *talo* «дом» — *talo-t* «дома», эрзя-мордов. *кудо* «дом» — *кудо-м* «дома»).

Особую трудность составляет проблема конечного числа классных показателей собирательной множественности. Выше демонстрировалась возможность установления десяти классных показателей собирательной множественности: *-a*, *-č*, *-i* (*-j*), *-k* (*-kk*), *-l*, *-m*, *-n*, *-r*, *-š* и *-t*. В то же время в уральских языках есть целый ряд суффиксов, которые по существу дают те же образования, что и показатели собирательной множественности. К такого рода суффиксам относятся суффиксы *-ŋ*, *-p* (*b*), *-s*, *-š*. Суффикс *-ŋ*, например, участвует в образовании прилагательных (манс. *witə-ŋ* «мокрый» от *wit* «вода», *nomtə-ŋ* «умный» от *nomt* «ум», хант. *хилə-ŋ* «рыбный» от *хил* «рыба», *käša-ŋ* «больной» от *käši* «болезнь»). В сочетании с суффиксом *-g* (<*k*) в ненецком языке этот суффикс используется для выражения длительного действия, например, в ненецком *толась* «прочитать» — *толангось* «читать», *ядтась* «встретить» — *ядтангось* «встречать»⁴³. Суффикс *-p* также участвует в образовании прилагательных (например, хант. *šəm-pi* «имеющий глаз» от *šəm* «глаз», манс. *äit-pä* «имеющий рога» от *äit* «рог»⁴⁴). В ненецком языке, правда — чаще в соединении с суффиксом *-m*, этот суффикс выступает как показатель длительного действия; например: ненец. *тола(сь)* «прочитать» — *тола-б-ась* «читать», *подерць* «запрячь» — *подерп-ась* «запрягать». Суффикс *-š* вместе с суффиксом *-k* употребляется для выражения ослабленного качества и так наз. маломерности действия: фин. *iso-hko* «великоватый», *piene-hkö* «маловатый», коми-зырян. *giž-yšt-ny* «пописать немного», *už-yšt-ny* «поспать немного». Все эти суффиксы, однако, нигде не выступают как показатели собирательной множественности.

В плане языковой типологии классные показатели собирательной множественности представляют большой интерес, являясь своеобразным реликтовым способом реализации классного деления имен.

⁴³ Н. М. Терещенко, указ. соч., стр. 181.

⁴⁴ J. G у ö r k e, указ. соч., стр. 19.

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

М. М. МАКОВСКИЙ

ОПЫТ ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Установление и теоретическое обобщение типологически сходных и несходных явлений в языках различного строя дает возможность обнаружить целый ряд важнейших структурных закономерностей, нередко остающихся скрытыми при чисто генетическом подходе. К сожалению, интерес к языковым универсалиям, которые в последнее время широко изучаются ведущими лингвистами разных стран¹, носит весьма односторонний характер: языковые факты исследуются, как правило, лишь в плане фонологии и грамматики при полном игнорировании лексико-семантических реалий. Вполне понятно, что такое искусственное и произвольное исключение лексико-семантического уровня из сферы научного рассмотрения не совместимо с системным пониманием языковых явлений и противоречит факту изоморфизма всех его ярусов в синхронии и в диахронии². Интересно, что до сих пор, если не считать нескольких работ, выполненных в традиционном плане, нет ни одного специального исследования, посвященного универсальным явлениям в области лексики и семантики и, естественно, не сформулировано ни одной лексико-семантической универсалии. В этой связи, видимо, не случайно, что вводный исторический раздел известной работы У. Вайрайха об общих явлениях семантической структуры языка³ многозначительно озаглавлен: «Состояние нашего невежества» («The state of our ignorance»).

Нельзя тем не менее отрицать, что лингвисты неоднократно предпринимали более или менее успешные попытки с разных сторон подойти к исследованию лексико-семантических закономерностей, общих для ряда языков, хотя конкретный подход отдельных лингвистов к лексико-семантическим универсалиям весьма различен. Утверждалась, в частности, общность для большинства языков звукоподражательных комплексов, особенно образованных таким образом терминов родства (*papa, mama*), хотя, как известно, во многих языках одни и те же звукоподражательные образования имеют различное значение (например, в грузинском и одном из языков американских индейцев *mama* означает «отец»)⁴. Многие ученые склонны устанавливать определенную связь между звуками языка и присущим им

¹ См.: сб. «Universals of language», ed. by J. Greenberg, Cambridge (Mass.), 1963. Ср. также: В. W. and E. G. Aginsky, The importance of language universals, «Words», 4, 1948; С. H. Hockett, The problem of universals in language, «Universals of language», стр. 1 и сл.; V. Tauli, The structural tendencies of language, Helsinki, 1958, и др.

² См.: Э. А. Макаев, К вопросу об изоморфизме, ВЯ, 1961, 5.

³ См.: U. Weinreich, On the semantic structure of language, сб. «Universals of language», стр. 142 и сл.

⁴ Ср.: С. E. Osgood, Studies on the generality of affective meaning systems, Urbana (Ill.), 1961; A. R. Nykl, *Mama, papa, dada*, «Orbis», 6, 2, 1967; H. Wiseman, Untersuchungen zur Onomatopöie, Heidelberg, 1954; R. Jakobson, Why *mama* and *papa*, в его кн.: «Selected writings», I, The Hague, 1964, стр. 538 и сл.

«значением», причем постулируется универсальность «значений» фонетических элементов в ряде языков ⁵.

Следует отметить, что известные совпадения фоно-морфологических комплексов, имеющих одинаковое или сходное значение в языках различного строя, при ближайшем рассмотрении нередко оказываются совершенно различными образованиями (как по форме, так и по содержанию), случайно ставшими внешне похожими (разумеется, независимо друг от друга) в синхронии в результате слияния корней с разного рода форматами, в результате фонетических переходов, изменения значений под влиянием аналогических процессов, а нередко обусловлены адаптацией иноязычных слов или взаимодействием субстрата и суперстрата ⁶. Как указывал еще Ф. Вуд, внешнее сходство лексико-семантических элементов не всегда говорит об их родстве, а внешнее расхождение не свидетельствует об их различии ⁷.

В этой связи можно указать на такие известные примеры случайных совпадений, как копт. *šeuni* «сарай» и нем. *Scheune* (то же); япон. *arau* «мыть» и хет. *arr-* (то же); япон. *itta* «шел» и гот. *iddja* (ср. лат. *ire*); япон. *soku* «носок» и нем. *Socke*; япон. *yoi* «хороший», но венг. *jó* (то же); амер.-инд. (ацтек.) *teo-tl* «бог» и греч. *θεός*, лат. *deus*; ацтек. *a-tl* «вода» и лат. *aqua*, шумер. *a*; ацтек. *mati* «знать» и др.-инд. *mati-* «знание»; ацтек. *papalo-tl* «бабочка» и лат. *papilio*; майя *cul* «Sitz», франц. *cul*; ацтек. *sempoalli* «двадцать» и этрус. *semqalxl* (то же); амер.-инд. *naoh* «мудрость» и русск. *наука*.

Своеобразным типологическим подходом к лексическим явлениям явился и пресловутый четырехэлементный анализ Н. Я. Марра, сторонники которого с необычайной легкостью находили «соответствия» между любыми словами любого языка мира.

Некоторые лингвисты считают возможным истолковать «общность» состава и объема значений в ряде языков по так называемым «уровням культуры» ⁸. В специальной литературе неоднократно отмечалось отсутствие в некоторых языках слов для обозначения определенных общих понятий и, наоборот, наличие отдельных самостоятельных слов для обозначения различных (иногда весьма многочисленных) оттенков общих понятий, выражаемых в других языках одним и тем же словом, указывалась различная «внутренняя форма» (мотивировка) одних и тех же значений в разных языках ⁹. Причину всего этого, однако, надо, видимо, искать не в особенностях мышления тех или иных народов, обусловленных «суперструктурами»

⁵ Ср.: M. Chastain, Le symbolisme de voyelles. Significations de *i*, «Journal de psychologie», LV, 1958; R. Jakobson, Laut und Sinn, «Diogenes», 52, 1966.

⁶ Ср.: E. Littman, Sprachliche Seltsamkeiten aus Morgenland und Abendland, ZDMG, 76, 1922; J. Friedrich, Zufällige Ähnlichkeiten auf verschiedenen Sprach- und Kulturgebiete, IF, LX, 1950.

⁷ F. Wood, Semasiological possibilities, «American journal of philology», XIX — 1898, XX—1899; ср. K. Heger, Les bases méthodologiques de l'onomasiologie et du classement par concepts, Strasbourg, 1965.

⁸ Ср. критику этого метода в работе: M. Mathiot, An approach to the cognitive study of language, The Hague — Bloomington, 1968.

⁹ Ср.: F. Althoff, Die strukturtypologischen Zusammenhänge von Persönlichkeit, Sprache und Weltanschauung, Marburg, 1938; D. S. Schwyder, Modes of referring and the problem of universals, Berkely — Los Angeles, 1961; N. M. Holmer, Oceanic semantics, Upsala, 1966; его же, Comparative semantics, «Årsbok (slaviska institutet)», Lund, 1966; A. A. Hill, A note on primitive languages, IJAL, XVIII, 1952, стр. 172 и сл.; C. F. Hockett, Chinese versus English, сб. «Language in culture», Chicago, 1954; E. E. Ware, Cross-cultural use of semantic differential, «Behavioral science», 6, 1961; K. M. Oszynski, Slownictwo ludów tzw. prymitywnych, BPTJ, 15, 1956.

культуры, а в семантических закономерностях соответствующего языка. Лингвисты и этнографы неоднократно указывали на то, что культурные особенности тех или иных народов вовсе не всегда влияют на развитие их языка и, наоборот, определенная структура языка отнюдь не подразумевает наличия определенных культурных реалий¹⁰.

В ряде случаев указывается на связь определенного семантического состава в том или ином языке с наличием или отсутствием определенных грамматических (синтаксических) категорий¹¹ (ср., например, интересные работы Ю. Д. Апресяна) и, наоборот, на связь определенных грамматических категорий с определенными структурными особенностями семантики. Некоторые лингвисты считают это достаточным для отрицания возможности установления лексико-семантических универсалий вообще, полагая, что типологические характеристики словаря (внутренняя форма слов, возможности полисемии и сочетаемости слов) тесно связаны с морфологическими универсалиями, с категориями экспрессии и стиля¹².

Специфичность состава лексических единиц в каждом отдельном языке и трудность (или невозможность) установления каких-либо признаков или отношений одних (атомистически рассматриваемых) лексико-семантических элементов на основе признаков или отношений других привели к мысли о необходимости раздельного рассмотрения плана выражения и плана содержания лексических единиц. В этой связи заслуживают внимания так называемые «семантические законы». Вряд ли есть основания для скепсиса Ф. де Соссюра, который считал, что семантические законы обусловлены единичными причинами и являются изолированными случайностями в истории языка. Наиболее характерной чертой многих из этих законов, как нам представляется, является то, что они нередко основаны на недостаточном количестве фактических данных, и нет никакой гарантии повторения их (в том же составе и последовательности) в другом языке или на другом диахроническом срезе развития одного и того же языка¹³. Те или иные семантические характеристики никак нельзя рассматривать в отрыве от реальной лексико-семантической структуры языка, в отрыве от сосуществующих и пересекающихся на данном срезе развития языка лексико-семантических континуумов, вне которых они немислимы. Не подлежит сомнению также и то, что семантические законы нуждаются в более общих формулировках, дающих возможность различить «панхронические» и случайные явления.

В американской лингвистике преобладает изучение семантических универсалий путем компонентного анализа слов¹⁴ и выделения маркирован-

¹⁰ Ср.: Н. K r a h e, *Sprache und Vorzeit*, Heidelberg, 1954, стр. 99; S. T h o m p s o n, *Icelandic parallels among Northeastern Algonquians*, сб. «Nordica et Anglica», The Hague, 1968; G. F r a z e r, *The folklore in the Old Testament*, London, 1923.

¹¹ Ср.: H. A. G l e a s o n, *The relation of lexicon to grammar*, сб. «Problems in lexicography», ed. by F. W. Householder and S. Saporta, New York, 1962.

¹² См.: V. S k a l i ě k a, *Wortschatz und Typologie, «Asian and African studies»*, I, Bratislava, 1965, А. Мартине пишет: «Немногие лингвисты будут настаивать на установлении типологии в лексике, и это не только потому, что они отдадут себе отчет в тесной зависимости словаря того или иного языка от неллингвистической реальности, но — и это может означать то же самое — потому, что лексика это как раз тот остаток, который получается после вычлениения и рассмотрения явно структурированных уровней языка, а именно — область непрочно связанных между собой единиц, целостная характеристика которых представляется весьма затруднительной». Единственной проблемой в лексике, которую, по мнению А. Мартине, следует подвергнуть типологическому рассмотрению, является выяснение причин различной мотивированности (внутренней формы) одних и тех же понятий в различных языках (А. M a r t i n e t, *Linguistic typology, «A functional view of language»*, Oxford, 1962, стр. 87).

¹³ Ср.: Э. А. М а к а е в, Реконструкция индоевропейского этимона, ВЯ, 1967, 4, стр. 32 и сл.

¹⁴ В том же плане рассматривается типология значений и в работах В. А. Звегинцева и Н. Ф. Пелевиной, См.: V. A. Z v e g i n c e v, *De la typologie des sens des*

ных (обладающих определенным оттенком смысла) и немаркированных (не обладающих тем или иным оттенком смысла) семантических элементов. Впоследствии производится сопоставление слов с близким составом семантических составляющих в языках различного строя, на основе чего и устанавливаются «универсалии»¹⁵. Установление «семантических составляющих» не может всегда производиться на основе одних и тех же критериев в языках различного строя, а выделение «маркированных» и «немаркированных» семантем на практике носит весьма произвольный характер и лишено однозначности.

Ст. Ульман в поисках семантических универсалий старается установить, какие понятия представлены и какие не представлены в языках различного строя и сколькими лексемами¹⁶.

Некоторые современные лингвисты пытаются возродить учение Лейбница об «универсальных семах» (отражающих якобы «универсальность» человеческого мышления), особенно на базе глоттохронологии, на базе математических вычислений ббльшей или меньшей сохраняемости тех или иных пластов лексики в рамках определенных цивилизаций¹⁷.

В уже упоминавшейся работе У. Вайнрайха делается попытка на основе категорий символической логики регламентировать возможности «соединимости смыслов» (например, смысла времени, пространства и др.)¹⁸.

В последнее время делаются интересные попытки установить фономорфологический состав слова в языках различных систем, типологическую «глубину» и длину слова и, наконец, наиболее типичные звуковые комплексы в различных языках¹⁹. Все это, несомненно, в дальнейшем явится хорошей предпосылкой углубленного изучения наиболее общих закономерностей словаря, важных для установления лексико-семантических универсалий.

Основное, что вытекает из всего сказанного, состоит в том, что типологический анализ лексики не может ограничиваться констатациями внешних, наиболее доступных наблюдению, но часто случайных совпадений отдельных элементов словаря и семантики. Необходимо, видимо, попытаться обнаружить, существуют ли общие структурные лексико-семантические м о д е л и, присущие, независимо от конкретного состава лексики, ряду языков и (если да) выяснить их особенности и закономерности. Только та-

mots, «Revue roumaine de linguistique», 40, 5, 1965; Н. Ф. П е л е в и н а, О типологических исследованиях в области семасиологии, «Структурно-типологическое описание современных германских языков», М., 1966.

¹⁵ См.: J. G r e e n b e r g, Language universals, The Hague — Paris, 1966, стр. 52 и сл.; 72 и сл.; E. V e n d i x, Componential analysis of general vocabulary, New York, 1966.

¹⁶ S t. U l l m a n n, Semantic universals, сб. «Universals of language», стр. 217 и сл.

¹⁷ Ср.: А. Б. Д о л г о п о л ь с к и й, Сохраняемость лексики, универсалии и ареальная типология, сб. «Лингвистическая типология и восточные языки», М., 1965. Противоположная точка зрения представлена в работе: S. L e v i n, Fallacy of a universal basic vocabulary, «Proceedings of the IX International congress of linguists», The Hague, 1964.

¹⁸ В этой связи ср. опубликованное недавно интересное исследование американского лингвиста К. Э. Циммера относительно возможностей сочетаемости отрицательных префиксов со словами, имеющими «позитивное» и «негативное» значение в различных языках мира и устанавливаемые им в связи с этим «словообразовательно-семантические» универсалии. См.: К. E. Z i m m e r, Affixal negation in English and other languages. An investigation of restricted productivity, «Word», XX, 2, Suppl., Monograph, 5, 1964.

¹⁹ Ср. В. А. М о с к о в и ч, Глубина и длина слов в естественных языках, ВЯ, 1967, 6; P. D e l a t t r e, A comparison of syllable-length conditioning among languages, «International review of applied linguistics», IV, 3, 1966.

кой подход, очевидно, даст возможность наметить и сформулировать те общие структурные процессы и закономерности на лексико-семантическом уровне, которые присущи механизму многих языков. Ниже будут рассмотрены некоторые универсальные явления в семантическом и лексемном плане, как с точки зрения частных закономерностей этого уровня, так и с точки зрения общих черт лексики и семантики вообще.

*

Мы будем различать не только лексико-семантические наборы, возникшие диахронически (назовем их горизонтальными), но и те различные комбинации и связи (семантические, лексемные), которые устанавливаются в уже данной, «готовой», синхронно сложившейся системе между компонентами исторически унаследованных лексико-семантических структур, вошедших в данную систему и сосуществующих в ней (назовем их вертикальными)²⁰.

Рассмотрение материала языков различного строя в свете теории лексической аттракции²¹ позволяет сформулировать следующие общие семантические закономерности.

(I) В различных языках мира (кроме полисинтетических и инкорпорирующих) наличие на синхронной семантической сетке какого-либо системно-значимого инварианта (мы будем называть его центральным элементом семантического цикла в пределах данной системы) возможно в том и только в том случае, если в рядах этой системы одновременно обнаруживается не менее еще одного семантического инварианта того же цикла (маргинальный член) — предшествующего или последующего, причем все указанные инварианты обычно выражаются разными лексемами (корнями), но не лексемами, являющимися константами. Теоретически это положение полностью вытекает из теории лексической аттракции. Поскольку, как мы пытались показать в своих других работах, наличие в пределах горизонтального микроряда двух инвариантов одного и того же цикла — невозможно, а с другой стороны, то или иное живое языковое явление закономерно проявляется в языке только в качественном и количественном многообразии своих вариантов, в распределении присущей им «энергии» между материально различными и функционально неравноценными элементами, необходимо допустить существование различных инвариантов одного и того же семантического цикла именно по вертикали. Можно, следовательно, полагать, что в языке одновременно развиваются несколько одинаковых семантических циклов (естественно, реализуемых в различных лексемах), находящихся, однако, в силу различных комбинаторных условий системы, на

²⁰ Как справедливо замечает Н. И. Толстой, «следует четко разграничивать две принципиально отличные операции: 1) конструирование микрополя-модели и 2) конфронтацию и интерпретацию материала». В первом случае мы имеем дело лишь с созданием инструмента для сравнения, а не с самим сравнением. Сравнение (конфронтация) материала — операция автономная по отношению к построению микрополя-модели. См.: Н. И. Толстой, Из опытов типологического исследования славянского словарного состава, II, ВЯ, 1966, 5, стр. 29.

²¹ Ср.: М. М. Маковский, Теория лексической аттракции, ВЯ, 1965, 6; его же, Идентификация элементов лексико-семантических структур, ВЯ, 1966, 6. Структурный подход к лексике характерен также для следующих работ: Р. А. Будагов, Сравнительно-семасиологические исследования, М., 1963; Н. И. Толстой, Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии, сб. «Славянское языкознание», М., 1968; J. E. Dupont, La chaîne sémantique ternaire, «Bulletin de la Commission royale de toponymie et de dialectologie», XXV, 1951; XVII, 1953; XVIII, 1954; T. C. Soutworth, A model of semantic structure, «Language», XLIII, 1, 1967; K. Huber, Der Systemgedanke in der Semasiologie und seine Voraussetzungen, Berlin, 1958.

разных уровнях развертывания. Такое развитие семантических циклов, видимо, не всегда совместимо с несколькими «внутренними формами» одного и того же инварианта на данном синхронном срезе языка, хотя, как мы пытались показать в другой своей работе, совпадение двух семантических циклов в одном пункте вполне возможно. Другими словами, одно из важных свойств семантического пространства в синхронии можно сформулировать следующим образом: семантические клетки одного и того же цикла, синхронно представленного в данной системе, заняты (resp. манифестируются) разными лексемами, а семантические клетки разных циклов, пересекающихся с изучаемым — одной и той же лексемой²² (каждое новое значение слова свидетельствует о его вхождении одновременно в несколько различных семантических циклов; в одном корне могут также пересекаться одинаковые семантические элементы разных циклов) (I б).

Правило (I) дает возможность сформулировать следующее следствие: если семантический инвариант, входящий в систему, лишен маргинальных членов, то в пределах одной и той же лексемы должны одновременно манифестироваться несколько последовательных инвариантов (или соответствующих им вариантов); в этом случае различные семантические элементы циклов, пересекающихся с изучаемым, выражаются разными лексемами (I с)²³. Ср. совр. нем.-швейц. диалект. *Gurre* 1) «клин (в платье)», «тряпка», но 2) «(неряшливая) женщина»; др.-англ. *isen*: 1) «кишка», 2) «рыба»; швейц. *Cist*: 1) «северный ветер», 2) «слепой»; швейц.-нем. диалект. *heijen*: 1) «to bast» 2) «to have sexual intercourse» (ср. англ. диалект. *hig* «a fit, attack of illness»); швейц.-нем. диалект. *fatzen* 1) «fall», 2) «fly»; др.-англ. *hearg*: 1) «hear»; 2) «a temple»; 3) «simulacro»; др.-англ. (норт.) *snidan*: 1) «резать», 2) «accumbere»; совр. англ. диалект. *trim*: 1) «nice, snug, fine»; 2) «beat, thrash»; 3) «temper, disposition»; швейц.-нем. диалект. *bējer*: 1) «artig, hübsch»; 2) «verunstaltet, verderbt», ср. также швейц. *bējeren* «züchtig drauf los schlagen».

Совмещение различных инвариантов (конечно, не сходных по своему содержанию с индоевропейскими) в одной лексеме весьма типично для туземных языков Океании, Австралии и Америки. Ср. маори *mea* n. «a thing; a place; a person»; vb. «make, do; say»; *wa* «place or space; time»; малайск. *sajang* (также: *kasih*, *tjinta*) «любовь, жалость»; амер.-инд. (гварани): *tĩ* «белый; стыд»; сириано (Боливия): *etyo* «бледный; стыдливый»; малайск. *mata* «an eye; a mesh; sharp edge; the direction from which the wind blows»; гвайск. *ʽi* «flesh, meat; relative; true, really»²⁴.

Указанные правила связаны с несколькими объективными языковыми закономерностями. Прежде всего, как показывает фактический материал, избыточность формальной протяженности лексемы (как в рамках одного, так и нескольких слов) обычно ведет к изменению или нейтрализации семантической структуры, связанной с каждым из этих слов или с некоторы-

²² Вопрос о соотношении определенного «количества смысла» с определенной протяженностью лексемной оболочки — одна из важнейших проблем теоретической семантики. Проблема эта обычно решается в науке в менталистском или логико-психологическом плане при невнимании к чисто структурным особенностям, присущим словам как языковым реалиям. По данному вопросу см.: В. М. Ж и р м у н с к и й, О границах слова, ВЯ, 1961, 3.

²³ Сформулированные нами правила можно с успехом проверить на большом и интересном фактическом материале, собранном Г. Остроффом (см.: Н. О s t h o f f, Etymologische Parerga, Leipzig, 1901).

²⁴ R. F. S c h e r m a i r, Vocabulario sicriano-castellano, Innsbruck., 1957, стр. 475, N. H o l m e r, указ. соч., стр. 30 и сл.; Ср.: J. J. D u m a z e d i e z, Structures lexicales et significations complexes, «Revue française de sociologie», V, 1, 1964; P. H a r t m a n n, Offene Form, leere Form und Struktur, сб. «Sprache — Schlüssel zur Welt», Düsseldorf, 1959; F. H i n t z e, Zum Verhältnis der sprachlichen «Form» und «Substanz», «Studia linguistica», 3, 1949.

ми из них [обратно: семантическая избыточность (имеется в виду несовместимость в пределах одной лексемы нескольких семантических инвариантов, за исключением случаев, когда их наличие обусловлено «давлением системы»), как правило, обуславливает изменение или нейтрализацию состава лексем, выражающих данный избыточный смысл] (Id)²⁵. В этой связи весьма показательны удвоение лексем (редупликация), используемое для смысловозначения в ряде языков (в частности, в африканских) [ср., например, коптск. *ten* «стоять», но *tennen* «двигаться», относящиеся к одному и тому же семантическому циклу; в языке эве: *nda* «дом», *o-ndenda* «маленький дом», *mot* «человек», *o-momot* «маленький человек», *bot* «люди», *o-bobot* «маленькие люди» (см. «Festschrift Meinhof», Hamburg, 1927, стр. 321); примеры нейтрализации смысла при удвоении в языке эве: *tukui*, *tukutukui* «ein wenig», *ɔa*, *ɔaɔa* «eng, schmal sein», *pe*, *pepepe* «genau», *ve*, *veve* «scharf sein», стр. 323—324], а также так называемое рифмованное удвоение в индийских языках и рифмованное словообразование в индоевропейских языках²⁶ [в связи с этим вряд ли можно согласиться с И. Хольтом, утверждающим, что число (наименьших) элементов слова равно числу его функционально-значимых компонентов]. Примеры изменения формы лексем под влиянием избыточности смысла: англ. *queen*—*quean*, коптск. *soš* «geziemend» — *seš* «ungeziemend»; *hot* «zerbröckeln» — *toh* «festigen»; *hn* «binden» — *neh* «trennen»²⁷. Можно также указать на то, что синонимы, являющиеся обычно вариантным выражением одного и того же смысла, реализуются в разных лексемах.

Интересно отметить, что хотя полярные инварианты могут встречаться внутри одной лексемы в случаях, когда их сосуществование значимо и обусловлено системными закономерностями, они неизменно нейтрализуются в пределах лексем, составляющих сложное слово. Ср. кит. *shu* «терять» + *ying* «выиграть» (*shuying* «результат»); *zu* «фальшивый» + *shi* «правильный» (*xushi* «состояние дел»); *zao* «рано» + *wan* «поздно» (*zaowan* «интервал»).

Лексико-семантическая система языка, как мы уже говорили, предполагает одновременное наличие взаимодополняющих, но функционально неравноценных (более «сильных» и более «слабых») ²⁸ элементов, манифестируемых в двух независимых друг от друга и обязательных планах: 1) в виде вариации семантических циклов и 2) в виде вариации отдельных элементов (инвариантов) цикла. Тем самым строго ограничивается состав лексико-семантических наборов. Любая «логическая» группировка лексем, представленная на данном синхронном срезе развития языка, по необходимости носит искусственный характер и не отражает реальной структуры лексико-семантического уровня. Каждый из маргинальных инвариантов в свою очередь обуславливает наличие не менее одного инварианта в различных проекциях семантической структуры (входя в качестве центрального члена в те же или другие циклы), а каждый из этих последних

²⁵ Ср.: D. J. Georgacas, Creation of new words in Greek by shortening and a lexical crux, «Orbis», 4, 1955.

²⁶ F. Wood, Rime-words and rime-ideas, IF, XXII, 1907—1908; H. Güntert, Über Reimwortbildungen im Arischen und Altgriechischen, Heidelberg, 1914; В. Воровский, Lautdubletten im Altenglischen, Halle, 1924.

²⁷ C. Abel, Sprachwissenschaftliche Abhandlungen, Leipzig, 1885, стр. 299.

²⁸ О понятии «сильных» и «слабых» языковых элементах см. М. М. Маковский, Валентные отношения в лексике, «Ин. яз. в шк.», 1968, 6; е го же, Теория лексической аттракции, стр. 86. Ср.: P. H. Veburg, Taal en functionaliteit, Wageningen, 1952; ср.: R. King, The measurement of functional load, «Studia linguistica», 21, 1, Lund, 1967; J. G. Brin, Introduction to functional semantics, Boston, 1949; A. Schlisman, n, Gesetz und Freiheit in der Sprache, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 6, 1966.

инвариантов, естественно, не может существовать без соответствующих им предшествующих или последующих инвариантов в других пунктах семантической сетки.

Таким образом, некоторые элементы семантической системы в различных проекциях могут одновременно выступать и как центральные, и как маргинальные, а некоторые не могут; некоторые элементы на одном уровне семантической сетки выступают как инварианты, а на другом — как варианты другого цикла²⁹. Это не позволяет согласиться ни с тем, что семантические циклы развиваются, как правило, от конкретного значения к абстрактному (Й. Трир, Я. де Фриз), ни с тем, что развитие идет от абстрактного к конкретному (Э. Бенвенист)³⁰. Следует иметь в виду, что компоненты семантических циклов являются прежде всего языковыми, а не логическими или культурно-историческими реалиями: они подчиняются именно тем закономерностям, которые действуют именно в данном лексико-семантическом окружении. Многие логические (или культурно-исторически) связанные понятия могут не быть элементами семантических циклов, а с другой стороны, не все элементы семантических циклов достаточно прозрачно связаны между собой логически или культурно-исторически, хотя, конечно, и экстралингвистические факторы безусловно играют большую или меньшую роль при формировании лексико-семантических наборов³¹. Вообще, как убедительно показал Н. Холмер, разделение понятий на абстрактные и конкретные редко совпадают в различных частях мира³².

Порядок следования элементов цикла, как вытекает из нашего положения (I), находится в прямой зависимости от того, какой элемент семантического цикла в данном окружении выступает как центральный и какие как маргинальные. В частности, маргинальные члены при развитии цикла не могут выступать как последующие к данному центральному инварианту³³. Тот факт, что в языках различного строя прослеживается ряд совершенно определенных последовательностей развертывания семантических циклов, безусловно свидетельствует о том, что в этом случае перед нами типологически сходные лексико-семантические структуры³⁴, в пределах которых эти циклы развертываются; в то же время разного рода «отклонения» последовательности инвариантов, а также различная «мотивиро-

²⁹ Ср.: J. W. Addison, *The theory of hierarchies*, сб. «Logic, methodology and philosophy of science», Stanford, 1962.

³⁰ В этой связи показательно следующее высказывание Лейбница: «...мы должны, таким образом, при рассмотрении генезиса смыслов (Sinngenese), присущего языку, постулировать первоначальное, исходное значение слова, которое нельзя признать ни чисто эмоциональным (sinnlich), ни чисто интеллектуализованным, ни чисто индивидуальным, ни просто абстрактным или общим, но следует считать потенциально заключающим в себе все эти возможности» (см.: F. H. Huberti, *Leibnizens Sprachverständnis unter besonderer Berücksichtigung des III Buches der «Neuen Untersuchungen über den Verstand», «Wirkendes Wort»*, 16, 1966, стр. 365); ср. также Э. А. Макаев, А. Я. Шайкевич [рец. на кн.:] J. de Vries, *Altnordisches etymologisches Wörterbuch*, ВЯ, 1959, 5.

³¹ Ср.: J. Deese, *The structure of associations in language and thought*, Baltimore, 1966; H. de Charency, *Les couleurs considérées comme symboles des points de l'horizon chez les peuples du Nouveau Monde*, Paris, 1877; D. Westermann, *Afrikanische Tabusitten in ihrer Einwirkung auf die Sprachgestaltung*, Berlin, 1940.

³² Ср.: N. Holmer, *Oceanic semantics*.

³³ Ср. другие попытки регламентации порядка следования семантических элементов: A. Sapeil, *The typology of concept domination*, «Lingua», XV, 1965; H. Gipper, *Bausteine der Sprachinhaltsforschung*, Düsseldorf, 1963, стр. 263 и сл.; J. Holt, *Beiträge zur sprachlichen Inhaltsanalyse*, «Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft», 21, 1964.

³⁴ Ср.: A. Hill, *Principles governing semantic parallels*, «Texas studies in literature and language», 1, 1959.

ванность» тех или иных понятий в различных языках бесспорно говорят о том, что мы имеем дело с типологически различными семантическими моделями. Не подлежит сомнению, что содержание семантических инвариантов и вариантов и порядок их следования друг за другом так же многообразны и бесконечны, как и сам язык. С другой стороны, однако, семантическая избирательность, т. е. развертывание именно данного семантического цикла, носит строго облигаторный характер и всецело зависит от тех конкретных комбинаций языковых элементов, тех окружений, которые складываются в тот или иной период развития лексико-семантического континуума. Одни и те же инварианты реализуются в виде несходных между собой вариантов, выступающих в различных окружениях; с другой стороны, одинаковые варианты могут соответствовать различным инвариантам, актуализуемым в несходных условиях. Как же различать в каждом конкретном случае, где мы имеем дело с вариантами и где с инвариантами? Необходимо прежде всего учитывать следующее: поскольку манифестация варианта неизменно предполагает, что в данной микроструктуре некогда существовал соответствующий инвариант, наличие того или иного инварианта в одном микроряде исключает наличие его вариантов во всех остальных микрорядах, а наличие определенного варианта в каком-либо микроряде не допускает существования в данной системе соответствующего инварианта. Как только тот или иной семантический элемент лишается вариативности в системе, он обычно выпадает (таковы, например, др.-англ. *waerlan* «gehen», *wocie* «Schlinge» (в глоссах), *þicgan* «nehmen, essen, betteln» и др.)³⁵, а на его месте (если это допускает и обуславливает реальный состав новой конфигурации лексико-семантической системы) возникает новая лексема, варьируемая либо в плане развертывания цикла, либо в плане синонимических рядов. Естественно, что это не относится к разного рода *Restwörter*, образованиям типа нем. *Hagestolz*, архаизмам, лексическим константам и др.

Отсутствие семантического варьирования, часто наблюдаемое при заимствовании, либо препятствует попаданию нового слова в язык, либо ведет к его изолированному положению в системе³⁶.

В этом плане каждый последующий член семантического цикла ео ipso «слабее» предыдущего, т. е. цикл развивается обычно в сторону маргинальных, а не центральных семантических элементов данного лексико-семантического континуума.

Если инвариант, являющийся маргинальным для другого инварианта, в свою очередь сам не дополняется маргинальными элементами, то он является «слабым» звеном в системе. Это отнюдь не противоречит нашему правилу (I), ибо каждый из «слабых» маргинальных членов удерживается в системе благодаря существованию центрального.

Необходимо отметить, что семантические процессы в языке никогда не представляют собой одномерных, линейных преобразований, вращающихся только в одной плоскости, а наоборот, всегда являются процессами многоплановыми, многомерными, обусловленными причинами, действующими одновременно в нескольких (иногда несовместимых) плоскостях языкового механизма: изменение или выпадение того или иного семантиче-

³⁵ Ср.: К. J a e s c h k e, Beiträge zur Frage des Wortschwundes im Englischen, Breslau, 1931.

³⁶ Ср., например, так называемые «сложные друзья переводчиков»: русск. *трюк*, но англ. *trick* «грузовик; овощи»; русск. *клуб*, но англ. *club* «дубинка; клуб»; русск. *провиант*, но франц. *provision* «условие»; русск. *девуз*, но англ. *device* «устройство», франц. *devises* «деньги»; русск. *морф*, но англ. *turf* «скачки», ср. еще русск. *хруст*, но чеш. *chrust* «жук». Ср.: R. L ö w e, Die Ausnahmlosigkeit sämtlicher Sprachneuerungen, «Zeitschrift des Vereins für Volkskunde», Jg. I, 1891.

ского элемента (например, центрального инварианта), закономерные с точки зрения развития данного вертикального микроряда, может «тормозиться» состоянием горизонтального ряда, куда рассматриваемый элемент может входить уже в качестве маргинального инварианта, или одновременно закономерностями второго и третьего окружения; с другой стороны, элемент, изменение или выпадение которого в данном ряду ничем не оправдано, может все же изменяться, входя одновременно в другие (вертикальные) ряды, где такие изменения совершенно необходимы. Семантическая стабилизация ряда наступает лишь после исключения всех избыточных элементов, возникающих в результате последовательных изменений семантических состояний в пределах как горизонтальных, так и вертикальных окружений. Любой компонент семантического цикла в своем развитии в пределах той или иной лексико-семантической системы может: 1) вовсе не изменяться; 2) выпасть под влиянием нейтрализации (все одинаковые по своему содержанию члены, независимо от их вхождения в тот или иной микроряд, нейтрализуются)³⁷ или выходить из системы, рефлексивуясь в виде варианта; 3) «перескакивать» через непосредственно следующий семантический инвариант.

Изменение значений (т. е. отдельный «шаг» в развитии семантического цикла) обычно является лишь реакцией на те или иные трансформации в лексико-семантическом наборе; с другой стороны, не каждый семантический шаг обязательно ведет к изменению значения: можно указать на метафорическое и метонимическое употребление тех или иных слов, более узкое и широкое значение одних и тех же слов в различных хронологических проекциях языка (ср. различные значения русск. *машина*, *пионер*; нем. *Fräulein* в современном языке и в языке Гёте и т. д.)³⁸. Поскольку при малейшем нарушении равновесия ряда одновременно «реагируют» все его члены, вполне понятно, что в первую очередь семантическим изменениям подвержены «слабые» компоненты ряда; «сильные» же семантические элементы ряда, совершая шаг вперед, как бы немедленно возвращаются на прежнее место (рекурсивный, или пустой, семантический сдвиг).

Всегда рекурсивный характер носят маргинальные семантические элементы, совпадающие лексемно, по своему корню с центральным (ср. совр. англ. *true*, но *tree*). Рекурсия инварианта влечет за собой передвижение на один «шаг» одного или двух семантических элементов, являющихся его обязательным окружением в горизонтальных системах. Если такое передвижение касается предшествующего семантического компонента, то он по своему содержанию совпадает с рассматриваемым инвариантом, что ведет к нарушению структурной целостности семантической двойки и к превращению изучаемого инварианта в вариант. Если же передвижение касается последующего семантического компонента, то (в случае невозможности дальнейшего развертывания цикла) этот последний выходит из системы, а предшествующий компонент превращается в вариант; наконец, если дальнейшее развертывание цикла невозможно, то между изучаемым инвариантом и последующим семантическим компонентом образуется пустая клетка.

В свете теории лексической аттракции при последующих изменениях в семантических системах имеют место следующие «реакции» (если, конечно, эти «реакции» в свою очередь не нарушаются или не нейтрализуются теми или иными особенностями системы): а) инвариант (или вариант) в окружении двух пустых клеток не может существовать; б) два (и более)

³⁷ Ср.: «Travaux de l'Institut linguistique», II (1957), Paris, 1958.

³⁸ Ср. также: R. Ch. Trench, A select glossary of words used formerly in the senses different from their present, London, 1859.

варианта одного цикла в пределах вертикального или горизонтального рядов нейтрализуются и образуют пустую клетку; с) пустая клетка между двумя инвариантами обуславливает движение цикла в сторону этой пустой клетки, т. е. ведет соответственно к рекурсии (если пустая клетка находится перед инвариантом) или к передвижению цикла на один шаг вперед (если пустая клетка находится после инварианта).

Все сказанное дает возможность выделить в языках следующие типологически дискретные семантические структуры (в отдельных языках эти модели могут сосуществовать или одна из них может преобладать).

1. **Открытую** (динамическую, активную) структуру, т. е. структуру, способную подчинять себе одну из сосуществующих семантических структур или быть подчиненной открытой же структурой; такая структура при изменении окружения может «подключаться» к другим семантическим континуумам, порождая новые циклы.

2. **Закрытую** (статическую, пассивную) семантическую структуру, т. е. структуру, не способную подключаться к какой-либо из сосуществующих структур, хотя к ней и могут подключаться, подчиняя ее, открытые системы (закрытые структуры чаще всего состоят из рекурсивированных элементов). Естественно, что на данном этапе развития языка все зависимые открытые структуры реально представлены как условно закрытые, так как ограничены в своей протяженности другими структурами, от которых они зависят.

Можно указать на следующие свойства открытых и закрытых семантических структур: 1) подключение друг к другу двух открытых структур дает закрытую; подключение открытой структуры к закрытой дает открытую; 2) элементы закрытых структур по своему содержанию более специализированы, чем те же элементы открытых структур.

(II.) Если семантический цикл в своем развитии в данном окружении достигает крайнего компонента (target-structure, по Хенигсвальду), то (при наличии условий вариативности в системе) цикл реверсируется, т. е. разворачивается в порядке, обратном первоначальному, в том числе от одного полярного компонента к другому (обычно такая реверсия сопровождается дополнительными фонеморфологическими процессами). Если же реверсия произойти не может³⁹, данный корень либо выходит из системы, либо подвергается энантиосемии⁴⁰. Это положение прямо вытекает из нашего правила (I). В самом деле, поскольку каждый инвариант существует только при условии наличия предшествующего или предыдущего компонента цикла, то при выходе из системы «последнего» центрального инварианта один из маргинальных компонентов цикла (предпоследний или последний) обязательно остается в системе. К этому компоненту, если он продолжает оставаться в системе и не отходит к другому циклу, немедленно подключается минимум один семантический инвариант того же цикла, возникший либо в виде реакции на выход из системы того или иного инварианта (субституция, по Хердегену), либо по аналогии⁴¹. Вполне есте-

³⁹ О «необратимых» семантических циклах ср.: W. Brandenstein, *Die Indogermanen und Germanenfrage*, Salzburg, 1936; ег о же, *Die erste indogermanische Wanderung*, Wien, 1936; ег о же, *Etymologica*, «Studies presented to Joshua Whatmough», 's-Gravenhage, 1957.

⁴⁰ Ср. интересную работу: P. Bellezza, *Nuovi appunti enantiosemeici*, «Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere», classe di lettere e scienze morali storiche, 79, 1945—1946.

⁴¹ Ср.: S. Kroesch, *Analogy as a factor in semantic change*, «Language», XXI, 1926; H. Hirt, *Untersuchungen zur indogermanischen Altertumskunde*, IF, XXII, 1907—1908; ср.: L. Tobler, «Zeitschrift für Völkerpsychologie», 1, 1860, стр. 363, 378; E. G. Herdgen, *Grundzüge der lateinischen Bedeutungslehre*, Berlin, 1888, стр. 63 и сл.

ственно, что цикл развивается уже в обратном направлении, так как начал с последнего члена; понятно, что в данном макронаборе для указанного последнего компонента, если он остается в системе, парными маргинальными членами могут быть только члены того цикла, в результате развития которого он возник. В этой связи можно указать на сложные слова, состоящие из антонимов, но сохраняющие смысл лишь одного из них: англ. *with-out* (*with* + *out*), нем. (берл.) *Janein* (вместо *nein*), вост.-нем. диалектн. *mitohne* (вместо *ohne*), копт. *khelšeri* «молодой» (*khel* «молодой» + *šeri* «старый»); копт. *uesfon* «близкий» (= *ue* «далекий» + *on* «близкий»); *latbes* «связывать» (*lat* «связывать» + *bes* «разъединять»); *ebolken* «вовне» (*ebol* «вовне» + *khen* «внутри») ⁴². Интересны случаи, когда одни и те же корни дают в различных языках прямо противоположные (полярные) элементы цикла (ср. русск. *черствый*, но чеш. *čerstvý* «свежий»; русск. *запоминать*, но чеш. *zapominati* «забыть» и др.).

(III.) Одной из важнейших проблем типологии в области лексики и семантики является не только выделение определенных структурных моделей, но и установление их эквивалентности ⁴³, равносильности. Решение этого вопроса, к сожалению, наталкивается на весьма серьезные трудности, обусловленные прежде всего односторонним подходом к лексико-семантическим реалиям и неразработанностью их структурных закономерностей. В качестве предварительного опыта ниже делается попытка наметить некоторые возможности подобной экстраполяции.

Как вытекает из сказанного, лексемы, принадлежащие к одному набору, обычно выражают семантические единицы, принадлежащие к разным наборам. Семантические же единицы, принадлежащие к одному набору (семантическому циклу), выражаются, как правило, лексемами, относящимися к разным наборам.

Отсюда: 1. Если лексемный состав (конфигурация) сравниваемых наборов одинаковы, то выражаемые ими семантические единицы должны принадлежать к разным семантическим циклам (что в свою очередь говорит о различной дистрибуции и лексем в изучаемых наборах). Если же семантические элементы, представленные в каждом из изучаемых языков, принадлежат к одному и тому же набору (т. е. имеют одинаковую дистрибуцию), то выражающие их лексемы принадлежат к разным лексемным наборам (т. е. имеют различную лексемную конфигурацию).

2. Топологические и структурно различные модели в одинаковых окружениях и топологически и структурно одинаковые модели в разных окружениях функционально и структурно эквивалентны (например, эквивалентными по своей структуре в разных языках можно признать открытые семантические модели, соответственно зависимые и зависящие от другой открытой модели, или модели, находящиеся в одинаковой зависимости, но имеющие различную дистрибуцию или конфигурацию своих компонентов). С другой стороны, топологически (и структурно) различные модели в различных окружениях также функционально эквивалентны ⁴⁴.

⁴² См.: С. А бел, указ. соч.

⁴³ Ср.: Э. А. Макаев, указ. соч.; Н. J. Uldall, On equivalent relations, TCLC, V, 1949.

⁴⁴ Топологически эквивалентными мы называем элементы двух (или более) систем, занимающие одну и ту же позицию по отношению к общей структуре соответствующей системы (независимо от протяженности системы и компонентов, входящих в нее). В частности, такие элементы могут требовать для своего существования в системе одинакового количества подчиненных им «подструктур». Топологически эквивалентные элементы никогда не бывают функционально однозначными, и наоборот, функционально однозначные элементы не могут быть эквивалентны топологически.

В связи с этим необходимо строго учитывать определенный (сходный или несходный в нескольких языках) «ранг» данного явления в пределах микро- и макросистем.

3. Сложность структуры и ее соотношений с сосуществующими моделями на уровне семантики обратно пропорциональна сложности структуры на лексемном уровне. И обратно — сложность отношений между лексемами какого-либо набора обратно пропорциональна сложности отношений между компонентами соответствующего семантического уровня.

Таким образом, при установлении типологических закономерностей в области лексики и семантики необходимо прежде всего исследовать особенности каждого языка изнутри (внутренняя реконструкция в диахронии и синхронии), пытаться выделить в каждом языке определенные структурные модели, и лишь потом переходить к сопоставлению отдельных языков в плане их типологического сходства или различия.

*

Мы рассмотрели некоторые аспекты изучения сравнительной типологии в области лексики и семантики, наметили некоторые возможные направления и пути рассмотрения соответствующих проблем. Не подлежит сомнению, что типология на лексико-семантическом уровне качественно отличается от типологии на уровне фонологии и грамматики: в то время как фонологическая и грамматическая типология вполне закономерно строится на отношениях, взаимозависимостях отдельных, дискретных элементов этих уровней, лексико-семантическая типология оказывается намного сложнее и по необходимости требует рассмотрения взаимоотношений и свойств определенных семантических и лексемных структур, общих или различных для изучаемых языков. Правда, такие структуры нередко намного труднее выделить и исследовать, чем те, которые типичны для фонологии и грамматики, ибо они не всегда различимы на «поверхности» и требуют углубленного и тщательного анализа внутренней архитектуры, внутреннего механизма языка. Именно игнорирование структурных единиц в области лексики и семантики неизменно приводило либо к крайнему скепсису относительно возможностей типологических исследований в этой области, либо к неудачным попыткам типологической интерпретации лексико-семантических реалий и отрицанию диахронических универсалий⁴⁵. Достижения во всех областях современной языковедческой науки⁴⁶ являются гарантией возможности преодоления трудностей изучения лексико-семантических структур и создания сравнительной типологии на высшем языковом уровне — уровне лексико-семантических реалий. Тем самым открываются широкие перспективы выяснения явлений, до сих пор считавшихся «аномальными».

⁴⁵ Отрицание диахронических универсалий особенно ярко проявилось в работе: Н. Н о e n i g s w a l d, Are there universals of linguistic change?, сб. «Universals of language», Cambridge (Mass.), 1963. Материал настоящей статьи, как нам представляется, в значительной мере опровергает положения Г. Хенигсвальда.

⁴⁶ Ср.: Н. S e i l e r, A. J a c o b, La genèse et la structure en linguistique, сб. «Entretiens sur les notions de genèse et de structure», Paris — La Haye, 1965; Н. М e y, Studien zur Anwendung des Feldbegriffs in den Socialwissenschaften, München, 1965; A. d e V i n c e n z, Zur Frage der «begrenzten Inventare» in der Semantik, «Orbis scriptus», München, 1966, стр. 865—893.

Весьма интересны указания Э. А. Макаева по общей типологии языковых структур. См. Э. А. М а к а е в, Отбор констант для построения типологической грамматики германских языков, сб. «Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966; е г о ж е, Сравнительная, сопоставительная, типологическая грамматика, ВЯ, 1964, 2.

Э. М. МЕДНИКОВА

К КРИТИКЕ НЕКОТОРЫХ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ

Поиски новых методов и приемов семасиологического исследования ведутся в настоящее время в двух направлениях, определяемых, строго говоря, различным пониманием того, что является объектом этого исследования. С одной стороны, продолжает развиваться то направление в семасиологии, которое исходит из объективности существования отдельного слова не только как части уже созданного произведения речи, а как закрепленного в сознании говорящих эквивалента элементов расчлененной действительности. Это — так называемая «лексическая» семантика. С другой — все более значительное число исследователей отказывается от анализа отдельного слова (или «слабой» семантики) и объявляет единственно подлинно научным объектом исследования «сильную» семантику связного текста, или так называемую «текстоцентрическую» семантику, впервые намеченную в работах Хомского, Катца и Посталя¹.

На лексикоцентрическом подходе к семасиологии строится, по существу, вся лексикография, для которой не существует вопроса о том, откуда взяты отдельные слова. В течение очень долгого времени молчаливо принималось, что словарный состав языка — это совокупность дискретных единиц, каждая из которых прямо и непосредственно соотносится с определенными «индивидуальными референтами». Эта концепция вполне эксплицитно выступает также и в многочисленных «традиционных» исследованиях словарного состава. Здесь нет необходимости называть их, они широко известны. Необходимо лишь еще раз отметить, что все эти работы исходят из объективной данности, из не нуждающегося в доказательстве факта существования соответствующих глобальных лексем. Конечно, лексикоцентрический подход не отрицает роли словосочетания в определении значения слова. Наоборот, сторонники лексикоцентрического подхода постоянно обращаются к контексту, в котором находят конкретные реализации различных значений слова. Принципиальная разница заключается в том, что для лексикоцентрической семасиологии исходным является именно слово².

Основным постулатом текстоцентрического подхода является то, что семасиология страдает не столько от недостатка сведений о значениях и их взаимосвязях в естественных языках, сколько от отсутствия адекват-

¹ См. особенно: N. Chomsky, *Syntactic structures*, The Hague, 1957; J. J. Katz, P. M. Postal, *An integrated theory of linguistic description*, Cambridge (Mass.), 1964, а также статью Е. В. Падучевой «Международная конференция по семантике в Польше» («Научно-техническая информация», серия 2, М., 1967).

² Следует отметить еще один появившийся в последнее время подход к рассмотрению семантических проблем. Речь идет о понимании семантики слова в рамках исторически сложившихся лексико-семантических наборов, элементы которых (обычно не связанные общностью значения и словообразования) обладают большей или меньшей функционально-сигнификативной нагрузкой и устойчивостью в зависимости от их позиции в ряду и валентности. См. М. М. Макаевский, Идентификация элементов лексико-семантических структур, ВЯ, 1966, 6; е го же, Валентные отношения в лексике, «Иж. яз. в шк.», 1968, 6.

ной теории, могущей организовать, систематизировать и обобщить эти сведения. Поэтому задача состоит в том, чтобы определить, какой вид должна иметь семантическая теория естественного языка, чтобы наиболее разумно и эксплицитно согласовать и представить все факты семантической структуры языков, получаемые в результате описательного, эмпирического исследования.

Посмотрим теперь, какими конкретными методами пользуются описанные нами направления. Предположим, что перед исследователем, следующим лексикоцентрическому направлению, стоит задача выяснить значение в современном английском языке слова *meet*. Как подходит он к этой задаче? Прежде всего он обращается к многочисленным толковым словарям, в которых имеются не только суждения специалистов-лексикографов, но и некоторое количество канонизированных словосочетаний (иллюстраций). Изучая и сопоставляя подачу материала различными словарями, извлекая примеры употребления анализируемого слова также и из разнообразных аутентичных текстов (фиксирующих речевые произведения различных «жанров»), обращаясь, в случае необходимости, к информантам, он может составить себе достаточно полное и вполне достоверное представление о семантической структуре данного слова. Так, он обнаруживает, что глагол *meet* имеет такие реализующиеся в различных случаях употребления (словосочетание, контекст) значения, которые обуславливают тот факт, что предложение *He met her* «Он встретил ее» не представляет для сторонника лексикоцентрического подхода семантической загадки.

Начиная с тридцатых годов лексикоцентрическая методика, с введением уже структуральных понятий о системности, «поле», рядах и т. п. наиболее энергично применялась И. Триром и, *mutatis mutandis*, его последователями. Здесь важно еще раз подчеркнуть, что в лексикоцентрической методике основным требованием является максимальная конкретность. Исследователь исходит из словника. Он не может начать работу, не имея инвентаря (перечня) лексем. Сначала исследуется отдельное слово (отсюда и обращение к экстралингвистике, необходимость определения «индивидуальной соотнесенности с референтом» — *individual reference*). Систематизация, установление системности лексики — это следующий шаг.

Текстоцентрическое направление, отрицающее необходимость изучения экстралингвистических связей, интересуют наиболее абстрактные семантические категории. Здесь для исследователя отправной точкой оказывается не отдельное слово, а цельное и связное произведение речи — высказывание.

Наиболее наглядно текстоцентрический подход к семантическому исследованию представлен в работе Катца и Фодора «Структура семантической теории»³. Свою процедуру авторы излагают в последовательно формализованном виде: $F(S, GS, IS, C)$, где аргументами функции F являются предложение S , грамматическое описание предложения GS , семантическая интерпретация (набор значений) предложения IS и ситуация контекста (*setting*) C . Таким образом, $F(S, GS, IS, C)$ означает либо 1) одну данную интерпретацию — IS , — которую естественно пользующиеся языком приписывают S в контексте типа C (однозначность S в данном контексте, *full disambiguation of S*); либо 2) $n \geq 2$ интерпретаций,

³ J. J. Katz, J. A. Fodor, The structure of a semantic theory, «Language», 39, 2, 1963. Вслед за Катцем и Фодором попытка создания универсальной семантики, которая позволила бы интерпретировать значения порождаемых предложений, была предпринята Абрахамом и Кифером, развившими их теорию и внесшими в нее некоторые коррективы. См.: S. Abraham, E. Kiefer, A theory of structural semantics, The Hague, 1966.

приписываемых S , если S имеет n разночтений в контексте типа C (отсутствие однозначности S , недостаточность C для полной ликвидации двусмысленности); либо 3) сводится к нулю, если S нельзя приписать ни одной интерпретации, когда оно находится в контексте типа C .

Приведенная формула вновь свидетельствует о том, что основной помехой в развитии семантической теории является отсутствие достаточно глубокого проникновения в природу C . Действительно, что такое «контекст» — непосредственное вербальное окружение или же, наряду с ним, также и экстралингвистический социо-физический контекст, т. е. вся сумма знаний человека о мире?⁴ На этот вопрос авторы ответа не дают, ограничиваясь указанием на то, что под C они подразумевают контекст, «достаточный для семантической интерпретации данного предложения». При этом понятие контекста фактически оказывается сведенным к вербальному окружению, поскольку привлечение каких-либо экстралингвистических факторов не укладывается, по определению, в рамки строго формальной теории. Выход тогда приходится искать в обращении к сверхфразовому единству. Имея некоторую последовательность предложений, можно «формально» получить однозначную интерпретацию. Так, предложению *Он принес лук* в изолированном виде неоднозначно, но неоднозначность снимается, если соединить его с предложением *Они принялись за приготовление салата*. Или, например, *Она привела нас в лес* и *Мы долго шли едва приметной в скошенном лугу тропинкой*.

Хотя число и разнообразие факторов, подлежащих изучению в семантическом исследовании, уже и так оказывается очень большим, приведенными моментами проблема отнюдь не исчерпывается. Очень важное место в таком исследовании занимает вопрос о морфологических связях. Часто разрешение проблемы неоднозначности предложения упирается в сложность морфологического строения составляющих его слов. Так, например, речевое произведение *Это было сложное предложение*, даже если оставить в стороне возможные семантические интерпретации слов *быть* и *сложный*, а сосредоточиться только на слове *предложение*, может иметь три толкования: 1) грамматическое: сложное предложение в противоположность простому; 2) связанное с глаголом *предложить*, т. е. «представить на обсуждение как известную возможность»; 3) связанное с существительным *предложение*, означающее просьбу стать женой.

Однако и эти трудности оказываются не самыми существенными. Как известно, колоссальное влияние на семантическую интерпретацию высказывания оказывает лексико-фразеологическая сочетаемость слов, т. е. вся совокупность до сих пор не разгаданных правил и законов взаимного «притяжения» или «отталкивания» отдельных слов.

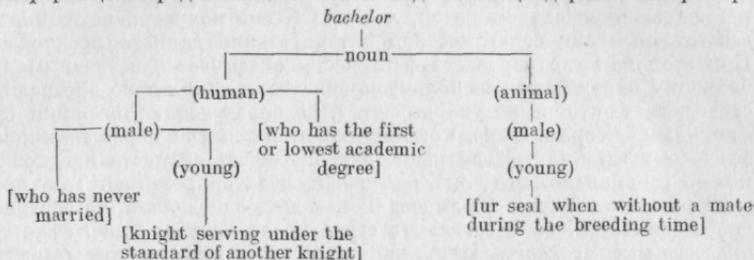
Безусловный интерес представляет подробное операционалистическое описание семантического анализа предложения, которое мы находим в указанной выше работе Катца и Фодора. Исследователь должен исходить из наличия словаря анализируемого языка (dictionary) и правил применения той информации, которая заключена в словаре, «комбинаторных правил» (projection rules), учитывающих семантические отношения между словами и взаимодействия между их значениями и соответствующими синтаксическими структурами.

Материал словарной статьи⁵ складывается из двух частей — грамматической и семантической, т. е. в первой части регулярно указывается на

⁴ Одной из интереснейших работ, посвященных проблемам контекста, до сих пор остается работа: E. Coseriu, Determinacion y entorno, «Romanistisches Jahrbuch», VII, 1955—1956.

⁵ Словарь Катца и Фодора подвергнут весьма убедительной критике в работах U. Weinreich, Explorations in semantic theory, «Current trends in linguistics»

принадлежность слова к определенному лексико-семантическому классу и содержится характеристика наиболее естественной для него морфосинтаксической функции (grammatical markers); во второй — основная единица синтаксического анализа — показатель (marker), представляющей собой развитие и уточнение категорий традиционной грамматики — становится единицей семантического анализа. Значение слова разлагается (is decomposed, atomized) на семантические показатели (semantic markers) и «различители» (distinguishers). Предполагается, что наиболее удобной для пользования является такая подача, в которой вся указанная информация представлялась бы в виде таблицы-дерева. Например:



В предлагаемой схеме без скобок дается грамматический показатель, в круглых скобках указывается семантический показатель, а в квадратных — различитель. Разница между семантическим показателем и различителем отражает, по теории авторов, различие, которое существует между той частью значения лексической единицы, которая является регулярной, систематической для языка, и той частью, которая таковой не является. Иными словами, семантические показатели это те элементы, при посредстве которых теоретически выражаются регулярные, систематические для данного языка семантические отношения. Они отражают систематические семантические отношения между данным словом и другими единицами словаря. Различители же это те идиосинкратические, собственные лишь данному значению, остатки смысла, которые его характеризуют в том случае, когда его семантические показатели совпадают с семантическими показателями другого значения той же словарной единицы. Изменение в системе семантических показателей будет иметь серьезные последствия для всей предлагаемой семантической теории, изменения же в различителях создадут лишь иные связи между какой-либо одной единицей и ее синонимами.

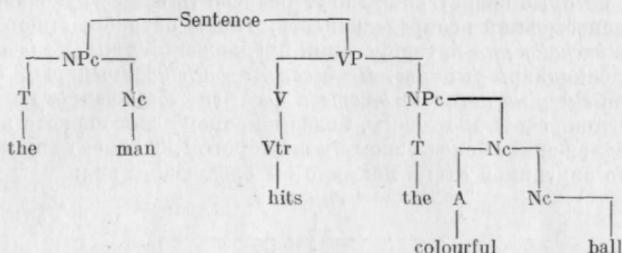
Такая громоздкая деревообразная словарная статья может быть заменена «линейной». Тогда слово *bachelor* предстает в следующем виде:

1. *bachelor* → noun → (human) → (male) → [who has never married]
2. *bachelor* → noun → (human) → (male) → (young) → [knight serving under the standard of another knight]
3. *bachelor* → noun → (human) → [who has the first or lowest academic degree]
4. *bachelor* → noun → (animal) → (male) → (young) → [fur seal when without a mate during the breeding time]⁶.

3, ed. by Th. A. Sebeok. The Hague — Paris, 1966 и D. Bolinger, *The atomization of meaning*, «Readings in the psychology of language», ed. by L. A. Jakobovits and M. S. Miron, New Jersey, 1967.

⁶ Следует обратить внимание на весьма интересные критические замечания Д. Болинджера (см. указ. соч.) по вопросу о предлагаемой схеме значений слова *bachelor*. Болинджер справедливо указывает на непоследовательность формализации значений, на излительный дуализм (показатели и различители) и предлагает основанную на теоретических предположениях Катца и Фодора более полную с точки зрения семантических компонентов и более четкую схему значений данного слова.

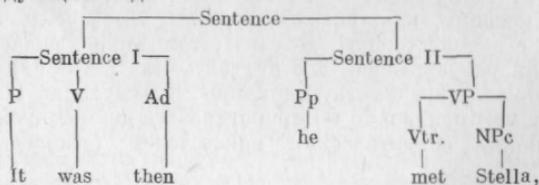
Чтобы не создалось впечатления, что экзemplификация ограничивается искусственными, надуманными предложениями, покажем, как описанная выше методика применяется Катцем и Фодором к следующему естественному и, вместе с тем, семантически сложному предложению *The man hits the colourful ball*, которое имеет следующий вид:



При помощи словаря и правил, амальгамируя все возможные дорожки, они вполне убедительно доказывают, что исследуемое предложение является семантически приемлемым и имеет четыре значения, связанные с многозначностью слов *ball* и *colourful*.

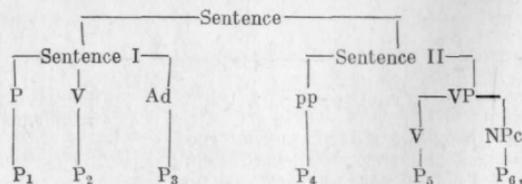
Попробуем применить этот способ описания к отрывку из рассказа С. Моза «Gigolo and Gigolette», состоящему из шести простых предложений: «It was then he met Stella (1). It was at Evian (2). The season was disastrous (3). She was a swimming instructress (4). She was Australian and a beautiful diver (5). She gave exhibitions every morning and afternoon (6)».

I. Согласно предписываемому методу, первый шаг состоит в том, чтобы установить структуру исследуемого предложения. Начинаем с первого. Оно имеет следующий вид:



где P означает местоимение, Pp — личное местоимение, V — глагол, VP — глагольную фразу, Ad — наречие и NPc — имя собственное.

Применяя инструкцию относительно дорожек, получаем:



где P₁ P₂ P₃ и т. д. обозначают соответствующие дорожки.

II. Следующий шаг состоит в том, чтобы амальгамировать каждый набор дорожек и соотнести полученную «амальгаму» с доминирующим показателем⁹.

⁹ Для экономии места переходим на линейную подачу материала.

а) Амальгамируем P_5 и P_6 :

$P_5 - 1) met \rightarrow verb \rightarrow (action) \rightarrow (instancy^{10}) \rightarrow [coming\ face\ to\ face]$
 $2) met \rightarrow verb \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [coming\ into\ contact]$
 $P_6 - stella \rightarrow proper \rightarrow noun \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$

Амальгама P_5 и P_6 дает P_7 :

- 1) $met + Stella \rightarrow VP \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ face\ to\ face] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$
 2) $met + Stella \rightarrow VP \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ into\ contact] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$

б) Амальгамация P_4 : $he \rightarrow PP \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) (male)$ и P_7 (см. выше) дает P_8 :

- 1) $he + met + Stella \rightarrow sentence\ II \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (male) \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ face\ to\ face] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$
 2) $he + met + Stella \rightarrow sentence\ II \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (male) \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ into\ contact] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$

Следовательно, Sentence II имеет два толкования (is two ways ambiguous).

в) Далее амальгамируем P_2 и P_3 :

$P_2: was \rightarrow verb \rightarrow (existence) \rightarrow [past]$
 $P_3: 1) then \rightarrow adverb \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [future]$
 $2) then \rightarrow adverb \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [past]$

Поскольку P_2 налагает ограничение (selection restriction), обуславливающее прошедшее время, то амальгама P_2 и P_3 , т.е. P_9 имеет лишь один вариант: $was + then \rightarrow AdP \rightarrow (existence) \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [past]$.

г) В результате амальгамации P_1 : $it \rightarrow P \rightarrow (neuter) \rightarrow (inanimate)$ и P_9 (см. выше) получаем P_{10} :

$it + was + then \rightarrow Sentence\ I \rightarrow (neuter) \rightarrow (inanimate) \rightarrow (existence) \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [past]$.

д) Последний шаг заключается в амальгамации двух получившихся предложений, Sentence I и Sentence II. Получаем P_{11} :

- 1) $it + was + then + he + met + stella \rightarrow sentence \rightarrow (neuter) \rightarrow (inanimate) \rightarrow (existence) \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [past] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \leftarrow (male) \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ face\ to\ face] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$
 2) $it + was + then + he + met + stella \rightarrow sentence \rightarrow (neuter) \rightarrow (inanimate) \rightarrow (existence) \rightarrow (indefinite\ time) \rightarrow [past] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (male) \rightarrow (action) \rightarrow (instancy) \rightarrow [come\ into\ contact] \rightarrow (physical\ object) \rightarrow (human) \rightarrow (female)$.

Таким образом устанавливается, что первое предложение выбранного отрезка не однозначно: оно имеет два толкования.

Подвергнув подобному анализу весь отрывок, мы установили, что 2, 4 и 5-е предложения однозначны, 3-е предложение, вследствие многозначности слов *season* (три значения) и *disastrous* (два значения) имеет шесть толкований, а 6-е предложение (см. слово *exhibition*) имеет два значения.

Из приведенного анализа ясно, что рассмотренная методика имеет целью чисто лингвистическое изучение семантики предложения per se. Однако, несмотря на большое значение, придаваемое анализу именно предложения, текста, Катц и Фодор, в конечном счете, обращаются к семантике слова, на основе которой и выводится семантика предложения.

¹⁰ Семантический показатель (instancy) означает однократность действия.

Далее, несмотря на претензию на «чисто формальный» характер анализа, семантические показатели, предлагаемые вместо обычных, принятых в лексикографии, дефиниций, способные якобы при применении особых операционалистических приемов указать правильное решение, фактически определяются в большинстве случаев на основе обращения к внелингвистической реальности; ср., например, такие показатели, как (абстрактное) / (конкретное), (человек) / (животное), (мужской пол) / (женский пол), (молодой) / (старый).

Если, таким образом, оказывается, что никакой семантический анализ, включая анализ предложений, невозможен без детального раскрытия значений отдельных слов, а это в свою очередь невозможно без обращения к экстралингвистической реальности, то становится совершенно ясным, что вопрос о природе семантических показателей остается центральным и требует скорейшего разрешения.

Как известно, вопрос о природе семантических показателей наиболее серьезно и последовательно ставится в настоящее время теми учеными, которые видят основную свою задачу в обнаружении некоторых универсальных законов содержательной таксономии. В связи с этим большой интерес представляют работы советских текстологов, направленные на поиски рациональной семантики, в частности, весьма ценные исследования Ю. Д. Апресяна, И. А. Мельчука и А. К. Жолковского¹¹.

Ю. Д. Апресян, создавая свою генеративную семасиологию, исходит из того бесспорного факта, что всяким различиям и сходствам в синтаксическом поведении языковых элементов, как правило, соответствуют их семантические различия и сходства¹², т. е. что всякое значение в какой-то мере обусловлено синтаксическими факторами, и видит предмет современной семантики в исследовании значения предикатного выражения. Работы Ю. Д. Апресяна по моделированию речевой деятельности человека, складывающейся в ее лингвистическом аспекте, по существу, из способности человека понимать и производить предложения, основываются также на том, «что существует некий не данный нам в прямом наблюдении с е м а н т и ч е с к и й я з ы к, или „язык мысли“»¹³, обладающий некоторым «словарем» (элементарные смыслы, как например, *множество, часть, целое, субъект, действие, каузировать* и т. д.) и синтаксисом в виде деревьев зависимостей, что «позволяет описывать семантику как синтаксис со всеми вытекающими отсюда преимуществами в отношении экономности и простоты представления семантических фактов и процессов»¹⁴ и что «производство осмысленного предложения можно представить как перевод с семантического языка на естественный, а понимание предложения — как перевод с естественного языка на семантический»¹⁵. Таким образом, одной из главных задач современной лингвистики объявляется создание

¹¹ См., например: Ю. Д. Апресян, *Идеи и методы современной структурной лингвистики*, М., 1966; е г о ж е, *Экспериментальное исследование семантики русского глагола*, М., 1967; И. А. Мельчук, *К построению действующей модели языка*, в кн. «Проблемы языкознания», М., 1967; А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, *О семантическом синтезе*, «Проблемы кибернетики», 19, 1967; И. А. Мельчук, *Об одном классе фразеологических сочетаний (описание лексической сочетаемости с помощью семантических параметров)*, Тула, 1968; А. К. Жолковский, И. А. Мельчук, *О системе семантического синтеза*. I—II, «Научно-техническая информация», 1966, 11, 1967, 2; И. А. Мельчук, *К вопросу о «внешних» различительных элементах: семантические параметры и описание лексической сочетаемости*, в кн.: «To Honor Roman Jakobson. Essays on the occasion of his seventieth birthday», II, The Hague — Paris, 1967.

¹² См.: Ю. Д. Апресян, *Экспериментальное исследование...*, стр. 23 и сл.

¹³ Ю. Д. Апресян, *Идеи и методы...*, стр. 253.

¹⁴ Ю. Д. Апресян, *Экспериментальное исследование...*, стр. 14.

¹⁵ Ю. Д. Апресян, *Идеи и методы...*, стр. 253.

формального семантического языка, с помощью которого можно было бы переходить от текста на естественном языке к его значению и строить «осмысленные», имеющие заданные значения, тексты на естественном языке. В своем дистрибутивно-трансформационном описании семантики русского глагола, предлагаемом в качестве средства объективного поиска семантических дифференциальных признаков, автор устанавливает такие семантические показатели слов (глаголов), как тождество (или сходство) и различие значений¹⁶.

Несколько иной характер носят открытые и описанные А. К. Жолковским и И. А. Мельчуком универсалии содержательной таксономии — лексические, или семантические, функции (элементарные смыслы), такие, как Labor (обработка), Caus (каузация), Liqu (ликвидация) и т. д., которые объединяют весьма разнообразные лексические единицы, обладающие, однако, тем общим качеством, что они являются комбинаторно обусловленными вариантами одного и того же значения в «языке мысли». Так, например, Magn — обозначение для смысла «очень», «большой» (высокая степень) — объединяет *крепко, сладко, как младенец, мертвым сном, сном праведника* (сочетания со словом *спать*), *большой, близкий, интимный, закадычный, хороший* (сочетания со словом *друг*), *хорошо, до зубов (вооруженный)* и т. д. Несущественными оказываются также различия между значениями глаголов *носить, вести, совершать, быть (в), нести, падать (в)* и т. д. — Oreg₁ — так как они вытекают из различий сочетающихся с ними существительных: *одежда, борьба, покушение, отчаяние (ярость, бешенство), потери, обморок*, а сами глаголы имеют одно и то же значение (или, чаще, синтаксическую роль): «Oreg₁ — это глагол, дополнением которого является название некоторой ситуации, а подлежащим название субъекта этой ситуации».

Мы хотели бы обратить внимание на следующее: определение того, какие предикатные выражения обозначают идентичные или сходные явления действительности, а какие — различные, значение какой лексической функции реализует в определенном сочетании то или другое слово, не снимает вопроса о том, какие именно явления реальной действительности обозначаются теми или иными словами и выражениями. Следовательно, занимающий в современной семантике столь большое место вопрос о выработке таких концептов, которые в виде обобщенных сем (семантических показателей) были бы пригодны для описания значения отдельных слов, не может считаться решенным. Как видно из изложенного, такие семы оказываются неадекватными поставленной задаче, так как они не могут по определению раскрыты и описаны самого главного, а именно индивидуальной семантики слова, а как раз это последнее и должно явиться основным предметом собственно семантического анализа.

Текстоцентристы не принимают во внимание также и стилистической или намеренной неоднозначности, свойственной речевой деятельности человека. Теоретически рассуждая, и можно было бы предположить, что все семантические показатели могут быть сведены к некоторому конечному числу. Однако до сих пор никому не удалось предложить полный инвентарь семантических показателей хотя бы даже для одного языка¹⁷. Описанные же способы представления семантического компонента смо-

¹⁶ Попытка проверить на английском материале метод, предложенный Ю. Д. Апресяном, дала следующие результаты: из 100 глаголов, подвергнутых анализу, в 17 различие значений не получило формального выражения, а в 7 обнаружено различие ядерных структур при идентичности значений.

¹⁷ В работе Катца и Фодора, например, достоверность предлагаемой ими теории и соответствующей методики семантических определений доказывается на весьма ограниченном количестве примеров.

гут претендовать на качества универсальности лишь тогда, когда такой детально разработанный инвентарь будет проверен семантическим анализом различных языков; причем не следует забывать, что при подобном сопоставительном семантико-синтаксическом исследовании языков требуется самым тщательным образом учитывать прагматический план.

Таким образом, можно сказать, что поскольку семантические показатели — категория «индуцируемая», то до тех пор, пока не будут проанализированы (разложены на компоненты) все словарные единицы хотя бы одного языка и полученные результаты не будут проверены на других языках, трудно сказать что-либо определенное об общем количестве семантических показателей и их универсальности. Универсальность семантических показателей теоретически допустима, но только потому, что эти показатели черпаются из экстралингвистической действительности, которая является, с некоторыми оговорками и ограничениями, находящимися выражение в национальных таксономиях, одинаковой для всех языков.

Основным общим направлением современной семасиологии, как и вообще современной формальной лингвистики, является поиск объективных методов обнаружения истины, т. е. создание таких исследовательских процедур, которые позволили бы, наконец, поставить изучение внутренней стороны языка на вполне надежную научную основу.

Как можно видеть из изложенного выше, ни один исследователь не может пройти мимо того факта, что язык существует только в речи и через речь и никаких других форм существования не знает¹⁸. Следовательно, лексика, или словарный состав языка, как его часть должна извлекаться, как «металл из руды», из бесчисленных реальных произведений речи. Поэтому, казалось бы, методологически неправильно исходить из слов как исконно данных («в начале бе слово»).

Однако откуда же были взяты глобальные лексемы, каким образом были установлены их значения и на основе чего они были отделены друг от друга? Никто не сомневается, что контекст играет решающую роль в раскрытии значения слова. Так, например, мы знаем, что значения слова *сторона* обнаруживаются только потому, что существуют такие сочетания, как: 1) *с левой (правой, задней и т. п.) стороны, смотреть по сторонам* — «направление, а также пространство или местность, расположенные в каком-нибудь направлении от чего-либо»; 2) *дальняя (чужая) сторона* — «местность, страна»; 3) *в стороне от жизни (борьбы)* — «положение вне главных событий развития чего-либо»; 4) *лицевая (оборотная сторона)* — «одна из поверхностей, один из боков чего-либо»; 5) *сторона треугольника (квадрата)* — «(мат.) прямая линия, ограничивающая геометрическую фигуру» и т. д. Поэтому нет никакого сомнения в том, что объективность суждений не может быть достигнута без обращения к контексту употребления соответствующих единиц. С этой точки зрения, казалось бы, нет разницы между лексичесентрическим и текстоцентрическим подходами. Однако это не так. Разница есть и весьма существенная. То направление в науке, которое мы выше назвали текстоцентрическим, — это часть современного формального языкознания, пришедшего на смену языкознанию структуралистическому. В чистом виде текстоцентрический подход ограничивает понятие контекста теми отношениями, которые можно обнаружить чисто формальными средствами в печатном тексте. Таким образом оставляется без внимания экстралингвистический контекст, т. е. контекст «специфических таксономий данного говорящего коллектива».

¹⁸ См.: А. И. Смирницкий, Объективность существования языка, М., 1954.

К ДИСКУССИИ О СЛАВЯНСКОМ АКАНЬЕ *

Я. РИГЛЕР

' ОБЩЕСЛАВЯНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АКАНЬЯ

Под таким названием в издательстве Болгарской Академии наук (София) в 1968 г. вышла книга четырех авторов — В. Георгиева, В. Журавлева, Ф. Филина, С. Стойкова. В книге освещаются проблемы происхождения аканья, древности этого явления, т. е. вопросы, которые в последние годы стали весьма актуальными. После того как В. Георгиев с необычайной страстностью начал отстаивать точку зрения, по которой современное аканье в славянских языках не является инновацией, а представляет собой прямое продолжение праславянского краткого *a*, в обсуждении этого вопроса приняли участие уже многие лингвисты. Взгляды их во многом различны, и даже авторы новой книги не едины в интерпретации этого явления. Книга представляет собой своего рода сборник; она состоит из четырех глав, написанных разными авторами независимо друг от друга, которые хотя и касаются одной и той же проблемы, рассматривают ее в различных аспектах. Редактор книги — В. Георгиев. По всей вероятности, книга была задумана с целью подтвердить гипотезу об архаичности и праславянском происхождении аканья, ибо противоположные мнения не получили в ней отражения. Так, в четвертой главе «Аканье в болгарском языке» С. Стойков, который в своих предшествующих работах защищал вторичность, неисконность аканья, здесь ограничивается изложением одних лишь фактов, упоминая о своей трактовке всего лишь в нескольких строках (со ссылкой на работу, где этот вопрос рассматривается). С другой стороны, в первой главе «Праславянский вокализм и проблема аканья», принадлежащей В. Георгиеву, решительно отвергается «традиционная концепция». Однако В. Георгиев не предлагает новых аргументов, а повторяет доводы и утверждения, известные из его прежних статей. Единственное, в чем можно видеть новизну его теперешней позиции, и в то же время его самая существенная ошибка — это привлечение словенского материала для доказательства исконности аканья. В прежних статьях В. Георгиева словенский язык вовсе не принимался во внимание. Исключение составляет его полемика со мной на страницах журнала «Български език», где он даже допустил в виде крайней возможности особое происхождение словенского аканья, отличное от русского и болгарского, однако подробное рассмотрение этих вопросов было оставлено

* В нашем журнале в 1963—1965 гг. была начата дискуссия по проблеме русского, словенского и болгарского (родопского) аканья и его отношения к праславянскому вокализму, в которой приняли участие В. И. Георгиев (1963, 2), В. Г. Руделев (там же), П. С. Кузнецов (1964, 1), В. В. Колесов (1964, 4), Я. Риглер (1964, 5), В. И. Лыткин (1965, 4), Г. А. Хабургаев (1965, 6). В 1968 г. в Болгарии вышел сборник статей В. И. Георгиева, В. К. Журавлева, Ф. П. Филина, С. И. Стойкова под общим заглавием «Общеславянское значение проблемы аканья» (изд. БАН, София, 1968), где обсуждаются в основном те же проблемы, что и на страницах нашего журнала. «Вопросы языкознания» печатают отклики на эту книгу двух крупных славистов — Я. Риглера и П. Ивича, продолжая тем самым дискуссию и одновременно подводя итог ее первому этапу. — *Ред.*

до другого раза¹. В данной книге В. Георгиев решил привлечь и словенское аканье для обоснования своей гипотезы, считая, что «словенский язык сохранил в этом отношении ценнейшие сведения о праславянском вокализме» (стр. 29). Наряду со словенским, здесь дополнительно учтены данные сербскохорватского (чакавского), а также кашубского и полабского, однако этот материал, особенно кашубский и полабский, не дает сколько-нибудь ценных аргументов в пользу его концепции.

Концепцию В. Георгиева можно свести к двум основным положениям. Первое — это утверждение, что в праславянском не было *o*, а лишь краткий *a*. Второе — что современное аканье во всех славянских языках, которым оно известно, прямо продолжает праславянское состояние с кратким *a*. В. Георгиев не разграничивает этих положений, считая, что второе утверждение логически вытекает из первого. На самом же деле для того, кто отвергает второе положение, вовсе не обязательно отрицать первое. В. Георгиев интересуется прежде всего начальной и конечной фазой развития и слишком мало внимания уделяет промежуточным этапам, между тем в языке нередко после некоторого промежуточного этапа наступает состояние, идентичное исходному. Можно было бы привести немало примеров такого рода из словенских диалектов: развитие предлогов и приставок *na*, *za*, *nad* в части диалектов доленской группы², судьба *u* в некоторых словенских говорах³, вторичная словенская палатализация веллярных⁴ и т. п., не говоря уже о процессах дифтонгизации и затем новой монофтонгизации в системе словенского вокализма. И, наконец, если следовать В. Георгиеву, для современного *o* в таких словах, как *gost*, праслав. **gāstb*, и.е. *ghostis*, нужно признать такое развитие: $o > a > o$. Почему бы тогда в словенском акающем толминском диалекте для слов типа *atrak*, праслав. *atrakъ* не допустить существования промежуточной ступени *otrok*, т. е. развития $a > o > a$? Если даже нельзя доказать этого, то теоретически такая возможность все же существует. Далее, вовсе не нужно стремиться, как это в последнее время делает В. Георгиев, к тому, чтобы аканье в разных славянских языках дать непременно одно и то же объяснение. Одинаковые результаты могут быть достигнуты разными путями и в разное время. Здесь тоже можно было бы привести немало примеров: юго-западный и литературный словенский *a*, восходящий к долгим *ъ* и *ѣ*, не имеет никакой связи с подобным рефлексом в словенском подъянском диалекте, где он возник позднее через промежуточную ступень *e*⁵; словенский красскокоменский *u* из *o* под циркумфлексом произошел совершенно иным путем, чем тот же рефлекс в доленских диалектах⁶; *o* в словенском диалекте. *tošč*⁷ и русском *tošč* не только генетически различны, но отделены друг от друга в своем возникновении периодом почти в пятьсот лет, и т. д. Поэтому если бы даже русское аканье действи-

¹ Я. Риглер, Към статията на Вл. Георгиев «Нови теории и традиционални заблуди», БЕ, XVI, 6, 1966; Вл. Георгиев, По въпроса за «акането» в словенски, там же.

² См.: J. Rigler, Glasoslovni razvoj predlogov in predpon *na*, *za*, *nad*, «Slavistična revija», XII, 1959—1960.

³ См.: J. Rigler, Notranjski nepoudarjeni *y* in razvoj *u*-ja v slovenščini, «Slavistična revija», XI, 3—4, 1958.

⁴ См.: J. Rigler, Južnonotranjski govori, Ljubljana, 1963, стр. 145—152, 205, 211.

⁵ F. Ramovš, Historična gramatika slovenskega jezika, VII — Dialekti, Ljubljana, 1935, стр. 20; J. Rigler, Pregled osnovnih razvojnih etap v slovenskem vokalizmu, «Slavistična revija», XIV, 1963, стр. 68.

⁶ См.: J. Rigler, O suponiranem slovenskem brkinskem dialektu, «Rocznik slawistyczny», XXI, 1960, стр. 30.

⁷ Например, в церклянском диалекте; так же в южной части нотранской диалектной области (это явление здесь локально ограничено).

тельно было реликтом праславянского состояния, из этого не вытекает, что и словенское аканье должно иметь такое же происхождение. Разумеется, несмотря на это, можно и даже должно рассматривать это явление в общеславянском плане⁸ и при этом использовать выводы, основанные на фактах каждого отдельного языка, для оценки альтернативных возможностей других языков. Однако доказательства одного языка могут служить только дополнительным критерием при выборе того или иного решения в родственном языке, если, конечно, этот второй язык не позволяет сформулировать более непосредственных выводов. И поскольку для решения вопроса о происхождении русского аканья нет достаточного числа убедительных аргументов, в то время как вторичность словенского аканья в полной мере доказуема, то именно факты словенского языка могут быть использованы при объяснении аканья в других языках.

В связи с трактовкой словенского материала надо заметить следующее. Уже самый подход В. Георгиева к словенскому языку несостоятелен, поскольку словенский язык рассматривается как язык, о котором нам почти ничего неизвестно, причем существующие мнения и исследования им практически не принимаются во внимание. Однако словенский язык, по крайней мере в области фонологии, не столь уж слабо изучен, как это часто подчеркивает В. Георгиев. Нельзя без серьезных оснований отвергать как ошибочные мнения, выдвигавшиеся в науке прежде и подкрепленные фактами, и априорно строить рассуждения, исходя из нескольких изолированных примеров, не углубляясь в материал, не устанавливая взаимных отношений между отдельными явлениями и не учитывая структуры диалекта в целом.

В. Георгиев разделяет словенские диалекты на несколько групп: «а) окающие диалекты (= литературный язык)», «б) диалекты с полным аканьем» (стр. 29), «в) диалекты с аканьем в безударном положении (= русское аканье)» (стр. 30), «г) диалекты с предупредным аканьем (как в некоторых болгарских родопских родоках)», «д) смешанное аканье в результате взаимодействия окающих и окающих диалектов» (стр. 31).

Первая группа, включающая окающие диалекты, не вызывает возражений. О второй группе В. Георгиев говорит следующее: «Словенские диалекты с полным аканьем сохранили праславянское положение в отношении гласного *ǫ*: в этом плане словенский язык сохраняет и с к л ю ч и т е л ь н о ц е н н у ю с т а р и н н у ю ч е р т у. Эта важная особенность словенского языка, которая до сих пор игнорировалась как какое-то вторичное явление, нуждается в подробном исследовании» (стр. 29). Неясно, имеют ли диалекты этой группы аканье во всех ударных слогах. Приведенная формулировка допускает такое понимание. Об этом же как будто свидетельствует и предложенная группировка диалектов, поскольку в ней выделены диалекты третьей группы, для которых характерно аканье не только в безударной позиции, но и под ударением в тех случаях, когда гласный получил ударение вторично, в результате позднейшего словенского передвижения ударения. Но диалектов, где было бы представлено полное аканье во всех ударных слогах, в словенском нет вовсе, и даже элементарное знакомство со словенским вокализмом убеждает в том, что позднепраславянский (или прасловенский) *o* под нисходящим ударением (тип *nos*) на всей словенской территории очень рано подвергся удлинению, причем это был именно *o* (в противном случае он совпал бы с *a*), который затем по диалектам дал различные дифтонги — *io* или *oi*, впоследствии либо сохранившиеся, либо претерпевшие дальнейшие изменения. Подобная же судьба постигла позднее (не

⁸ Такие описания тоже имели место. Назовем хотя бы обширное исследование: А. Шахматов, Русское и словенское аканье, РФВ, XLVIII, 3—4, 1902.

во всех диалектах одновременно; в некоторых граничащих с сербскохорватскими диалектами еще и сейчас этого нет) новоаккутовый *o* в неконечном слоге (тип *poša*), который точно так же должен был удлиниться уже в качестве *o*, ибо в противном случае он совпал бы с сократившимся к тому времени староаккутовым *a* (тип *paša*). Эти два *o* нигде не подверглись аканью. Поэтому очевидно, что во вторую группу входят диалекты не с полным аканьем во всех ударных слогах, а только с аканьем в кратких ударных слогах. В качестве иллюстрации аканья этого типа В. Георгиев приводит слова: *âkna* (окно), *atrâk* (отрок), *dnâ* (дно). Удивляет, почему говоря об этих диалектах с «исключительно ценной старинной чертой», В. Георгиев не указывает, какие именно диалекты он имеет в виду. Дело в том, что мне не известен ни один словенский диалект, который имел бы все три слова в такой форме, как они даны В. Георгиевым. Изменение конечного *-o* в *-a* позволяет отнести эти примеры к северо-западной части ровтарских диалектов; судя по отсутствию протетического *w* перед начальным *o* (госп. *a*) и по тому, что ударение в слове *otrok* падает на второй слог, эту локализацию можно сузить до окрестностей (в радиусе нескольких километров) Толмина, — но тогда должна быть форма *âkna*, а не *âkna*. Форма *âkna* на словенской территории возможна в районе Вузеницы, но там не может быть формы *atrâk*, а должно быть *âtrek*; кроме того, там в большинстве случаев (см. ниже по поводу третьей группы) вообще отсутствует аканье в безударных слогах (в форме *âkna* конечный *a* морфологического происхождения, ибо там это существительное принадлежит к женскому роду). Таким образом, остается неясным, какие диалекты причисляет В. Георгиев ко второй группе. И все-таки в словенских диалектах района Церкно и Толмина представлено аканье в наиболее полном виде. Ср. в церклянском диалекте: *nâga* (*noga*), *wâtrak* (*otrok*), *kapîta* (*kapito*), но *nâs* (*nos*), *kîdô ža* (*koža*). На материале церклянского диалекта уже было объяснено, почему в нем аканье распространилось также и на слоги со вторичным, перенесенным ударением (тип *noga*)⁹. Дело в том, что в результате сокращения этимологических *ī* и *ū* в *i* и *u* в фонологической системе появились краткоты также и в неконечных ударных слогах (то же самое произошло также в диалектах окрестностей Толмина). Если же система стремилась к сохранению количественных противопоставлений, то *o* под перенесенным ударением в *noga* не мог удлиниться и должен был закономерно перейти в *a*, так как в словенском языке аканье связано прежде всего с краткостью и реже с ударением, в отличие от языков, утративших количественные различия (русский, болгарский). На то, что аканье распространилось также и на краткие ударные слоги, и что в данном случае оно не связано с аналогичным обобщением алломорфов и позднейшими акцентными сдвигами, указывают примеры с новоаккутовым *o*, ср. в церклянском диалекте *krâp*, Gen. *krûopa*; *škâf*, Gen. *škûofa*, где *a* в Nom. никак нельзя отнести за счет аналогии с другими падежными формами, как можно было бы допустить в случае *kâš*, Gen. *kâše*¹⁰, из возможного более древнего * *kòš*, *kàša*, которое в свою очередь восходило бы к **kòš*, *kašà*.

В третьей группе рассматриваются диалекты с аканьем в безударной позиции, однако подчеркивается, что «при этом надо иметь в виду первоначальное (праславянское) положение (место) ударения, а не вторичную метатонию, которая произошла в истории словенского языка» (стр. 30). Очевидно, однако, что на самом деле речь идет здесь не о праславянском месте ударения, ибо этому противоречат такие примеры среди

⁹ См.: Я. Р и г л е р, К проблеме аканья, ВЯ, 1964, 5.

¹⁰ Окончание *-e* в Gen. возникло в результате переласовки в позиции после палатального согласного.

приведенных там, как *govórt'* (govoriti), *pôlak*, а о месте ударения, характерном для определенного исторического периода в развитии словенского языка — периода, непосредственно предшествовавшего возникновению аканья.

Из диалектов, принадлежащих к этой группе, в первую очередь рассматривается черновршский диалект¹¹. На первый взгляд кажется, что здесь все в порядке. Несколько примеров, противоречащих гипотезе о праславянском происхождении аканья, как будто убедительно могут быть объяснены морфологической аналогией и влиянием литературного языка или соседних акающих диалектов. Поскольку диалекту не был свойствен безударный *o*, то при переходе из ударного слога в безударный, а также в заимствованных словах *o* заменялся на *u* (*γuri* под влиянием *γôru*, *γôrt'*; *kulian* и т. п. под влиянием литературного языка или соседних диалектов). Однако как верно заметил Ф. Рамовш¹², *u* появляется (хотя и не всегда) исключительно после велярных согласных; это подтверждает и Томинец в своей книге. На это обстоятельство указывается и в статье «К проблеме аканья», причем там даже указаны некоторые подобные случаи в болгарских диалектах¹³. В. Георгиев не принял это во внимание, хотя в книге Томинца легко можно было найти по словарю множество примеров с *u* после велярных, между тем как случаи с *o* в других позициях единичны. Если даже не задаваться вопросом, почему нейтрализовались только те алломорфы, которые содержат велярный согласный, то во всяком случае резонно спросить, почему носители этого диалекта заимствовали из литературного языка или соседних диалектов только такие слова, в которых *o* следовал за велярным согласным. Трудно предполагать здесь случайность. Утверждение Рамовша (и Томинца), что это *u* < *o* после велярных в некоторых случаях редуцируется в *a*¹⁴, не дает удовлетворительного объяснения тех примеров, где отсутствует *u* после велярных, и по сути дела относит их за счет случайной редукции. Вероятно, В. Георгиев считал это достаточным для того, чтобы пренебречь фактами дистрибуции. На самом же деле здесь действует вполне определенная закономерность (речь идет о правиле, по которому *o* после велярного не переходит в *u*, если за ним следует губной)¹⁵. Кроме того, прежде чем признать некоторое слово заимствованием из литературного языка или соседнего диалекта, необходимо учесть несколько факторов, в том числе и семантику слова. В качестве примеров слов, которые якобы в черновршском диалекте заимствованы из литературного языка или из соседних диалектов, В. Георгиев приводит следующие: *urjanist* «органист», *γulida* «подойник», *kulian* «колено», *kurit* «корыто» (стр. 30). Возможно еще было бы отнести сюда слово «органист», употребительное в церковном обиходе (ср. другие такие слова в словенских диалектах — *večen*, *krščanski*¹⁶), но «колено», «корыто» принадлежат к наиболее употребительной повседневной лексике, и нет ни малейших оснований считать, что их могли заимствовать. Слово *golida* «подойник» (из романского *galleta*) относится к сельскохозяйственному, крестьянскому быту и в литературном языке очень мало употребительно. Не помогает здесь и ссылка на соседние диалекты, ибо большинство из них имеет аканье также и после велярных (церклянский,

¹¹ По материалам книги: I. Tominec, *Crnovrški dialekt*, Ljubljana, 1964.

¹² См.: F. Ramovš, *Historična grammatika*, VII, Ljubljana, 1935, стр. 93.

¹³ Я. Риглер, К проблеме аканья, стр. 44, примеч. 43.

¹⁴ Этот *a* несколько редуцирован, и потому Томинец пишет его с кружочком внизу (так же обозначает и В. Георгиев). Но поскольку в диалекте нет другого *a* в кратких слогах, то ради облегчения набора этот значок можно опустить.

¹⁵ Подробнее см.: J. Rigler, *Fonološka problematika slovenskega črnovrškega dialekta*, «Зборник за filologiju i lingvistiku», IX, Novi Sad, 1966.

¹⁶ См.: J. Rigler, *Začetki slovenskega knjižnega jezika*, Ljubljana, 1968, стр. 48, 137.

хорюльский, выпавский говор нотранского диалекта, жировский говор полянского диалекта). В то же время оказывается, что в словах, являющихся несомненными заимствованиями, в черновршском диалекте представлена *a*, а не *u*: *bambâš* (bombaž), *maštrânca* (monštranca), *matôr* (motor), *natâr* (notar), *afciâr* (oficir) и т. д. Обратим внимание и на то, что *u* < *o* после велярных можно встретить и в других областях Словении, например в некоторых говорах посавского и восточной части доленского диалекта. Могут ли в самых различных диалектах заимствоваться из литературного языка или соседних диалектов одни и те же слова, причем в большинстве случаев такие, которые еще с праславянской эпохи входят в основной словарный фонд и до наших дней распространены по всей славянской территории? Единственное, чем можно объяснить и после велярных, — это то, что черновршский диалект некогда имел *o* и в безударных слогах.

Далее в этой же третьей группе приводятся «примеры из других словенских диалектов» (стр. 31), причем снова не указывается, о каких именно диалектах идет речь. Сначала даются примеры с *a* в ударной позиции в предпоследнем слоге: *nâga* (nôga), *âsa* (ôsa), *kâsa* (kôsa), *êlâvek* (êlôvek), *ârex* (oreh) и т. д. Эти примеры могут относиться только к северному Похорью (Вузеница — Рибница на Похорье — Ловренц), поскольку только этим говорам свойствен долгий *â* на месте *o* под перенесенным ударением. Кроме того, в приведенных словах есть и другие фонетические признаки — сохранение взрывного *g*, редуцированный *ê*, отсутствие протетических звуков, — совпадающие с характерными особенностями этих говоров. В. Георгиев объясняет эти факты тем, что метатония произошла в них уже после того, как прекратился переход *a* в *o* под ударением. Однако это объяснение ничего не вскрывает, ибо в большинстве случаев в этих говорах вообще нет аканья в безударной позиции. Здесь говорят *nâga*, *êlâvek* и т. д., но *kulîasa*, *kurîta*, *uêîasa*, *spotêknt*, *kořîan*, *gospûat* (gospod), и только в редких случаях встречается *a*, причем прежде всего в таких примерах, где возможно воздействие ударной позиции, например, *êlavîeka* наряду с *êlovîeka* под влиянием *êlâvek*, *kavôč* (kovač) под влиянием *kâvat* (kovati) и т. п. Очевидно, что *a* произошел из *o* под ударением и именно в долгих слогах, так как под кратким ударением сохраняется *o*, например, *krôp*, *kôlo* (в результате поздней метатонии из *kolô*).

Далее В. Георгиев приводит примеры с аканьем в ударных кратких конечных слогах: *kâš*, *bâr* (bob), *kâjn* (konj) и т. д. (стр. 31). Эти примеры относятся уже к какому-то иному диалекту, но локализовать их оказывается труднее, так как возможностей здесь гораздо больше. Судя по рефлексу *jn* на месте *ñ*, их можно было бы причислить либо к церклянскому диалекту, либо северо-западной части доленского диалекта (Рашица — Иг — Боровница — Ракитна). Поясняя эти примеры, В. Георгиев указывает: «следовательно, здесь наличествует вторичная метатония» (стр. 31). Но если речь идет о церклянско-толминских примерах, где *â* представлено также и в форме Gen. — *kâše*, *kâjne*, то к ним применимо то, что уже было сказано по поводу диалектов второй группы. Если же это примеры из северо-западной части доленского диалекта, то нужно еще учесть, что в Gen. они имеют *o* (в говоре Ига *ô*, в Рашице *uô*, в Ракитне *uô*), и их невозможно объяснить «вторичной метатонией». Такое объяснение было бы приемлемо только в том случае, если бы в Gen. ударение было перенесено на первый слог раньше, чем в Nom. с конечного *ъ/ь*. Очевидно, В. Георгиев тоже так не считает — ведь при объяснении *rab/rob* (стр. 20) он предполагает очень раннее возникновение нового акута в подобных примерах (до метатезы плавных). Точно так же нельзя объяснить этого какой бы то ни было аналогией. И если бы *kaš*, *kašâ* действительно дало *kôš*, *kašâ*, то никакая мена гласных не привела бы к современ-

ному *kāš*, *kōša*. Такого рода примеры В. Георгиев пытался объяснить через аналогию¹⁷, однако, без конкретных разъяснений. Здесь можно указать еще на то, что для словенского ссылка на аналогию при объяснении подобных примеров невозможна без учета различного качества *o* (resp. его рефлексов) под разными ударениями (например, в диалекте Ига *û* из *o* под циркумфлексом, *ub* из новоаккутового *o* в неконечном слоге, *ô* из *o* под перенесенным ударением).

В последних двух группах примеры тоже не локализованы. Не станем останавливаться на них подробнее, потому что речь идет здесь о тех же самых проблемах, что и при разборе предшествующих групп. Говоря о четвертой группе, т. е. о диалектах с предупредным аканьем, следует напомнить, что этот тип аканья для словенского не характерен; более того, он представляет собой настолько исключительное явление, что мне не известен ни один говор, где бы он был последовательно отражен (единственный приведенный пример *atríkon* весьма сомнителен, так как, по-моему, нет такого говора, где были бы представлены все особенности, которые позволяет предполагать эта форма). Гораздо более многочисленны словенские говоры с заударным аканьем, особенно в закрытых слогах. В пятой группе приведены примеры *atràk*, *kulû*, относящиеся, вероятно, к северо-восточным доленским говорам и несомненно указывающие на то же позиционное изменение *o* в *u* после велярных, что и в черновршском диалекте, а не на смешение диалектов, как думает В. Георгиев (стр. 31).

Говоря о словенском аканье, помимо рассмотренных фактов, следует учитывать также и географию этого явления. Его ареал не соответствует ареалам явлений, возводимых к древнейшему времени, тогда как с изоглоссами весьма поздних явлений (например, рефлексy гласных под перенесенным ударением и т. п.) границы аканья совпадают очень часто.

На материале словенского языка невозможно опровергнуть тезис о вторичности аканья. Все аргументы, которые приводились мной в статье «К проблеме аканья», остаются в силе и сейчас. Что касается исторических свидетельств (материалы памятников), то доводы В. Георгиева тоже не убедительны. В статье «По вопросу за „акането“ в словенски» он говорит о том, что основоположник словенского литературного языка Трубар, который был родом из области, где сейчас господствует аканье, мог писать *o* под влиянием сербскохорватского языка или других словенских окружающих диалектов. Между тем хорошо известно, что Трубар был первым из словенцев, который решительно воспротивился опытам создания общего южнославянского литературного языка и какому бы то ни было сближению с сербскохорватским. Он создал литературный язык на основе люблянского говора, внося в него некоторые черты своего родного диалекта¹⁸. Поздние люблянские тексты и современное диалектное окружение Любляны тоже обнаруживают аканье: южная часть полное, а северная — заударное.

Остановимся коротко на том, как представлены в книге сербскохорватские чакавские говоры (стр. 27—28). Здесь В. Георгиев приводит исторические данные латинских документов в Далмации. Однако этот материал можно использовать для доказательства выдвинутой им гипотезы только при игнорировании характерных для того времени количественных отношений гласных в сербскохорватском¹⁹. Что касается современных диалектов,

¹⁷ В л. Георгиев, По вопросу за «акането» в словенски.

¹⁸ Этот вопрос подробно рассматривается в работе: J. R i g l e r, *Začetki slovenskega knjižnega jezika*, Ljubljana, 1968.

¹⁹ См.: Я. Р и г л е р, указ. соч., стр. 37. Очевидно, что далматинские субституции в записях нельзя сравнивать с финскими, греческими, албанскими и т. д. заимствованиями из праславянского (как это делает В. Георгиев в статье «Нови теории и традиционали заблуди», БЕ, 4—5, 1965, стр. 298—299), ведь между ними разрыв в несколько веков.

то В. Георгиев приводит некоторый материал из говора Водицы в Истрии. Но по сути дела это скорее штокавский диалект, нежели чакавский²⁰. Ведь носители этого диалекта переселились в Истрию сравнительно поздно — по всей вероятности, к концу XV или началу XVI в.²¹ При более тщательном изучении работы Рибарича, посвященной этому диалекту, становится ясно, что и в предударной позиции там, как правило, звучит *o*, между тем как *a* исключительно редок, что не вполне согласуется с описанием В. Георгиева. Довольно много и таких случаев, где *o* в предударной позиции не может быть перенесено из ударных слогов. Однако у Рибарича дается слишком мало примеров, чтобы можно было окончательно судить о характере аканья в Водицах и о том, что представляют собой эти единичные примеры с *a*. Во всяком случае, когда речь идет о характере аканья в Водицах, нельзя забывать о том, что в каких-нибудь десяти км к северу от Водиц начинаются словенские говоры с полным аканьем в кратких слогах (исключение составляет этимологический *-o* в исходе слова, который дал *-i*). А к северо-западу расположен словенский деканский говор, которому свойственно достаточно развитое спорадическое аканье. Отдельные примеры аканья можно найти также и в других ближайших словенских говорах и в соседних чакавских говорах (к югу от Водиц)²². Отдельные примеры такого рода встречаются и в некоторых словенских говорах, вообще не знающих аканья²³. Часто это аканье диссимилиативного происхождения, причем диссимилиация наблюдается в системе вокализма и в других случаях²⁴, так что диссимилиативное аканье в этом плане не представляет собой никакого исключения. Совершенно иное отношение вызывает вторая часть концепции В. Георгиева, которая говорит о существовании праславянского краткого *a*. Вероятно, праславянский действительно имел только краткий *a*. Сейчас это мнение можно считать почти общепризнанным и достаточно хорошо аргументированным. Переход краткого *a* в *o* завершился, можно думать, только в конце праславянского периода, уже после миграции славян²⁵, — по всей вероятности, повсюду и уже непременно по всей территории словенского языка.

Интересны попытки В. Георгиева объяснить примеры типа *rab/rob*: праславянский краткий *a* в начальном ударном слоге под акутом удлинился в \bar{a} во всех славянских языках, а в южнославянских, чешском и словацком также и под циркумфлексом в группах *tart/talt*. Может быть, в ряде случаев это объяснение было бы можно принять и для тех слов, которые В. Георгиев не рассматривал²⁶. Возможно, привлечение нового материала еще

²⁰ Рибарич (см.: J. R i b a r i ć, *Razmještaj južnoslovenskih dijalekata na poluostrvu Istri*, «Српски дијалектолошки зборник», IX, Београд, 1940, стр. 50, 128) считает этот диалект штокавско-чакавским; Малецкий же в одном месте (M. M a ľ e s k i, *Gwary Ciciów a ich pochodzenie*, «Lud słowiański», I, 1929, стр. 16 A) — чакавско-штокавским, в другом («Przegląd słowiańskich gwar Istriji», Kraków, 1930, стр. 102) — штокавским.

²¹ См.: J. R i b a r i ć, указ. соч., стр. 54—56; M. M a ľ e s k i, *Gwary Ciciów...*, стр. 6 и сл., 46—48.

²² См.: P. I v i ć, *Prilozi poznavanju dijalekatske slike zapadne Hrvatske*, «Годишњак филозофског факултета у Новом Саду», VI, 1961, стр. 203. Отметим, что в говорах к юго-западу от Водиц, которые являются смешанными чакавско-словенскими, *a* нередко выступает на месте праславянского носового *o*, в частности под ударением. Ср.: P. I v i ć, указ. соч., стр. 198; е го же, *Paralele poljskome «pochylenie» na srpskohrvatskom terenu*, «Studia linguistica in honorem Thaddei Lehr-Splawinski», 1963, стр. 230 и сл.

²³ См.: J. R i g l e r, *Južnotranjski govori*, стр. 98—99.

²⁴ См.: J. R i g l e r, *Vokalna disimilacija v slovenščini*, «Slavistična revija», VIII, 3—4, 1955.

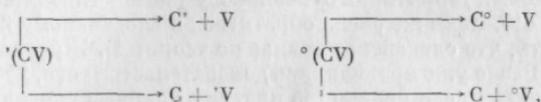
²⁵ См.: J. R i g l e r, *Pripombe k Pregledu*, «Slavistična revija», XV, 1967, стр. 129.

²⁶ Ср.: J. R i g l e r, *Dvojni refleksi kratkega ä v slovenščini*, «Зборник за филологију и лингвистику», XI, Нови Сад, 1968, стр. 249—255, особенно 253.

больше утвердит эту мысль, но пока она все же остается шаткой, поскольку во многом опирается на аналогию и не учитывает всех сложностей, связанных с акцентом.

Во второй главе «О праславянском кратком \check{a}/δ и аканье» В. Журавлев пытается путем фонологического анализа установить характер праславянского a . По его мнению, это был звук в фонологическом отношении нелабиализованный; если он и имел признак лабиализации, то этот признак был иррелевантным.

Тезис В. Георгиева о непосредственной связи праславянского \check{a} и современного аканья не кажется В. Журавлеву невероятным, хотя аргументы сторонников позднего происхождения аканья весьма убедительны и хотя на некоторых территориях аканье, бесспорно, позднее явление. На генезис аканья — оканья, по В. Журавлеву, мог повлиять факт лабиовеляризации согласных перед гласными заднего ряда, отмеченный еще А. Шахматовым. Согласные могли получить лабиализацию в результате делабиализации гласных ($\check{y} > \check{y}'$; $\check{o} > \check{a}$), когда признак бемольности был передан предшествующему согласному, а затем, с возникновением группофона, он стал относиться к группофоне в целом. Однако этот признак был иррелевантным, поскольку группофонемы противопоставлялись по признаку диезности. В эпоху распада группофоном признак диезности или бемольности должны были принять на себя либо гласные, либо согласные:



т. е. в окающих говорах гласные, а в акающих — согласные. Со временем согласные лабиовеляризацию утратили.

Теоретически возможность перехода лабиализации к согласному вполне допустима, и эта возможность была использована и мной при анализе фонологического развития черновршского диалекта²⁷. Таким путем удалось с большей долей вероятности объяснить некоторые процессы в черновршском диалекте, не поддающиеся иным трактовкам, — различные ступени редукции u в разных позициях, различные позиционные изменения o , различные рефлексы u и o в условиях третьего передвижения ударения в разных позициях и т. д. Однако теория В. Журавлева вызывает и некоторые сомнения. Вначале признак бемольности должны были бы иметь только те группофонемы, которые произошли из $C + \check{o}$ и $C + \check{y}$, между тем как группофонемы из $C + \check{a}$ не должны были его иметь. Значит, впоследствии признак бемольности, будучи иррелевантным, должен был распространиться на все недиезные группофонемы, в том числе и на прежние $C + \check{a}$. Однако иррелевантные признаки, как правило, имеют тенденцию к утрате, а отнюдь не к экспансии. Только в качестве иллюстрации можно было бы отметить тот факт, что в словенском черновршском диалекте лабиальность согласных осталась в первоначальных пределах (причем только у велярных согласных, где она фонетически легче всего реализуется), т. е. она не распространилась на позиции перед прежним a . Если бы после распада группофоном признак бемольности принял на себя гласный, то в виде лабиализации это могло проявиться только у кратких гласных, в акающих диалектах — даже только у ударных кратких. В. Журавлев пытается объяснить различие между ударными и безударными позициями

²⁷ J. R i g l e r, Fonološka problematika slovenskega črnovrškega dialektā, «Зборник за filologiju i lingvistiku», IX, Нови Сад, 1966.

более ранним распадом группофонема в ударенных слогах. По мнению В. Журавлева, бемольность могла сохраниться как признак группофонема и затем согласных вплоть до XIV в. Поэтому ему кажется понятным отсутствие исторических письменных свидетельств с *a*: носитель языка из диалекта, в говоре которого был безударный *o* (например, писец Смоленской грамоты), не мог передать нелабиализованный гласный после лабиализованного согласного иначе, чем через лабиализованный гласный, т. е. *o*. Очевидно, что в таком случае следует уже приблизительно с VIII в. предполагать на месте праславянского *ǎ* звук \wedge специфического качества, ибо если бы в это время он еще звучал как *ǎ* и не изменил своего качества, то в древнейших заимствованиях из праславянского в другие языки на месте праславянского *ǎ* в группофонема с признаком бемольности следовало бы ожидать *o*, как и у писца Смоленской грамоты. Кажется более правдоподобным предположение, что признак лабиальности полностью утратился и что лабиализация праславянского *a* не является прямым следствием делабиализации и.е. *o*. Кроме того, субституция иноязычного *ǒ* праславянским *ǔ* (*ʷ*), а не *ǎ* более понятна в случае, если праслав. *ǎ* в группофонема не имел признака бемольности (лабиовеларности).

Неизвестно, куда В. Журавлев причисляет словенский язык. Когда он говорит о безусловно позднем появлении аканья на некоторых территориях, то прямо указывает лишь, что «в некоторых местах русской и белорусской языковых территорий буквально у нас на глазах аканье сменяет оканье» (стр. 41). Если же снова обратиться к словенскому языку, то необходимо сказать, что словенское аканье по теории В. Журавлева объяснить невозможно. Выше уже приводились доказательства того, что в словенских диалектах аканье представлено и в кратких ударных слогах. Следовательно, в словенском признак бемольности не мог быть перенесен на краткий праслав. *a* под ударением. А если на краткие он не был перенесен (*kāš*), то в типе *nāsŷ* (по В. Журавлеву, в акающих говорах *n°ās°ŷ*) *ǎ* должен был сначала удлиниться и только затем получить лабиализацию, что невозможно, поскольку того же самого нужно было бы ожидать тогда если не у всех долгих недвезных гласных, то по крайней мере у удлинненного *ʷ* (который, однако, дал *a*, а не *o*).

Укажем еще на то, что черновршские примеры типа *kupit* (*korito*) и т. п. тоже невозможно объяснить лабиализацией, которая восходила бы к праславянскому признаку бемольности и была бы перенесена с согласного, как это произошло, по В. Журавлеву, в окающих говорах, но с тем отличием, что здесь перенос лабиализации должен был осуществляться значительно позднее и только после веларных согласных. Дело в том, что это явление (перенос лабиализации) не распространилось ни на праславянский *ʷ*, ни на *ā*, которое в безударном положении к этому времени уже бесспорно сократилось. Точно так же трактуются праславянский безударный *u*, который к этому времени также сократился. Таким образом, в черновршском диалекте *u* после веларных выступает только на месте гласных с явно выраженной лабиализацией. И, наконец, при оценке теории В. Журавлева с точки зрения словенского языка остаются в силе и те замечания, касающиеся территориального распространения аканья и исторических фактов, которые были высказаны при разборе главы, написанной В. Георгиевым, и в статье «К проблеме аканья».

Третья глава «О происхождении и развитии восточнославянского аканья» написана Ф. Филиным. Прежде всего он прослеживает историю взглядов на аканье, излагая гипотезы А. Шахматова, Н. Трубецкого, Р. Якобсона, Р. Аванесова, Н. Ван-Вейка, А. Ваяна, В. Георгиева, а также кратко некоторые другие взгляды. Хотя в целом он старается объективно представить состояние проблемы, все же как сторонник гипотезы об исконности

аканья он часто критически оценивает мнения ученых, придерживающихся противоположной трактовки этого явления, и в то же время к сторонникам искренности аканья относится менее критично и ссылается иногда на их аргументацию против вторичности аканья (например, на доводы В. Георгиева), не подвергая ее необходимой критической проверке.

Далее Ф. Филин рассматривает данные древнерусской письменности и отмечает, что отсутствие письменных памятников на акающих территориях не позволяет определенно судить о том, каким там было произношение до конца XIII в. Отдельные, изолированные примеры с *a*, относящиеся к XI—XIII в., недостаточны для вывода об отражении аканья в древнерусской письменности, однако, по его мнению, сейчас уже нельзя утверждать, что до XIV в. аканье не оставило никаких следов. В последующие века аканье получает более широкое отражение в письменности, так же как и яканье, иканье, еканье. Ф. Филин останавливается также на вопросе об отражении новых редуцированных гласных в древнерусской письменности в связи со смешением букв *o*, *e* с *ъ*, *ь*. Он считает это признаком редукции и расценивает его как существенный момент для решения вопроса о происхождении аканья. Некоторые другие авторы тоже усматривали в смешении этих букв проявление редукции или (как В. Георгиев²⁸) отражение аканья. Представляется, однако, что значение этого явления сильно преувеличивается и что в нем отражается не более как чисто графическая мена, объясняемая как гиперкорректность недостаточно грамотных писцов, причем она могла даже стать традицией отдельных школ. Очевидно, богатый материал современных диалектов, который все же в рассматриваемой книге представлен не очень полно, даже при очень тщательном изучении не может оказать существенной помощи в решении проблемы генезиса аканья, ибо факты современных диалектов в большинстве случаев можно интерпретировать разными способами. Таким образом, остается недоказанным принимаемое Ф. Филиным время возникновения аканья — VIII—IX вв., когда якобы праславянский *a*^o стал постепенно либо утрачивать, либо, наоборот, усиливать свою лабализацию.

В четвертой главе «Аканье в болгарском языке» Ст. Стойков рассматривает это явление, имеющее в болгарском довольно ограниченное распространение и представленное в разной степени в говорах всего лишь около 30 сел и мелких поселений в Родопях. На этой небольшой территории известно много типов аканья, которые Ст. Стойков достаточно подробно описывает в этой главе. Однако не исключено, что монографические описания отдельных говоров помогут вскрыть и другие интересные факты, существенные для решения вопроса о древности аканья²⁹. Наибольшее число примеров охватывает «двустороннее частичнополное аканье» говора Триграда (стр. 94 и сл.). В этом типе аканье последовательно представлено в предупредных слогах, а в заударных в большинстве случаев наблюдаются варианты с *a/o* и только некоторые суффиксы и окончания имеют исключительно *o*. Эти случаи С. Стойков справедливо объясняет стремлением языка избежать омонимии, поскольку те же формы с *a* имеют уже иное грамматическое значение, и в этом проявляется морфологическая обусловленность аканья в определенных позициях. Представляется, что это обстоятельство легче объяснить, исходя из вторичности, неискренности аканья. Болгарское аканье отличается от русского, полагает С. Стойков, тем, что в рус-

²⁸ В. Георгиев, Аканье и иканье в истории русского языка, «Проблемы современной филологии», М., 1963, стр. 74—77.

²⁹ Ср., например, некоторые частные фактические отличия в книге: С. т. К а б а с а н о в, Един старинен български говор, София, 1963; см. также замечание, относящееся к тому же говору, в статье: Я. Р и г л е р, К проблеме аканья, стр. 44, примеч. 43.

ском это живое фонетическое явление, тогда как в болгарском оно может быть признано таковым лишь отчасти в предупредных слогах, в остальных случаях это историческое фонетическое явление, сейчас уже лексикализованное, а в ряде суффиксов и окончаний к тому же и факультативное.

Поскольку русский и болгарский языки не сохранили количественных различий гласных под ударением, поскольку в истории этих языков мы не можем в той же мере, что в словенском, установить строго определенной относительной хронологии различных акцентных сдвигов и количественных изменений гласных в зависимости от типов ударения и интонации, то очевидно, что эти языки располагают меньшими возможностями по сравнению со словенским для реконструкции исторических фонологических систем и не позволяют сформулировать достаточно убедительных доказательств, касающихся происхождения аканья.

Но если одни языки лишены таких возможностей, то необходимо максимально использовать сохранившиеся факты других языков. Поскольку словенский язык как раз и предоставляет материал для реконструкции исторической фонологической системы, то мы не должны, вслед за В. Георгиевым, объяснять словенское аканье, пользуясь тем же методом, что и по отношению к языкам, которые в силу иного исторического развития не сохранили таких фактов. Очевидно, что словенский язык никак не позволяет принять тезис об исконности аканья. Если бы словенский не противоречил этой гипотезе, то ее правдоподобность значительно возросла бы. Поэтому для В. Георгиева столь важно было включить словенские аканьющие говоры в круг тех периферийных славянских говоров, которые якобы сохранили древнее праславянское состояние. Однако приходится признать, что это ему не удалось.

Перевела со словенского С. М. Толстая

П. ИВИЧ

О ДРЕВНОСТИ АКАНЬЯ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

В сборнике «Общеславянское значение проблемы аканья» помещены четыре статьи, связанные общей темой, отчасти и общей концепцией, но различающиеся по подходу и научным принципам их авторов. Авторы сборника — два болгарских и два советских языковеда, с той и с другой стороны — по одному компаративисту и одному диалектологу. Один из авторов-компаративистов придерживается преимущественно традиционных методов этой дисциплины, используя данные этимологии и письменных памятников, другой автор — фонолог. Очевидно, эта разносторонность только повышает интерес и ценность книги, тем более что взгляды четырех авторов по существу не едины.

В. Георгиев (глава первая: «Праславянский вокализм и проблема аканья», стр. 7—38) развивает два тезиса, которые известны по его прежним работам¹. Он полагает, что, во-первых, праславянский рефлекс и.-е. **ǣ* и **ǝ* был *ǣ*, а не *ǝ*, как это обычно принято считать, во-вторых, что аканье в русском и белорусском, словенских и болгарских диалектах и т. д. восходит к глубокой древности, т. е. что оно непосредственно продолжает праславянское состояние, когда славянское *o* еще всегда звучало как *ǣ*.

Свое первое положение В. Георгиев подкрепляет обширным материалом, прежде всего примерами с *a* на месте позднейшего *o* в славянских словах (главным образом, в ономастике), засвидетельствованных в древнейших текстах на других языках, преимущественно до IX в., а также в древних заимствованиях из славянского в финском, румынском, албанском, греческом и немецком. Подобным же образом могут быть истолкованы и случаи передачи иноязычного *ǣ* через *o* в древнейших заимствованиях в славянском, в то время как иноязычное *o* давало *ъ* или *y* герм. и. Весь этот материал, взятый в целом, достаточно убедительно показывает, что праславянский рефлекс и.-е. **ǣ* и **ǝ* действительно вначале был гораздо более открытым, чем *o* в соседних языках, — следовательно, это было *ǣ* или нечто близкое к *a*, например [ʌ], как считает В. К. Журавлев, или [a]. Это хорошо согласуется с тем фактом, что и рефлекс **ǣ* утратил лабиализацию (> *ъ*), — вполне логично, что и его более открытый коррелят в серии передних гласных не имел лабиализации. С другой стороны, и сам В. Георгиев подчеркивает, что еще до кирилло-мефодиевской эпохи звук *ǣ* перешел в *ǝ*. Это дает еще одно подтверждение положению, установленному в свое время пражскими фонологами, что славянский языковой мир даже спустя несколько веков после расселения славян в значительной мере сохранял языковое единство и переживал общие инновации вплоть до падения слабых редуцированных. Тем самым в какой-то мере исключается однозначный ответ на вопрос, поставленный В. Георгиевым: утверждение, что пра-

¹ В библиографии на стр. 38 приводится пятнадцать работ В. Георгиева, в той или иной степени касающихся этой проблемы.

славянский рефлекс **ǣ* и **ǫ* звучал как *ǣ*, не совсем точно. Точнее было бы сказать, что вначале он был *ǣ* (или подобный ему), однако еще до распада праславянской языковой общности он подвергся изменению в *o* (геогр. *o*), причем это был один из самых поздних общеславянских фонетических процессов (хотя и не последний — после этого процесса произошло, в частности, общеславянское сокращение долгот в известных позициях). И, наконец, верно мнение, что в целом вопрос об *a* или *o* не имеет фонологического значения, так как для противопоставления рефлексов **ǣ* = **ǫ* и **ǣ* = **ǫ* было релевантно только количество (это мнение было высказано, например, Г. Бирнбаумом, с которым полемизирует В. Георгиев, а также В. К. Журавлевым в следующей главе этой книги).

Что касается второго тезиса В. Георгиева, то примеры аканья в разных славянских языках, которые он приводит в большом количестве, не доказывают древности этого явления, поскольку все они взяты из относительно поздних источников. Ни в одном славянском языке нет фактов, подтверждающих глубокую древность аканья. Более того, всюду, где оно отмечено, аканье выступает наряду с другими явлениями, преобразующими систему безударного вокализма (а в словенском и полабском вокализм в целом). Заявляя, что русское, белорусское и т. д. аканье «не что иное, как сохранение, праславянского краткого *a* в безударном положении», автор должен по крайней мере ответить на вопрос, почему эта позиция обнаруживает столь сильный консерватизм, в то время как известно, что безударные гласные в принципе больше подвержены изменениям, чем ударные.

В рассуждениях В. Георгиева есть также и некоторые частные моменты, с которыми нельзя согласиться. Трудно принять методическую предпосылку, согласно которой «гипотезу можно считать удовлетворительной, если она объясняет по крайней мере 51 % фактов» (стр. 13); определение процента не свободно от произвола, и не только потому, что «факты» иногда трудно поддаются подсчету. Гораздо более существенно то, что гипотеза, которая объясняет только часть фактов, не должна быть в непримиримом противоречии ни с одним из оставшихся фактов. Утверждая (стр. 17), что такие примеры, как ст.-слав. *градъ*, показывают, что праславянский гласный звучал как *ǣ* (а не *o*), В. Георгиев упускает из виду, что здесь *a* является рефлексом *ǣ*, как об этом свидетельствуют акцентологические показатели, например в сербскохорватском, а также параллели типа ст.-слав. *бръгъ*, где также представлен рефлекс долгого гласного. Ссылка на sporadические написания сербскохорватских имен типа *Dabra* (= *Dobr-*) в латинских письменных памятниках XIII в. несостоятельна, поскольку из других источников (прежде всего из многочисленных текстов на самом сербскохорватском языке, написанных как кириллицей, так и глаголицей) достоверно известно, что в то время в сербскохорватском на месте ст.-слав. *o* было только *o*. Более того, обращение к этим текстам указывает на недостаточную надежность данных латинских грамот, которые для В. Георгиева служат одним из главных доказательств. К факторам, которые могли повлиять на появление *a* на месте *o* в этих случаях, относятся: частые случаи неточной фонетической передачи в таких текстах, возможность значительно более закрытого, чем в сербскохорватском, *ǫ* в романском говоре писца, и, наконец, то обстоятельство, что отдельные славянские имена могли еще в более ранние эпохи приобрести латинизированную форму с *a*, которая по традиции могла писаться в латинских документах.

На стр. 28 (в пункте в) дается объяснение отсутствию аканья в сербскохорватских диалектных формах типа *verovati* (причина якобы в соседстве *o* с *v*), хотя тут же (в пункте а) сказано, что сербскохорватское аканье выступает только «в предударном положении», что и исключает возможность ака-

нья в таких примерах, как *věrovati*². В словенском языке автор находит диалекты с «полным аканьем», хотя приводимый им материал показывает, что аканье в этих диалектах охватывает только случаи с кратким о. Приходится заметить, наконец, что риторические приемы, которыми он пользуется («новые теории и традиционные заблуждения» и т. п.), не всегда достаточно корректны.

Однако все это не умаляет двух главных достоинств трудов В. Георгиева о праславянском вокализме и аканье. Он с большей энергией и настойчивостью, чем это делалось до сих пор, поставил эти проблемы на повестку дня, способствуя их всестороннему пересмотру; кроме того, он доказал, по всей вероятности окончательно, верность гипотезы о том, что на раннем этапе звуковое качество праславянского рефлекса **ǫ* и **ǫ̃* приближалось к [a] и что только к VIII в. оно претерпело изменение в сторону [o].

В. К. Журавлев (глава вторая: «О праславянском кратком *ǫ̃/ǫ* и аканье», стр. 39—50) фонологически обосновывает отсутствие /*ǫ̃*/ на раннем этапе праславянского: для системы вокализма был релевантен признак дизности (т. е. различающий передние и непередние гласные), а не бемольности (лабиализации). В. К. Журавлев дает фонологическую мотивировку и позднейшего изменения *ǫ̃* > *ǫ*, справедливо связывая его с монофтонгизацией **ai*, **ei* > *i*, в связи с которой лабиализация стала релевантным признаком для вокализма (благодаря оппозиции /*u*/ ~ /*y*/).

В отношении древности аканья В. К. Журавлев отмечает: «бесспорно, доказательства сторонников позднего происхождения аканья весьма убедительны», однако тут же добавляет, что все же существует «принципиальная возможность говоров, искони акающих». Его фонологические доводы можно свести к трем основным моментам:

1. Еще до перехода *ǫ̃* > *o* в некоторых славянских диалектах могла произойти нейтрализация количественного противопоставления *ā* ~ *ǣ* «в безударном положении».

2. Аллофоны [Λ] и [ʔ], которые выступают наряду с [a] «в качестве результата неразличения безударных» *a* и *o* в акающих говорах, могут быть объяснены тем, что сначала совпали **ǣ*=[Λ] и **ā* и только позднее с ними отождествились и ʔ. В процессе дальнейшего развития в разных говорах возникла различная мотивация распределения этих аллофонов.

3. Признак лабиализации развился только в группах типа **Cǣ*, в группе же типа **Cā* этого признака не было. Поэтому в акающих говорах после совпадения гласных в безударном положении сохранилось различие между согласными в отношении лабиализации (*C^oΛ* ~ *CΛ*). Это различие средневековые писцы передавали написанием *o* на месте *°Λ* до тех пор, пока

² В отношении предударного аканья сербскохорватский материал (прежде всего в говорах Истрии, в меньшей степени в зоне Хорватского Приморья и Лики) до сих пор недостаточно изучен. Обращает на себя внимание то, что это явление sporadическое: аканье выступает не последовательно в определенных фонетических условиях, а оно ограничено известным числом лексических примеров, и это заставляет думать, что речь идет о реликтах более древнего состояния. С другой стороны, почти всегда в тех же самых говорах обнаруживаются примеры с переходом *o* > *u* или *u* > *o* в предударной позиции, что не позволяет говорить об исконном характере этого явления. Так, например, диссимилиативное укание в словах типа *itās* исключает предположение, что в форме *itās* никогда не было *o*. В. Георгиев ошибочно объясняет эти примеры аналогическим воздействием таких форм, как *osa*, упуская из виду, что такое ударение здесь вторично (< *osa*; так, впрочем, и сейчас во многих говорах, о которых идет речь). Появление примеров с *ǫ̃* > *ǫ* в предударном положении указывает на более широкую тенденцию, отличную от явления, которое предполагает Георгиев. И, наконец, показательно, что это явление охватило говоры самого различного происхождения, которые оказались соседними только в результате миграции, откуда следует, что это явление возникло уже после миграции (т. е. не ранее XVI в.) или хотя бы что одни говоры восприняли его из других.

существовала такая лабиализация. Этим объясняется отсутствие отражений аканья в памятниках письменности до XIV в.

Все эти весьма любопытные соображения подтверждают репутацию В. К. Журавлева как фONOлога, способного к остроумным и оригинальным построениям. Однако его рассуждения не лишены некоторых слабых мест и иногда даже внутренних противоречий.

1. Предположение об очень ранней нейтрализации противопоставления $\bar{a} \sim \bar{a}$ в безударной позиции нельзя считать невозможным, однако оно очень мало вероятно. Известно, что в позднем праславянском происходили сокращения гласных в некоторых позициях, но им подвергались все гласные во всех говорах, причем после того, как различия между долгими и краткими гласными преобразовались в качественные различия. Такие соотношения, как $b\bar{a}b\bar{a}$ (им. ед.) $\sim b\bar{a}b\bar{a}$ (зв. ед.), в результате сокращения $\bar{a} > \bar{a}$ были трансфонологизированы в $b\bar{a}b\bar{a} \sim b\bar{a}b\bar{a}$. В. К. Журавлев же предполагает, что до изменения $\bar{a} > o$, следовательно и до этого сокращения гласных, нейтрализация осуществлялась только в одной паре гласных ($\bar{a} \sim \bar{a}$) и только в некоторых диалектах. Это означало бы, что более узкий в территориальном и структурном отношении процесс предшествовал подобному же, но более общему в обоих отношениях процессу. В действительности соотношение такого рода процессов в истории языка бывает, как правило, обратным. К тому же и само возникновение безударности как фактора, обуславливающего сокращение гласных, оказалось бы для рассматриваемой эпохи явлением исключительным.

2. У нас нет доказательств, что в акающих говорах сначала произошло совпадение $*\bar{a}$ и $*\bar{a}$ в безударном положении и только позднее \bar{z} также совпал с рефлексом этих гласных. Но это и не требуется для объяснения звукового качества $[\wedge]$ resp. $[\bar{z}]$, характерного для рефлекса этих трех безударных гласных во многих акающих говорах. Независимо от того, какой была последовательность отождествления, развитие всех трех отмеченных качеств было бы в равной мере естественно. Объяснения появлению $[\wedge]$ и $[\bar{z}]$ вместо $[a]$ следует искать прежде всего в особенностях системы безударного вокализма в целом. Одной из характерных черт редукции гласных является тенденция к более «центральной» артикуляции. Этим объясняется, в частности, то, что во многих языках безударное a менее открытое, чем ударное. Но в данном случае действовал и тот фактор, что в системе гласных в этой позиции не было гласного среднего подъема, так что для самого открытого гласного оставался простор для повышения подъема:

i	u	i	u
	или		
^		z	

3. С фонетической точки зрения не убедительно, что в акающих говорах до XIV в. рефлекс безударного $*\bar{a}$ мог отличаться от рефлекса безударного $*\bar{a}$ благодаря лабиализованности предшествующего согласного. Это кажется особенно невероятным в случае лабиальных согласных. Но даже если и допустить такую возможность, то остается еще то обстоятельство, что лабиализация согласного перед $*\bar{a}$ могла бы развиваться только в том случае, если бы это $*\bar{a}$ предварительно перешло в o , а это прямо противоречит основному тезису самого автора. Другими словами, утверждения В. К. Журавлева, приведенные в пунктах 1 и 3, взаимно исключаются.

Выскажем еще несколько замечаний по поводу более частных моментов в рассуждениях В. К. Журавлева.

На стр. 43 он пишет: «Вслед за В. Георгиевым можно признать, что вначале он (т. е. процесс $\bar{a} > o$. — П. И.) шел под ударением...» — и тем самым как бы попадает в порочный круг. В. Георгиев основывает

свой вывод исключительно на фактах аканья, а В. К. Журавлев стремится этим объяснить аканье. От фонолога такого склада, как В. К. Журавлев, можно было бы ожидать, что он найдет какую-то закономерность в том, что это изменение первоначально происходило только под ударением. Единственное, на что в связи с этим ссылается В. К. Журавлев, — это тот факт, что *o* под ударением в некоторых восточнославянских говорах дало *ǫ*; однако этому факту можно дать и другое объяснение³.

Соображения, касающиеся аканья в словенских говорах (стр. 42), не затрагивают существа явления. Главный фактор, определяющий так называемую вокалическую редукцию в словенском, — это наличие доминирующего кульминативного просодического фактора (т. е. такого, благодаря которому один слог в слове выделяется среди других слогов). В словенском языке роль такого кульминатора выполняет количество, поскольку долгота может характеризовать только один слог в слове. Поэтому краткие гласные редуцируются, т. е., если пользоваться фонологическими терминами, краткость является позицией меньшего различия. Во многих говорах даже и под кратким ударением отсутствует различие, например, между *a*, *i* и *u*. На фоне этих общих явлений для нас не может быть неожиданностью изменение $\delta > a$ или $\delta > a^\circ$ в отдельных говорах.

В. К. Журавлев (стр. 43) видит принципиальную разницу между оканьем и произношением безударного *o* как *ъ* (*szǫd*, но *travá*) в отдельных говорах на территории Новгородской и Калининской областей. Но с фонологической точки зрения эта ситуация все же эквивалентна оканью, различие касается только реализации безударного *o*, которое в данном случае приобретает более «центральную» артикуляцию, чему способствует отсутствие безударного *e* после твердых согласных:

<i>i</i>	<i>u</i>	→	<i>i</i>	<i>u</i>
<i>o</i>			<i>ъ</i>	
<i>a</i>			<i>a</i>	

Вводимое В. К. Журавлевым разграничение аканья и яканья, причисляемого им к процессам перегласовок, таких как $e > 'o$, $\varepsilon > 'a$, польск. и болг. $\acute{e} > 'a$ (стр. 46—48), оставляет открытым вопрос о том, почему яканье распространено исключительно на территории, совпадающей по существу с ареалом аканья. Очевидно, рациональнее искать общие генетические корни двух родственных явлений в тех структурных условиях, которые определяют характер восточнославянского вокализма.

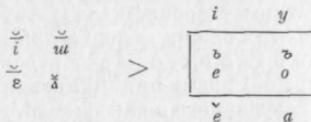
Анализ всей совокупности фактов, относящихся к фонетическому развитию позднего праславянского языка и к акающим славянским диалектам, показывает, сколь мало вероятно праславянское происхождение аканья.

Последняя фаза эволюции праславянского вокализма характеризовалась трансфонологизацией признаков количества в качественные признаки гласных, т. е. явлением, сходным с польским «*rochylenie*» и аналогичными процессами в сербскохорватских и словенских говорах⁴. Подоб-

³ Во французском тексте резюме (стр. 125) В. К. Журавлев не упоминает этого явления, а ссылается вместо этого на взятые у Ф. Рамовша примеры словенского закрытого рефлекса *o* под циркумфлексом, хотя в действительности речь идет о таком *o*, которое в восточнославянских диалектах не давало закрытого *ǫ* (и которое, согласно концепции и терминологии Р. Якобсона, принимаемой и Журавлевым, вообще не «ударное»). Впрочем резюме на французском и в других частях отличается от русского текста. К сожалению, из-за неточного перевода и опечаток резюме местами трудно читаемо (и сам русский текст не свободен от досадных опечаток, например, на стр. 41 в строке 20 напечатано *аканье* вместо *оканье*; стр. 44, строка 20 — *согласные* вместо *гласные*; стр. 46, строка 15 — *безударный* вместо *ударный*).

⁴ В сербскохорватском речь идет о двух диалектных типах в Истрии (окрестности Бузета и Рабца) и о кавказских говорах в долине реки Муры. В словенском языке такие говоры занимают значительные области Приморья и Штирии. Характерно,

ное развитие наблюдается в истории многих других языков; классическим примером может служить распад вокализма вульгарной латыни в разных романских языках с отождествлением $\ddot{i} = \bar{e}$, $\ddot{y} = \bar{o}$. В таких случаях долгие гласные чаще всего бывали более закрытыми, чем соответствующие краткие, например $\bar{o} > [o]$, $\bar{\delta} > [\delta]$. Примеры такого рода в изобилии представлены в самых различных языках. Однако среди широких гласных иногда наблюдается обратное соотношение, т. е. долгие оказываются более открытыми. Так, например, в венгерском или литературном нидерландском рефлекс \ddot{a} — более закрытый, чем рефлекс \bar{a} . В данном случае действует правило, согласно которому долгие гласные образуются в крайних участках вокалической артикуляторной зоны, а краткие смещаются внутрь этой зоны. Это соответствует тому факту, что крайние позиции вокалической зоны реализуются с помощью более напряженной артикуляции. Таким образом, схема следующая: долгота = напряженность = более периферийная (крайняя) артикуляция. Так шло развитие и в позднем праславянском⁵:



Ни в одном славянском диалекте нет надежных примеров, указывающих на то, что в какой-либо части праславянской территории хотя бы один из перечисленных выше гласных хотя бы в одной позиции избежал этого процесса. Предполагаемая нейтрализация противопоставления безударных $\bar{a} \sim \bar{\delta}$ была бы исключением, тем менее объяснимым, что, как правило, в разных языках наибольшую сопротивляемость количественному сокращению проявляет именно гласный a , а наименьшую — узкие гласные, тогда как в случае продления наблюдается обратное (и это опять-таки соответствует тому факту, что в большинстве языков широкие гласные *ceteris paribus* имеют большую длительность, чем узкие гласные). Не случайно, что именно i и u подвержены сокращению в голландском, выпадению в различных «слабых» позициях в японском, в словенских диалектах, в северных екавских говорах сербскохорватского языка и т. д., не говоря уже об общеславянском процессе $*i > \text{ь} > \text{ѣ} > \text{ъ} > \text{ѣ} > \text{ѡ}$. Не случайно также и то, что в литовском подвергается продлению краткое ударное a и e , а в чакавских говорах далматинских островов только a . Короче говоря, a — это гласный, от которого менее всего следует ожидать сокращения в тех условиях, когда остальные гласные его не испытывают.

Аканье известно только тем славянским языковым системам, для которых характерна доминирующая кульминативная просодическая структура. О словенских диалектах уже шла речь. В восточнославянском и болгарском действие экспираторного удара чаще всего приводит к тому, что в одном и том же говоре по существу складываются две системы вокализма, причем система ударного вокализма, выступающая в позиции максимального различия, обязательно оказывается богаче. В русском и белорусском параллельно с аканьем существует и яканье, а также другие

что все эти говоры распространены на западе южнославянской территории. В центральных и восточных частях этой территории утрата признака количества привела не к возникновению противопоставления по признаку качества, а к слиянию долгих гласных с соответствующими краткими ($\bar{a} = \text{а}$, $\bar{e} = \text{е}$ и т. д.).

⁵ В левой части схемы дана упрощенная фонетическая транскрипция, а в правой — представлены результаты изменений в транскрипции, принятой для славянских языков. Рефлексы кратких гласных заключены в рамку.

явления, например, «еаканье», «иканье», совпадение рефлекса безударного *a/o* с *ы* и т. д. Расхождение между инвентарем ударных и безударных гласных увеличивается также и за счет того, что *ê* и *ô* употребляются только под ударением. Во многих говорах болгарского языка шестичленной системе ударного вокализма *i, e, ъ, a, u, o* соответствует трехчленная система безударного вокализма *i, ъ, u*. В ряде говоров существуют и открытые *ê* и *ô*, которые в безударной позиции невозможны. Следовательно, в обеих языковых зонах отсутствие различения *a ~ o* является лишь одним из элементов, определяющих различие между системами безударного и ударного вокализма. При такой трактовке аканье оказывается вполне нормальным и типичным, а отнюдь не исключительным явлением. Отметим еще и то, что аканье и яканье в русском и белорусском упрощают асимметричную и весьма неустойчивую систему безударного вокализма как после твердых, так и после мягких согласных:

$$\begin{array}{c} i & u & & i & u & & i & u & & i & u \\ & o & > & a & & & e & > & a & & \\ & a & & & & & a & & & & \end{array}$$

Оба явления становятся еще более понятными, если принять во внимание широкий диапазон различий между аллофонами русских гласных даже под ударением. Здесь происходит сокращение необходимой дистанции между полями артикуляции отдельных гласных, и потому понятно, что в безударном положении она исчезает полностью.

Крайне существенно, что аканье как фонологическое явление не свойственно двум типам славянских языковых систем: языкам и диалектам некульминативной долготой (чешский, словацкий, сербскохорватский) и языкам, в которых просодические признаки не обладают различительной функцией на уровне фонологической структуры слова (польский, лужицкий, западномакедонский). В обоих случаях отсутствует фактор, который бы резко выделял один слог слова среди остальных, следовательно, нет и глубоких различий между позициями максимального и минимального различения.

Ф. П. Филин (глава третья: «О происхождении и развитии восточнославянского аканья», стр. 51—92) дает обширный, весьма содержательный обзор взглядов предшествующих ученых на проблему аканья, а затем обсуждает вопрос о следах аканья в древних текстах и о современном состоянии аканья в восточнославянских диалектах. Из приведенного материала очевидно два факта:

1. В памятниках письменности, относящихся к современному ареалу аканья и периоду до XIV в., безударное *o* никогда не передается через *a*.

2. В современных говорах нет ни одного явления, которое бы доказывало, что аканье древнее XIII—XIV вв.

Тем удивительные выводы, к которым приходит Ф. П. Филин. С одной стороны, он заявляет, что «проблеме аканья преждевременно считать окончательно решенной», а с другой стороны, утверждает: «остается предположить только одно: аканье перед разложением племенного строя занимало центральную полосу восточнославянской территории, от вятичей на востоке до дреговичей на западе» (стр. 92).

Свою уверенность в глубокой древности аканья Ф. П. Филин подкрепляет следующими аргументами:

1. Различия в распределении экспираторной силы слогов не соответствуют противопоставлению северновеликорусского и южновеликорусского наречий.

2. Аканье в своем происхождении не имеет ничего общего с редукцией неударяемых гласных. Редукция — это только сокращение гласных, сужение или изменение их в *ѣ* или *ь*. Нет доказательств, что такое произно-

шение предшествовало произношению *a* на месте безударного *o*. С другой стороны, явления такого рода (редукции) наблюдаются в разных восточнославянских говорах, и они отличны от аканья.

3. Несостоятельно мнение тех лингвистов, которые, будучи противниками ступени *ъ*, в то же время являются сторонниками позднего происхождения аканья. Они «также не объясняют механизм его возникновения и причин, его породивших» (стр. 87).

Что касается первого аргумента, то никак нельзя согласиться с тем, что распределение экспираторной силы слогов всегда было во всех диалектах таким же, как и теперь. Логично предположить, что и в этом отношении происходили какие-то сдвиги и колебания. Другие факторы также могли в различных районах способствовать или препятствовать процессу отождествления безударных *a* и *o*. Впрочем главное условие — свободное экспираторное ударение как единственная релевантная просодическая черта — присутствует на всей восточнославянской территории. Между тем Ф. П. Филин говорит: «почему происходило изменение *o*, *e* в *a*, *'a* только в части восточнославянских диалектов, когда экспираторное ударение охватило всю восточнославянскую область?» (стр. 87). За этим вопросом стоит основная нерешенная проблема языковой диахронии: почему в одних и тех же условиях (например, в разных частях территории одного языкового типа) происходят изменения в разных направлениях? Сейчас невозможно определить, какую роль в таких на первый взгляд произвольных дивергенциях играет случай и каково влияние других, сопутствующих языковых явлений, которые ускользают от нашего внимания. Во всяком случае, это явление носит общий характер: на территории любого языка можно найти множество примеров того, как в одних и тех же как будто бы условиях различные диалекты претерпевают различную эволюцию. Этот вопрос возникает и относительно трактовки аканья Ф. П. Филиным: если до VIII в. во всех восточнославянских племенах произносилось *a^o*, то почему в одних из них этот звук в безударном положении дал *a*, а в других — *o* ⁶²

Второй и третий аргументы Ф. П. Филина свидетельствуют о непонимании существа фонологической проблемы аканья. В этом случае не важно, что мы назовем редукцией и совпали ли безударные *o* и *a* в *ъ*, \wedge *a*, *a^o* или под. (хотя, очевидно, что все эти варианты могли относиться к разным диалектам или к разным позициям) — существенно то, была ли различительная сила безударного слога в восточнославянской системе вокализма равна силе ударного слога. Совершенно очевидно, что нет.

Предлагаемая Ф. П. Филиным датировка аканья VIII — IX вв., основанная на аргументе о переселении на север «окающих» племен словен и кривичей, остается лишенной надежной опоры в истории. Нет доказательств, что изоглоссы инноваций в тот период непременно совпадали с племенными границами; в то же время не исключено, что некоторые из значительно более поздних изоглосс могли случайно совпасть с прежними племенными границами — впрочем, в той мере, в какой вообще современные изоглоссы аканья соответствуют древним племенным границам. И наконец, если допустить глубокую древность аканья, то разве нельзя предположить и того, что его ареал первоначально был более узким, а затем расширился в результате миграции акающих племен.

⁶² В отношении праславянского рефлекса **ǫ*, **ǫ* мнение В. Георгиева, который настаивает на произношении *a*, и Ф. П. Филина, который отвергает *a*, предлагая *a^o*, не совпадают. Что касается В. К. Журавлева, то для него этот вопрос не имеет значения, поскольку это фонологически irrelevantно, но он вводит элемент различительной лабиализации предшествующего согласного (актуальной вилоть до XIV в.), о чем не упоминают В. Георгиев и Ф. П. Филин. Таким образом, все три концепции существенно различаются, так же как различаются и концепции сторонников позднего происхождения аканья.

Ф. П. Филину, таким образом, не удалось опровергнуть аргументы, которые выдвинули другие авторы, отрицающие глубокую древность аканья:

1. Почему в памятниках из акающих областей до XVI в. нет ни одного примера аканья (но есть достаточно примеров оканья)?

2. Почему в таких словах, как *кот*, *кота*, *коту*, имеется *о*, которое всегда было безударным (< **kotъ*), однако ни в одном акающем диалекте нет **kat*?

3. Откуда всегда и во всех диалектах в дериватах типа *бръик* выступает *о* (не **арлик*), если в *орѣл*, *орлѣ* начальный гласный всегда звучал как *а*?

4. Почему при аканье рефлекс праславянского *ъ* всегда и везде ведет себя так же, как **ѡ* иногда происхождения, если аканье, действительно, древнее перехода *ъ* > *о*?

5. Почему слог, который стал первым предупредным только в результате падения редуцированных, ведет себя при аканье точно так же, как и исконный первый предупредный слог, если аканье древнее падения слабых редуцированных?

Некоторые из этих явлений Ф. П. Филин объясняет (или приводит соответствующие объяснения В. Георгиева) действием вторичных факторов. По поводу первого пункта Ф. П. Филин ссылается на книжную традицию и на то, что писцы могли происходить из других областей⁷. В связи с третьим пунктом Ф. П. Филин допускает такую возможность, что производные типа *бръик* возникли уже в праславянском с таким ударением или что чередование *а*: *о* появилось по аналогии. Аналогия и вообще различные процессы вторичного характера упоминаются и по поводу пунктов 4 и 5. Все это, конечно, могло сыграть роль в том или ином случае, но этим невозможно объяснить всей совокупности фактов: почему дело всегда обстоит именно так, во всех примерах и во всех акающих говорах? Разве могли бы вторичные факторы, которые всегда оказывают частичное воздействие от случая к случаю, быть настолько радикальными, чтобы полностью стереть всякие следы первоначального состояния?

Ст. Стойков (глава четвертая: «Аканье в болгарском языке», стр. 93—116), который из всех четырех авторов в наибольшей степени опирается на непосредственный материал и менее всего склонен к увлечению гипотезами, дает содержательный обзор разновидностей аканья в болгарских диалектах. Тщательно упорядоченный материал Ст. Стойкова, по большей части новый в науке, показывает, что вопреки распространенному до недавнего времени мнению существует целый ряд типов аканья, причем в одних диалектах оно захватывает только предупредную позицию, в других — заударную, в третьих — и ту, и другую. Аканье является живым фонетическим законом (т. е. *о* оказывается фонологически недопустимым) лишь для небольшой части говоров, причем только в предупредном положении. Гораздо чаще аканье выступает только в определенных грамматических и лексических категориях, нередко факультативно, а иногда лишь эпизодически. Создается впечатление, что такая ситуация сложилась вто-

⁷ Интересны эпизодические примеры аканья в новгородских берестяных грамотах XII—XIII вв., которые приводит Ф. П. Филин. Тут неясно прежде всего, откуда могли взяться такие написания в области, где нет аканья. Логично было бы искать о ответ на этот вопрос в особенностях и непоследовательностях орфографии этих документов. Совершенно ясно, однако, что с явлением аканья ничего общего не имеют такие примеры, как *вѣмъ* вместо *rotogъ* из некоторых памятников XII—XIII вв. Здесь мы имеем дело с неразличением *о* и *ъ* фонетическим или графическим, что известно в разных областях, а не только акающим. Тот факт, что в данном случае нарушено традиционное написание, как раз указывает на слабость аргумента, объясняющего отсутствие примеров *о* вместо *ъ* на акающей территории верностью орфографической традиции.

рично как результат взаимного влияния говоров, где аканье развилось фонетическим путем и не всегда в одних и тех же позициях, и говоров, где фонетического перехода $o > a$ не было.

Проблема болгарского аканья осложняется и его географическим распространением. Оно встречается по существу исключительно у болгар-магометан, образуя прерывистый, не сплошной ареал вдоль греческой границы. Это, как подчеркивает Ст. Стойков, наводит на мысль о том, что болгарским говорам, расположенным по другую сторону границы, свойственна та же черта. Ст. Стойков приводит и одно свидетельство в пользу этого (патриарха Кирилла о говорах в районе Ксанти); было бы целесообразно продолжить исследование в этом направлении. Вероятно, можно было бы получить ценные сведения от эмигрантов и других переселенцев из районов, расположенных к югу от нынешней границы, если их удастся найти. Необходимо было бы также привлечь и данные топонимии, прежде всего микротопонимии на самой болгарской территории, которые могли бы дать дополнительные свидетельства о распространении аканья в прошлом.

Для решения вопроса о происхождении болгарского аканья необходимо, конечно, иметь полное представление о вокалических системах соответствующих говоров. Ст. Стойков не дает полной картины, но из его примеров она может быть восстановлена в общих чертах (а в какой-то степени она уже известна по другим источникам). Речь идет преимущественно о семичленной системе ударного вокализма:

$$\begin{array}{cc} i & u \\ e & \hat{o} \\ \hat{e} & \hat{o} \\ a & \end{array}$$

В безударном положении эти говоры имеют чаще всего пятичленную систему, которая при условии аканья имеет тенденцию к превращению в четырехчленную:

$$\begin{array}{cc} i & u \\ e & o \\ a & \end{array} > \begin{array}{cc} i & u \\ e & a \end{array}$$

Здесь, таким образом, мы вновь имеем дело с меньшей различительной силой безударной позиции (это же в принципе верно и для говоров тех акающих сел, где вместо δ представлен \hat{e}). Совпадение o и a было, безусловно, облегчено тем, что безударное a в этой зоне (как и во многих других болгарских диалектах) звучит как \underline{a} («закрытое» a).

Среди ценных наблюдений, содержащихся в работе Ст. Стойкова, особый интерес представляют те, которые касаются морфологических условий, влияющих на характер («охват») аканья: в некоторых говорах оно появляется только там, где позволяет избежать омонимии. При этом аканье затрагивает и окончания существительных ср. рода ед. числа (*платна, ведра*), поскольку эти формы отличаются от соответствующих форм мн. числа ударением (*платна́, ведра́*), а также окончания прилагательных ср. рода, омонимия которых с формами жен. рода не препятствует пониманию, так как грамматический род прилагательного вообще избыточен (Ст. Стойков указывает, что прилагательные «всегда связаны с именем существительным... *ца́ла села...*»).

К излагаемым Ст. Стойковым положениям можно сделать очень немного дополнений или критических замечаний. Ситуацию, наблюдаемую в смолянском говоре, можно было бы адекватнее определить, сказав, что аканье затрагивает всякое безударное o , кроме конечного (*арéл, бра́таф* притяж. прилаг., *дара́ве* мн., но *уйко́, сре́бро, мла́до*, зв. ед. *ма́йо* и т. д.). Не удачна терминология, с помощью которой аканье этого говора квалифицируется

как частичное в отличие от аканья триградского говора, названного частичнополным. В обоих говорах в предупредном положении аканье полное, а в заударном частичное. При этом не точно, что примеры с заударным аканьем в триградском говоре в совокупности своей более многочисленны — ведь там отсутствует аканье в глагольном суффиксе *-ога-*; к тому же оно факкультативно во всех флективных морфемах.

В заключение Ст. Стойков с полным основанием отвергает известный тезис Л. Милетича об аналогическом возникновении аканья в болгарских говорах (по образцу *вѣда: вѣдѣта = рѣка: ракъта*). По мнению Ст. Стойкова, речь идет о явлении более древнем, относящемся к эпохе до принятия магометанства (XVII—XVIII вв.). Это положение он обосновывает тем, что говоры магометан и христиан различаются на этой территории, помимо аканья, еще и рядом других черт, из чего Ст. Стойков делает вывод, что христиане переселились туда позднее (было бы, однако, полезно установить, если это возможно, когда они пришли, при каких обстоятельствах и откуда; в отношении последнего решающими должны быть их диалектные особенности). Что касается происхождения болгарского аканья, то Ст. Стойков, который прежде пытался «установить связь между возникновением аканья и общим развитием вокальной системы родопских говоров», на этот раз не повторяет этих своих соображений, а ограничивается достаточно осторожным напоминанием — без явной поддержки и без явного возражения — точки зрения В. Георгиева, добавляя, что судя по всему перед нами «очень старое явление, развившееся независимо от эволюции гласных, занявших место древнеболгарских *ж, з, а, и* и от их чередований» (стр. 116). Очевидно, что при этом происхождение аканья остается нераскрытым.

Издав книгу «Общеславянское значение проблемы аканья», Болгарская Академия наук оказала большую услугу славистической науке. Известные специалисты рассмотрели проблему в разных аспектах, проанализировав материал и собрав все аргументы в пользу теории о праславянском происхождении аканья. Это позволило шире и полнее, чем до сих пор, взглянуть на эту проблему. Вывод, который может быть сделан, очевиден: ни один факт, ни один использованный аргумент не может служить доказательством праславянского происхождения аканья. Более того, нет ничего, что указывало бы на вероятность гипотезы о таком происхождении.

Перевела с сербскохорватского С. М. Толстая

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Ф. П. ФИЛИН

ИЗ ИСТОРИИ СИНТАКСИСА ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ
О ФОРМЕ ИМЕНТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА ИМЕН ЖЕН. РОДА
НА *-а(-я)* В ЗНАЧЕНИИ АККУЗАТИВА

Существует большая литература, посвященная конструкции *вода пить*. Эта конструкция резко выделяется в системе славянского управления своей необычностью, поскольку нормой обозначения прямого объекта действия была и является форма винительного падежа, а в определенных случаях форма родительного (при отрицании, в именах одушевленных и пр.). Ее аномальность обратила на себя внимание А. Х. Востокова, П. А. Лавровского, Ф. И. Буслаева, Ф. Миклошича, А. А. Потебни и других ученых XIX в., и с тех пор интерес лингвистов к ней не ослабевал. В процессе более чем столетнего обсуждения были выявлены следующие узловые взаимосвязанные вопросы: 1) что собой представляла эта конструкция и при каких условиях она реализовалась, 2) каким было ее географическое пространство на разных этапах исторического развития и 3) каково ее происхождение.

Окончание *-а (-я)* жен. род. ед. числа — признак именительного падежа, что уже само по себе наводило исследователей на мысль, что объектное значение этой формы — явление вторичное, а исходным в ней является значение грамматического субъекта, именительного падежа. Более того, Ф. Миклошич был даже уверен, что в древнерусских и современных диалектных конструкциях *вода пить* имя в именительном падеже, зависимое от инфинитива, является не дополнением, а подлежащим, грамматическим субъектом¹. Довольно противоречива на этот счет точка зрения А. А. Шахматова, который был склонен не разграничивать происхождение и употребление форм на *-а (-я)* при инфинитиве и других форм именительного падежа и вслед за Ф. Миклошичем готов был видеть в именах с окончанием *-а (-я)* (*вода пить*) подлежащее, а не дополнение², считая, что это мнимый винительный падеж, являющийся на самом деле именительным. Близкого мнения придерживались и некоторые другие ученые.

Указанная точка зрения является ошибочной. Как отмечали многие исследователи, имена на *-а (-я)* при инфинитиве или какой-либо другой глагольной форме всегда управляются переходными глаголами. Уже в самых древних памятниках, в которых отмечена эта конструкция, при тех же самых условиях параллельно форме *-а (-я)* выступает и форма *-у (-ю)*, с определенно выраженным объектным значением. Ср. в смленской грамоте 1229 г.: «Такова правда оузати роусиноу оу Ризѣ и на гочкъмь березѣ» и «Такову правду възати роусиноу оу Ризѣ и на гочкъмь березѣ». Во всех древнерусских памятниках параллельное употребление приинфинитивных форм на *-а (-я)* и *-у (-ю)* представлено довольно отчетливо. Как отмечает в своей содержательной работе Д. С. Станишева, в более поздних докумен-

¹ F. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprache, IV, Heidelberg, 1926, стр. 346.

² А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., СПб., 1903, стр. 131.

тах (грамматах XVI—XVII вв.) «подобный параллелизм — явление постоянное»³. То же наблюдается в языке фольклора и в современных говорах. Более того, конструкция с инфинитивной формой на *-у (-ю)* и в старое время преобладала над конструкцией с инфинитивной формой на *-а (-я)*, не говоря уже о современных говорах, в которых форма на *-а (-я)*, являясь рудиментом, имеет в общем невысокую частотность по сравнению с формой на *-у (-ю)*. Интересующая нас форма, управляемая переходными глаголами, на всем исторически засвидетельствованном пути развития всегда имела объектное значение, т. е. выполняла функцию винительного падежа.

Примеры, которые допускают двойное истолкование, ограничены определенными условиями. Это, во-первых, предложения, в которых при перечислении имен во «внутренней речи» пишущего или при диктовке синтаксические связи, в частности, управление, могли нарушаться, ср., например, в духовной грамоте великого князя Ивана Ивановича около 1358 г.: «А се даль есмь сыну своему князю Дмитрию: *икону святых Олександръ, чепь золоту великую врацу с крестомъ золотымъ, чепь золоту колчату, икона золотомъ кована Парампина дѣла, шапка золота, ... обязь золота, сабля золота и сера золота с жемчугомъ...*»⁴; в новгородской берестяной грамоте № 392 XIII—XIV вв.: «Оу Тешена возале. *ѿ. гривено и гривна из ногато*» и т. п. Во-вторых, в записях устной речи, в которых не учитываются интонации и паузы, можно подозревать не винительный падеж, а нечто иное. Ср., например, в приводимом Н. М. Каринским примере из псковских говоров: «а мяня *маладуха* с сабой повяли»⁵. Здесь *маладуха* может быть обращением, а не падежом объекта. Наконец, в-третьих, нужно считаться с возможностью описок и ошибок, однако такая возможность не дает еще оснований, например, для решительного утверждения Г. Якобсона, согласно которому в данном случае может быть какая угодно конструкция, но только не падеж объекта⁶. Почему подозрительные на ошибку примеры встречаются, как и сама конструкция, главным образом в северной письменности и в современных севернорусских говорах, если условия отражения на письме особенностей устной речи всюду одинаковы? Не исключая необходимости осторожного подхода к этим примерам, мы в то же время не можем отрицать их возможной значимости при освещении нашей проблемы.

Спорной для определения падежного значения является сочетание формы на *-а (-я)* с предикативными наречиями *надобѣ, надо, нужно* и пр.: *тажча не надобѣ* (грамота Александра Ярославича 1257—1259 гг.), *а задница ти можна не надобѣ* (Русская Правда), *мне надо коса, шапка нужно* и т. п. А. А. Шахматов определял эту конструкцию как сочетание именительного падежа (подлежащего) с несогласованным наречием и строил на этом свою гипотезу о происхождении формы на *-а (-я)* при инфинитиве, которая якобы образовалась путем развития при именительном падеже дополнительного глагольного члена: *Мне надо собака > мне надо собака с собой взять*⁷. В. Л. Георгиева вовсе отделяет конструкцию *мне вода надо* от конструкции *вода пить* и считает, что оба оборота возникли независимо друг от друга и развивались параллельно, что в *мне вода надо*

³ Д. С. Станишева, Винительный падеж в восточнославянских языках, София, 1966, стр. 50; см. также: е е же, Конструкция типа *земля пахать* в системе синтаксических средств восточнославянских языков, «Slavia», XXXV, 1, 1966.

⁴ G. Jacobson, Zur Frage vom Nominativ als Kasus des direkten Objekts im Slawischen, Lingua viget, Helsinki, 1965, стр. 78.

⁵ Н. М. Каринский, Язык Пскова и его областей в XV в., СПб., 1909, стр. 190.

⁶ G. Jacobson, указ. соч., стр. 78—79.

⁷ А. А. Шахматов, указ. соч., стр. 131.

имя до сих пор сохраняет субъектное значение. Для подтверждения своей точки зрения она ссылается на то, что сочетание *мне вода надо* широко распространено в западной части русских говоров, в частности в южно-псковских, где оборот *вода пить* вовсе неизвестен⁸. Доводы В. Л. Георгиевой не кажутся убедительными. В древнерусских памятниках предложения типа *надобѣ гриена заплатити* обычны, тогда как безинфинитивные предложения типа *тажа не надобѣ* редки, и естественней последние выводить из первых. Если теперь в псковских говорах конструкция *вода пить* встречается очень редко, то в древнепсковской письменности она распространена так же, как и в новгородской. Видимо, в прошлом ареалы распространения конструкций *мне вода надо* и *вода пить* совпадали. Вариантное употребление в псковских говорах оборотов *вода надо* и *воды надо*, *шапка надо* и *шапку надо* показывает, что и здесь мы имеем дело с объектным, а не субъектным значением. Вопрос о разделении путей развития *вода надо* и *вода пить* подлежит специальному исследованию.

Г. Якобсон видит еще именительный падеж в сочетаниях с причастиями: древнерусское *закладающе городня*, *куна взяти* (Русская Правда), современное *у мяня уш карова падаишы* и пр.⁹ С этим согласиться невозможно: в первом случае причастие стоит во мн. числе, а *городня* в ед. числе (нарушение согласования причастий с существительными — явление сравнительно позднее), во втором случае мы имеем дело с поздним расширением конструкции *у меня уж корову подоено* (*у меня уж корову подоиши* — «я корову подоила»), а не «у меня корова подоена»). Таким образом, можно сказать, что форма на *-а* (*-я*) при инфинитиве и других формах переходных глаголов уже в древнерусском языке, не говоря о более позднем времени, всегда (если не нарушались синтаксические связи особенно-стями устной речи) имела объектное значение, т. е. выступала в функции винительного падежа.

В старом письменном языке и современных говорах форма на *-а*, *-я* в объектном значении употребляется в следующих позициях: 1) при независимом (от другой глагольной формы) инфинитиве как в препозитивном, так и в постпозитивном положении (*такова правда взяти русину, надо молодцу душа спасты*), 2) при зависимом инфинитиве (*даи бѣ исправити правда новгородьскан, будем байна топить*), 3) в сочетаниях с глаголами настоящего и будущего времени (*голова... передѣлають, а рыба-то уж мы как любим*), 4) в сочетании с причастными формами прошедшего времени на *-ль* в изъявительном и других наклонениях (*взялѣ собѣ Степанъ полянка, принес бы раньше коса, даж накосила б*), 5) в сочетании с другими причастиями действительного залога и отрицательными формами (*закладающе городня кунa взяти, наносиши вода*), 6) при деепричастиях (*сомя рубашка, в Есипове неделя пропустя опять празднуют*), 7) при повелительном наклонении (*не ломай глина, почитай газета*), 8) при простых формах прошедшего времени в древнерусских памятниках (*испытана высота небеснаи и глубина морската*), 9) при предикативных наречиях *надобѣ*, *надо*, *нужно* и пр. (*тажа не надобѣ, мне доска нужно*), 10) при страдательных причастиях на *-н* и *-т* (*у меня вода видено*), 11) в предложных сочетаниях (*он идет на могила, квартал дров нарезан на целая верста*). Указанными позициями объектное употребление форм на *-а* (*-я*), по-видимому, не исчерпывается. Если все это взять за одни скобки, можно сказать, что условия употребления объектных форм на *-а* (*-я*) так же широки, как и

⁸ В. Л. Георгиева, Синтаксические конструкции, образованные сочетанием именительного падежа с инфинитивом или наречием «надо» в современных русских народных говорах, «Материалы и исследования по русской диалектологии», III, М., 1949, стр. 47 и сл.

⁹ G J a c o b s s o n, указ. соч., стр. 80—82.

форм на *-у* (*-ю*). Однако, как уже достаточно установлено исследователями, степень употребления и документации этих условий в памятниках очень различны. Абсолютное большинство примеров в древнерусских памятниках приходится на конструкцию с независимым инфинитивом и гораздо реже на конструкцию с инфинитивом зависимым. В «Домострое» М. А. Соколова найдено 68 примеров приинфинитивной формы на *-а* (*-я*) и только два примера на другие позиции¹⁰. И. Б. Кузьмина и Е. В. Немченко, подытожившие материалы, собранные для диалектологического атласа русского языка, сообщают, что в современных говорах три четверти записанных случаев употребления нашей конструкции приходится на сочетания с инфинитивом, главным образом с независимым, причем в половине примеров инфинитив сочетается с наречиями *надо*, *нужно*¹¹. Та же картина свидетельствуется рядом других исследователей.

Очень важно и другое обстоятельство: количество примеров сочетания формы на *-а* (*-я*) не при инфинитиве с течением времени относительно возрастает. Если в древних памятниках они редки и составляют всего лишь несколько процентов общего числа примеров употребления конструкции, то в материалах современных говоров их уже около четверти. Такая тенденция развития указывает на то, что исходной формой данной конструкции является сочетание с независимым инфинитивом, что признается почти всеми исследователями. Все остальные разновидности являются вторичными, производными. Правда, в древнерусской письменности приинфинитивные и неприинфинитивные сочетания появляются одновременно, что оставляет возможность иного истолкования.

Достаточно хорошо установлена семантика интересующей нас конструкции. В приинфинитивных сочетаниях и в сочетаниях с предикативными наречиями выражается долженствование, необходимость, категоричность и желательность действия¹². Это значение, являющееся господствующим, теряется в других сочетаниях. Такая особенность значения конструкции привела к тому, что в письменном языке она получила отчетливо выраженное жанровое ограничение: объектное употребление формы на *-а* (*-я*) свойственно главным образом языку деловых памятников. В письменных памятниках других жанров она встречается редко, а в большинстве из них она и вовсе отсутствует. Любопытно, что в новгородских берестяных грамотах, представляющих собой в большинстве своем личные письма, встретился всего лишь один бесспорный пример объективной формы на *-а* (*-я*): *тѣбѣ рѣже съѣд снати* (грамота № 142 второй половины XIII в.). Е. С. Истрина в таком большом по объему тексте памятнике, как Синодальный список Новгородской I летописи, нашла всего четыре примера с формой на *-а* (*-я*)¹³ (при наличии нескольких сот употреблений надежа прямого дополнения). Наоборот, в официальных деловых документах объектное употребление формы *-а* (*-я*) обычно преобладает над формой винительного надежа *-у* (*-ю*). Позже положение изменяется. В XVII—XVIII вв. жанровые ограничения почти снимаются. По наблюдениям Д. С. Станишевой, конструкция с объективной формой *-а* (*-я*) становится характерной особенностью

¹⁰ М. А. Соколова, Очерки по языку деловых памятников XVI века, Л., 1957, стр. 57.

¹¹ И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, К вопросу о конструкциях с формой именительного падежа имени при переходных глаголах и при предикативных наречиях в русских говорах, «Вопросы диалектологии восточнославянских языков», М., 1964, стр. 160—162.

¹² Я. А. Спринка, Конструкция «инфинитив с именительным падежом женского рода» в истории русского языка, «Сб. работ филологического факультета Днепрпетровского гос. ун-та», XXIX, 3, 1941, стр. 22—23, и многие другие работы.

¹³ Е. С. Истрина, Синтаксические явления Синодального списка I Новгородской летописи, ИОРЯС, XXIV, кн. 2, 1919, П., 1923, стр. 158.

письменных памятников с диалектной языковой основой¹⁴. Само значение конструкции и в это время остается, в общем, прежним. Например, в книге Посопшкова «О скудности и богатстве» форма *-а* в значении аккузатива употреблена 131 раз (при независимом инфинитиве), а форма *-у(-ю)* только 15 раз (форма *-а* не при инфинитиве отсутствует вовсе), причем в 81 случае она ясно выражает долженствование и императивность (инфинитив сочетается со словами *надо, надобно, подобает, надлежит*)¹⁵. Семантика конструкции, так же как и ее структура, указывает на наиболее вероятную исходную точку развития: первоначально было сочетание формы на *-а(-я)* с независимым инфинитивом.

К этому следует добавить еще одно примечание. Исследователи давно уже отметили, что форма именительного падежа в значении винительного выступает также в словах жен. рода ед. числа с основами на *-ї*, что обнаруживается через форму определений, стоящих при этих именах (ср. *на том на всем роука дати и печать своа приложити*). Однако эти сочетания и в языке деловой письменности довольно редки (по сравнению с сочетаниями типа *печать свою приложити*). Я. А. Спринчак к тому же предполагает, что «аномальные» сочетания с *-ї*-основами становятся относительно употребительными позднее¹⁶. Все это наводит на мысль, что подобного рода сочетания являются вторичными, что должно учитываться при постановке вопроса о происхождении конструкции «инфинитив плюс форма на *-а(-я)*». Известно, что в единственном числе имен одушевленных муж. рода форма винительного падежа, совпадавшая с формой именительного, довольно рано (уже в древнейших письменных памятниках) начала заменяться формой родительного падежа (*и оузърѣти сына чловѣчьскааго*, вместо *сынъ чловѣчьскыи*). Если бы именительный инфинитивный в объектном значении в прошлом охватывал слова всех основ, то при инфинитиве переходных глаголов имена муж. рода одушевленные, в отличие от других позиций, должны были бы сохранять свой старый именительно-винительный падеж (*сынъ, не сына*); однако этого не наблюдается: инфинитивные сочетания не составляют исключения из общего правила. Следовательно, можно полагать, что изучаемая нами конструкция с самого начала своего развития ограничивалась только именами с основой на *-а(-я)*.

Немаловажное значение для выяснения происхождения нашей конструкции имеет вопрос о территориальном ее распространении. Исследователи согласно отмечают, что сочетание «инфинитив плюс *-а(-я)*» известно только в восточнославянских языках. Похожие обороты в народном чешском языке *je vidět sněžka, hora je vidět*¹⁷ являются германизмом, синтаксической калькой немецких оборотов типа *der Berg ist zu sehen*. На самой восточнославянской территории «инфинитив плюс *-а(-я)*» также распространен не всюду, что еще в прошлом столетии вызвало споры, не окончившиеся и в наше время, было ли это сочетание в древнерусскую эпоху общевосточнославянским явлением или же оно было диалектным. А. А. Потёбня решительно настаивал на предположении, что «инфинитив + *-а(-я)*» в прошлом был общерусской особенностью, являющейся архаическим остатком того древнего состояния, когда инфинитив был еще глагольным именем и не утратил своего склонения. Это утверждение вытекало из его гипотезы, согласно которой оборот *такова правда взяти русину* первоначально был

¹⁴ Д. С. Станишева, Винительный падеж в восточнославянских языках, стр. 229.

¹⁵ Там же, стр. 227.

¹⁶ Я. А. Спринчак, Очерк русского исторического синтаксиса, Киев, 1960, стр. 174.

¹⁷ F. Trávníček, Historická mluvnická česká, III. Skladba, Praha, 1956, стр. 175; В. Наврják — A. Jedlička, Česká mluvnická, Praha, 1963, стр. 331.

личным номинативным предложением, в котором позже была опущена связка (*такова правда есть взяти русину = такова правда есть взятию Русину*)¹⁸. Согласно гипотезе А. А. Потебни, оборот «инфинитив + -а (-я)» должен был быть в праславянском языке, в котором он был унаследован от индоевропейского состояния. Однако факты склоняли других ученых к выводу о том, что «инфинитив + -а (-я)» всегда был специфической диалектной особенностью восточнославянского Севера. Так в 1927 г. полагал С. П. Обнорский¹⁹, так считал и считает В. И. Борковский²⁰ и некоторые другие лингвисты. К настоящему времени накопилось довольно большое количество фактов, которые позволяют объективно судить об этом.

Подавляющее большинство известных современной науке примеров употребления данной конструкции в древнерусской письменности XIII—XIV вв. приходится на северо-западные памятники. Первый датированный пример обнаружен в новгородском Милитином евангелии 1215 г. (*достойти ли мужю жена пустити*). Однако несомненно, что на севере этот оборот существовал гораздо раньше: он имеется в разных списках Русской Правды, т. е. по крайней мере восходит к ее начальной редакции XI в. Можно считать, что на севере «инфинитив + -а (-я)» употреблялся еще до возникновения письменности. В памятниках южнорусской письменности XI—XIII вв. не найдено ни одного примера (в этом отношении ее показания полностью совпадают с данными старославянского языка и древней письменности других славянских народов). Мы не знаем, как обстояло дело в это время в говорах центрально-русских областей и на современной южновеликорусской территории, так как ранних памятников из этих земель не сохранилось. Письменность XIV—XVII вв. дошла до нас из всех восточнославянских областей, поэтому ее данные можно использовать для широкого лингвогеографического исследования. В это время «инфинитив + -а (-я)» по-прежнему широко употребляется на севере (новгородская, псковская, северодвинская и иные областные письменности). Он также обычен в московской письменности, являясь специфической особенностью языка московских приказов и постепенно распространяясь и на другие письменные жанры. С. И. Котков²¹, В. И. Собинникова²² и некоторые другие современные исследователи обнаруживают его в южновеликорусской деловой письменности XVI—XVII вв. и видят здесь не влияние языка московских приказов, а отражение исконной южновеликорусской особенности. Однако это положение является спорным. В. И. Борковский по этому поводу не без основания замечает, что историк языка должен считаться не только с тем, что общерусское явление может быть диалектным, но и с тем, что диалектное явление при определенных условиях может получить широкое распространение и превратиться в общерусское²³. В современных южновеликорусских говорах «инфинитив + -а(-я)», в отличие от говоров

¹⁸ А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, М., 1958, стр. 406.

¹⁹ С. П. Обнорский, Именное склонение в современном русском языке, I, Л., 1927, стр. 266.

²⁰ В. И. Борковский, Синтаксис древнерусских грамот, Львов, 1949, стр. 345; В. И. Борковский, П. С. Кузнецов, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 458.

²¹ С. И. Котков, К изучению орловских говоров, «Уч. зап. Орловск. пед. ин-та», VII, 3, 1952; е го же, Конструкция типа «земля пахать» в истории южновеликорусских говоров, ИАН ОЛЯ, 1953, стр. 45—53.

²² В. И. Собинникова, Простое предложение в русских народных говорах (по материалам говоров Воронежской обл.), Воронеж, 1961, стр. 23, 192.

²³ В. И. Борковский, Использование диалектных данных в трудах по историческому синтаксису восточнославянских языков, «Исследование по славянскому языкознанию», М., 1961, стр. 358.

северновеликорусских, фактически не употребляется, встречаясь как исключение лишь в немногих местностях. В. И. Собиинникова приводит несколько примеров из воронежских говоров²⁴, Г. В. Денисевич, говоря о наблюдениях С. И. Коткова, подчеркивает, что в курских говорах эти конструкции «крайне редки» (в его личных материалах имеется всего три примера, хотя автор изучает курские говоры десятки лет)²⁵, то же подтверждают и другие наблюдатели. Таким образом, пока остается неясным, имеем ли мы дело с исчезновением в южновеликорусских областях одной из исконных синтаксических особенностей или же, наоборот, с экспансией в южновеликорусскую диалектную зону специфической черты языка московских приказов.

Довольно ясно представлен «инфинитив + -а (-я)» в смоленско-полоцкой письменности, начиная с XIII в. Что касается письменности XIV—XVII вв. других белорусских областей, то сравнительно немногие примеры встречаются, главным образом в деловых памятниках севера и северо-запада Белоруссии (Вильно, Троки, Молодечно и др.). В современных белорусских говорах конструкция неизвестна²⁶. Е. Ф. Карский приводит из фольклорных и диалектных записей четыре примера, в подлинности которых он сомневается²⁷. Единственный пример из «Белорусского сборника» Романова (*дать половина Маркового богатъца*) вот уже сто лет переходит из одной работы в другую, что свидетельствует о крайней скудности нужного материала. Довольно много усилий было затрачено на поиски конструкции «инфинитив + -а (-я)» в украинском языке. Небольшое количество примеров было найдено в южнорусских грамотах XIV—XVI вв.²⁸ Д. С. Станишева по этому поводу пишет: «Требует дальнейшего наблюдения вопрос, являются ли эти примеры только спецификой актового языка, известными штампами грамот и других деловых документов или они были связаны с живым употреблением, реликты которого могут быть обнаружены в диалектах. Однако до сих пор опубликованные данные относительно конструкции типа *вода пить* в украинских говорах крайне скудны и мало показательны. (В исследованных диалектных материалах бесспорных случаев ее употребления нам не встретилось)»²⁹. Как было отмечено выше, в южных памятниках XI—XIII вв. нет ни одного примера этой конструкции. В более позднее время она изредка встречается в языке деловой письменности и вовсе отсутствует в других жанрах. Следует заметить, что западнорусский канцелярский язык, который был широко распространен в пределах польско-литовских областей с восточнославянским населением, впитал в себя особенности народной речи областей, лежащих вокруг центров литовской государственности. В этом языке достаточно ясно находили свое отражение и особенности местных диалектов формировавшегося украинского языка; в то же время вместе с его распространением распространялись и некоторые особенности, не свойственные

²⁴ В. И. Собиинникова, Отношение говоров Гремячского района воронежской области к другим русским говорам по данным синтаксического строя, «Славянский сборник», II, Воронеж, 1958, стр. 69.

²⁵ Г. В. Денисевич, История изучения говоров курско-белгородского края (краткий очерк), «Научно-практические очерки по русскому языку», 2, Курск, 1968, стр. 141.

²⁶ «Нарысы па гісторыі беларускай мовы», Мінск, 1957, стр. 343.

²⁷ Е. Ф. Карский, Белорусы. Язык белорусского народа, вып. третий, М., 1956, стр. 163.

²⁸ В. Ярошенко, Українська мова в молдавських грамотах XIV—XV вв., «Збірник комісії для дослідження історії української мови», I, Київ, 1931, стр. 320, и неогр. др. работы.

²⁹ Д. С. Станишева, Винительный падеж в восточнославянских языках. стр. 146—147.

этим диалектам. К таким особенностям можно с большой долей вероятности отнести и «инфинитив + -а (-я)», изредка встречающийся в украинских грамотах.

В наше время сочетание типа *вода пить* характерно «только для части северновеликорусских говоров, а именно: для говоров новгородских (восточной половины группы), вологодско-вятских и олонечских», изредка встречается в говорах всего русского северо-запада, а также в отдельных (немногих) южновеликорусских и средневеликорусских говорах³⁰. Следы ее были отмечены на севере Белоруссии. По данным старинной письменности конструкция была распространена шире. Не исключено, что она была известна всем диалектам, вошедшим в состав русского языка, хотя в южно-великорусские говоры могла быть занесена из Москвы. Несомненно исконное ее распространение на восточнославянском севере и северо-западе, включая старинные смоленско-полоцкие, гесп. кривичские земли. Что касается восточнославянского юга, то наличие там в древнее время этой конструкции является очень сомнительным. Попытки считать ее безусловной древней общевосточнославянской особенностью диктуются общими концепциями авторов без опоры на факты и вопреки фактам.

Переходя к вопросу о происхождении интересующего нас сочетания, мы должны учитывать историю его значения и географического распространения. В лингвистической литературе о его возникновении был выдвинут ряд противоречивых гипотез. Ф. Миклошич в свое время предполагал, что праславянское окончание вин. падежа ед. числа жен. рода *-an* могло измениться двояко: *-an* > *-o* (что представлено во всех славянских языках) и *-an* > *-a* в результате отпадения конечного *-n*, что и представлено в конструкции «инфинитив + -а(-я)». Фонетическая гипотеза Ф. Миклошича была забракована А. А. Потебней. О гипотезе А. А. Потебни было сказано выше. Б. А. Ларин оценил ее как неудовлетворительную. Он указал на искусственность реконструкции связки *есть* в предложениях типа *Такова правда узяти Русину*. В грамоте 1229 г., откуда взят этот пример, сочетание инфинитива с падежом объекта на *-а* употреблено 14 раз, и ни одного раза в этом обороте не употреблена связка *есть*³¹. Критик работы Б. А. Ларина Г. Якобсон с этим не согласен, указывая на возможность употребления связки, на что, в частности, показывает наличие *быть* в будущем времени: (детям-сиротам) *будет улличка ходить*³². Как бы предвидя такое соображение, А. А. Шевцова (возможно, не знакомая с работой Г. Якобсона) пишет: «нельзя рассматривать *есть узяти* как сказуемое к подлежащему *правда*, ибо тогда придется признать, что инфинитив образует с глагольной формой *есть* субъективно-подчиненное сочетание. Однако известно, что субъективно-подчиненное сочетание инфинитива с формой будущего времени *быть* возникло позже: не ранее конца XIV в. Нельзя признать инфинитив в этой конструкции и объектным: инфинитив с глаголами *есть* — *быти* не образовывал и не образует объектных сочетаний»³³. Гипотеза А. А. Потебни получила широкое распространение, но была принята на веру за неимением лучшего объяснения. А. А. Шахматов, в отличие от А. А. Потебни, считал «инфинитив + -а(-я)» явлением поздним, возникшим путем распространения оборота *мне надо коса в мне надо коса точить*, причем в одной из своих работ он пишет о замещении ис-

³⁰ И. Б. Кузьмина, Е. В. Немченко, указ. соч., стр. 152 и сл.; и х же, О синтаксических различиях русских говоров (по материалам, собранным для составления диалектологических атласов русского языка), «Slavia», XXXI, 1, 1962.

³¹ Б. А. Ларин, Об одной славяно-балто-финской изоглоссе, Л., 1963, стр. 10.

³² Г. Якобсон, указ. соч., стр. 75.

³³ А. А. Шевцова, К истории оформления прямого объекта в составе инфинитивных предложений, «К новым успехам советской науки», Донецк, 1966, стр. 169.

ходного винительного падежа именительным: «замена винительного именительным объясняется, как кажется, тем, что инфинитив, по самому происхождению своему являясь именем, не имел того полного глагольного значения, которое имели другие глагольные формы»³⁴. Впрочем А. А. Шахматов колеблется. Позже он был склонен исходным считать не «*мне надо коса*, а *надо (бѣ) + инфинитив*»³⁵. Во всяком случае, доказать, что формы на *-а (-я)* при инфинитиве в древнерусском языке имели субъектное, а не объектное значение, не удалось.

В 1941 г. с новой гипотезой выступил Я. А. Спринчак, возводя конструкцию «инфинитив + *-а(-я)*» к доисторическому прямому падежу «пассивной стадии»³⁶. Позже он отказывается от этой гипотезы, не давая взамен ее какому-либо нового предположения³⁷. В том же направлении, что и Я. А. Спринчак в 1941 г., пошел Б. А. Ларин. Б. А. Ларин считает, что мы не выйдем из порочного круга несостоятельных гипотез, если не откажемся рассматривать происхождение конструкции «инфинитив + *-а(-я)*» с позиций канонизированного индоевропейского номинативного предложения. Истоки этой конструкции лежат в древнейшем «эргативном» или «пассивном» строе предложения, когда форма именительного и винительного падежей была одинаковой и существовал «пассивный именительный», позже переосмысленный в падеж объекта, т. е. в винительный³⁸. Переосмысленный «пассивный падеж» в некоторых языках сохранил свою форму, которая теперь осознается как форма именительного падежа в значении винительного. Такой падеж имеется в тюркских языках (следует ссылка на устное высказывание С. Е. Малова в тридцатых годах, без приведения примеров), в финском языке (после повелительного наклонения, инфинитива I или причастного оборота с глаголом долженствования или с предикативными наречиями), в эстонском, в литовском, преимущественно в народных говорах (с инфинитивом и деепричастием), а также в латышском языке (при инфинитиве с управляющим дебитивным глаголом или модальными наречиями при несогласуемой причастной форме страдательного залога прошедшего времени)³⁹. Различия по данной особенности между указанными языками Б. А. Ларин считает несущественными. После сравнения всех указанных языков, писал Б. А. Ларин, «нет сомнения в том, что эти конструкции включали в качестве дополнения существительные любого рода (недоказуемые формы именительного падежа мужского рода в русском языке совершенно очевидны в литовском и латышском), что формы повелительного наклонения и деепричастия были первоначально столь же нормальны в конструкции с именительным прямым дополнением, как и инфинитив»⁴⁰.

Откуда появилась в качестве дономинативного пережитка конструкция с именительным прямым дополнением в восточнославянских, балтийских и западнофинских языках? Возможность сохранения ее от эпохи индоевропейской общности отвергается. Б. А. Ларин полагает, что эта особенность — субстратное явление, наследие «племенных диалектов Прибалтики и северо-восточной Европы», с носителями которых «смешались, продвигаясь в места теперешнего расселения, и финские племена, и первые волны балтийских переселенцев с юго-востока и, наконец, авангард славян, про-

³⁴ А. А. Шахматов, Исследование о двинских грамотах XV в., стр. 131.

³⁵ А. А. Шахматов, Синтаксис русского языка, I, Л., 1925, стр. 12.

³⁶ Я. А. Спринчак, Конструкция «инфинитив с именительным падежом существительных женского рода» в истории русского языка, стр. 26.

³⁷ Я. А. Спринчак, Очерк русского исторического синтаксиса, стр. 78.

³⁸ Б. А. Ларин, указ. соч., стр. 10.

³⁹ Там же, стр. 11—12, 17—21, 21—23.

⁴⁰ Там же, стр. 24.

двигавшихся с юга». Б. А. Ларин добавляет, что его точка зрения может быть подкреплена или опровергнута только с помощью археологов⁴¹.

Смелая гипотеза Б. А. Ларина вызвала взрыв критики со стороны шведского профессора Гуннара Якобсона⁴². Со своей стороны я также не вижу возможности присоединиться к этой гипотезе.

Восточнославянская языковая общность, противопоставленная западно- и южнославянской, формируется примерно в VII—VIII вв. н. э., тогда как прабалтийцы и предки западных финнов появляются на своих теперешних местах за много столетий до н. э. Предки восточных славян начали продвигаться в верхнее Поднепровье и в более северные районы не раньше VI в. н. э. В своем движении на север они ассимилируют балтийские племена и входят в контакт с западными финнами, значительная часть которых тоже ассимилируется. Если отдаленные предки балтов и западных финнов действительно когда-либо смешались с каким-то иноязычным массивом и восприняли от него эргативную конструкцию, то это было так давно, когда ни о каком восточном славянстве не могло быть и речи. Когда выделились восточные славяне, субстратный массив давно уже должен был исчезнуть. В таком случае можно говорить не о каком-то общем восточнославяно-балто-западнофинском субстрате (это нонсенс с исторической точки зрения), а о сравнительно позднем заимствовании в восточнославянские диалекты интересующей нас особенности из западнофинских или балтийских языков. Так и ставят вопрос некоторые исследователи. Далее: сходные в восточнославянских, балтийских и западнофинских языках явления имеют такие существенные различия, что предположение о их едином генетическом источнике крайне сомнительно.

Как считает Ю. С. Елисеев⁴³, готовящий специальную монографию о западнофинской падежной системе, в финском языке в так называемом аккумулятиве имеется конгломерат различных по происхождению форм, которые относят к аккумулятиву только на основании синтаксических функций этих форм как показателей прямого объекта. Тотальный (или полный) объект, противопоставленный парциальному (или частному), обозначается формой, одинаковой с формой субъекта (номинативом), *n*-овым генетивом, происходящим из *m*-ового аккумулятива, а во множественном числе формой номинатива на *-i*. При этом падеж партитива противопоставляется всем остальным падежным формам прямого дополнения, что базируется на противопоставлении парциального объекта тотальному, т. е. на смысловом содержании предложения. Только глаголы чувства, отношения, настроения и т. п. (*rakastaa* «любить», *vihata* «ненавидеть», *harmittaa* «огорчать» и т. п.) требуют постоянного употребления партитива. В единственном числе для обозначения полного объекта имеется противопоставление оформленного и неформального падежа, т. е. генетива и номинатива (во множественном числе всегда употребляется номинатив). Генетивная форма объекта (*-n*) употребляется в «обычных» личных предложениях, а номинативная при 1 и 2 лице повелительного наклонения глагола (*anna kirja minulle* «дай мне книгу», буквально «книга», *lyökäämme käsi käteen* «ударим по рукам», буквально «рука в руку»), при пассивной форме глагола (*poika lähettettiin kouluun* «мальчика отправили в школу»), при инфинитиве, который непосредственно или опосредованно связан с императивной формой глагола 1 и 2 лица и или с пассивной формой глагола (*tulkaa ottamaan kuppi kahvia* «зайдите выпить чашку кофе», буквально «чашка»), при инфинитиве, который так или иначе связан с безличной формой сказуемого

⁴¹ Там же, стр. 25.

⁴² G. Jacobsson, указ. соч.

⁴³ Пользуюсь случаем выразить свою признательность Ю. С. Елисееву за его указание.

или который зависит от подлежащего (*minun on velvollisuus lausua oma ajatukseni* «моя обязанность высказать свое мнение»), наконец, в конструкциях долженствования с причастием пассива (*minun on kirjoitettava hänelle kirje* «мне необходимо написать ему письмо»). Все это в системе взаимосвязано.

Совершенно иной является система обозначения объекта в древнерусском языке (если рассматривать ее во всей совокупности, не изолируя искусственно от всех остальных элементов оборот *вода пить*). В древнерусском языке и современных говорах форма аккузатива совпадает с формой номинатива только в определенной узкой морфологической категории: в словах жен. рода на *-а(-я)* при независимом инфинитиве, причем и эта форма является в конструкции лишь вариантом основной формы аккузатива *-у (-ю)*. Как было показано выше, можно считать установленным, что употребление формы *-а (-я)* при причастиях и деепричастиях, при независимом инфинитиве и личных формах глагола и в других позициях является производным от оборота с независимым инфинитивом, представляет собой расширение исходной ограниченной позиции. В истории формы *-а(-я)* в значении прямого объекта действия имеется определенная тенденция превращения этой формы в знак общего винительного падежа имен с основой на *-а(-я)* и отчасти на *-ь*. Правда, эта тенденция ни в одном из говоров не была доведена до конца: форма *-у(-ю)* продолжала оставаться основным вариантом обозначения прямого объекта.

Весьма существенны различия между русским *носить вода* и соответствующими балтийскими оборотами. Сравнительно-историческая грамматика славянских языков с очевидностью показывает, что именительный и винительный падежи единственного числа не только женского, но и мужского рода имели различное падежное оформление, что доказать наличие именительного приинфинитивного имен муж. рода невозможно. Происхождение сходных (но только частично) оборотов в балтийских и западнофинских языках толкуется по-разному. Во всяком случае, господствует мнение, что в балтийских и западнофинских языках указанные обороты имеют совершенно различные, генетически не связанные между собой источники. Нет никаких фактов, свидетельствующих в пользу гипотезы о существовании древнейшего языка-субстрата с дономинативным строем предложения, якобы нашедшего свое отражение в восточнославянских, балтийских и западнофинских языках. Нет также доказательств, что восточнославянский оборот генетически связан с балтийским и восходит к праиндоевропейскому.

Скорее всего конструкция *вода пить* имеет локальное и сравнительно позднее происхождение, связана она с лексико-грамматическим значением древнерусского инфинитива. К. А. Тимофеев, обстоятельно исследовавший древнерусские инфинитивные предложения, разделяет по значению собственно инфинитивные предложения на четыре группы: 1) выражающие объективную неизбежность действия, 2) выражающие необходимость действия в форме внутреннего долженствования, 3) выражающие обязательность действия вследствие распоряжения, обязательства или приказа и 4) выражающие фактические действия в условиях прошедшего или постоянно возможные в условиях настоящего. Обороты типа *a ta zemlja oicistiti Matfьu* и *Samуli* относятся к третьей группе собственно инфинитивных предложений⁴⁴. В древнерусском языке форма имени на *-а(-я)* несомненно обозначала прямой объект, о чем свидетельствует частое употребление в одних и тех же памятниках в аналогичных позициях и формы на *-у(-ю)*. Однако раньше эта конструкция могла осмысляться и иначе: *та*

⁴⁴ К. А. Тимофеев, Об основных типах инфинитивных предложений в древнерусском языке, «Уч. зап. ЛГУ», 277, серия филол. наук, 55, 1959, стр. 23.

земля очистити = «та земля должна быть очищена», *та пожня за росты косити* = «та пожня за проценты должна быть скошена, должна коситься» и т. п. Не случайно, что значительная часть примеров на этот оборот имеет предикативные наречия *надобь*, *нужно* и пр. Возможность дупланового в семантико-грамматическом отношении употребления приинфинитивной формы на *-a(-я)* могла осуществиться на севере и северо-западе, в условиях контакта с западнофинским и балтийским населением (ассимиляция балтийцев в верхнем течении Днепра, западнофинских племен в бассейне Волхова и Чудского озера). Роль западнофинских диалектов в сохранении этой конструкции на восточнославянском севере признает В. Р. Кипарский⁴⁵. На возможность объяснить «немаркированный объект» в древнерусском языке западнофинским влиянием указывают В. Феенкер, Д. Дечи⁴⁶ и некоторые другие лингвисты, специально исследовавшие эту проблему. Именительный приинфинитивный в принципе был возможен во всех именах, однако имена среднего рода, мужского рода на *-ъ, -ь*, женского рода на *-ь* непоказательны, так как именительный и винительный падежи единственного числа формально в них совпали в результате известных трансформаций, имевших место еще в общеславянском языке. Слова мужского рода одушевленные довольно рано в аккузативе стали получать форму родительного падежа; то же самое имело место в именах, употреблявшихся в отрицательных предложениях. Таким образом, именительный приинфинитивный мог закрепиться в именах с основами на *-a(-я)* и отчасти распространиться на имена женского рода с основами на *-ь* (что обнаруживалось, когда при них употреблялось определение).

Диалектная северная и северо-западная синтаксическая особенность, возникшая до появления восточнославянской письменности, была воспринята русским литературным языком, сначала главным образом в деловой письменности, затем и вне ее рамок. В XVIII в. она выходит из употребления под воздействием южных говоров, для которых она была нехарактерна. Вместе со становлением собственно белорусского литературного языка прекращается ее употребление и на территории Белоруссии. Лишившись поддержки со стороны литературного языка, конструкция *вода пить* отступает все далее на север и обречена на вымирание.

⁴⁵ V. Kiparsky, Über das Nominativobjekt des Infinitivs, ZfslPh, 28, 1960.

⁴⁶ V. V. Veemaker, Die Frage des finnougriischen Substrat in der russischen Sprache, Bloomington, 1967, стр. 120 и сл.; C. Décsy, Is there a Finnic Substratum in Russian?, «Orbis», XVI, 1, 1967, стр. 156.

В. А. ДЫБО

СРЕДНЕБОЛГАРСКИЕ ТЕКСТЫ КАК ИСТОЧНИК
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРАСЛАВЯНСКОГО УДАРЕНИЯ
(Praesens)

Прошло более 10 лет со времени выхода работы Хр. Станга «Slavonic accentuation» (Oslo, 1957), в которой автор положил в основу реконструкции ударения 1-го лица ед. числа презенса глаголов с окончанием ударением показания древнерусских и среднерусских текстов, отмечающих начальное ударение в этой форме с энклизой ее при присоединении приставки (явление, на которое в свое время обратил внимание Л. Л. Васильев¹). Однако до сих пор реконструкция Хр. Станга не стала общепризнанной, несмотря на то, что она хорошо согласуется с акцентовкой аориста и неличных форм глагола. По-видимому, необходимо подробное историческое исследование, чтобы согласные показания современных восточнославянских и литературного болгарского языков перестали быть фетишем, перед которым с благоговением останавливается славянская акцентология.

В презенсе праславянского, в соответствии с теорией Хр. Станга, восстанавливаются три акцентные парадигмы²:

	Парадигма <i>a</i>		
	Sing.	Pl.	Dual.
1-е лицо	<i>lězр</i>	<i>lězemъ</i>	<i>lězeva</i>
2-е лицо	<i>lězešъ (-ši?)</i>	<i>lězete</i>	<i>lězeta</i>
3-е лицо	<i>lězety</i>	<i>lězoty</i>	<i>lězete (-ta)</i>

— тип с постоянным акутовым ударением на корне, соответствующий парадигме *a* имен. Однако в многосложных глаголах критерием для включения в этот тип следует принять лишь неподвижный характер начального ударения. В этом случае многосложные глаголы парадигмы *a* распределяются по следующим подтипам.

I. Глаголы с акутовым ударением на корне: **stāvjati*, **prāvvditi* и под. Сюда же войдут приставочные глаголы от соответствующих бесприставочных акцентной парадигмы *a* и деноминативы от приставочных имен с акутированным корнем.

II. Глаголы с неподвижным новоаккутовым ударением на корне (при суффиксе, содержащем *ъ*, *ь*): **kŏpnъčiti* и под.

III. Глаголы с акутовым ударением на суффиксе: **veličiti*, **po-mināti* и под.

¹ Л. Л. Васильев, О значении каморы в некоторых древнерусских памятниках XVI—XVII веков. К вопросу о произношении звука *o* в великорусском наречии. Л., 1929. Ниже для такого рода форм принято название энклименов.

² В праславянских реконструкциях употребляются следующие обозначения акцента: «*а*» — акут, «*—*» — «циркумфлекс» долгого слога (долготное ударение, чередующееся во фразовых условиях с безударностью), «*˘*» — «циркумфлекс» краткого слога (краткотное ударение, чередующееся во фразовых условиях с безударностью), «*˘˘*» — новый акут долготы, «*˘˘˘*» — новый акут краткости, «*˘˘˘˘*» — ударение без отношения к его слоговой (intonационной) реализации.

IV. Глаголы с постоянным краткостным ударением на суффиксе: **gotóviti*, **mьnóžiti* и под.

V. Деноминативы от префиксальных имен с неподвижным краткостным ударением на корне: **podóbbiti*, **rokóжити* и под.

	Парадигма <i>b</i>		
	Sing.	Pl.	Dual.
1-е лицо	<i>mogò</i>	<i>mòžemь</i>	<i>mòževa</i>
2-е лицо	<i>mòžesьb (-šì?)</i>	<i>mòžete</i>	<i>mòžeta</i>
3-е лицо	<i>mòžetь</i>	<i>mògьtь</i>	<i>mòžete (-ta)</i>

— тип с ударением на окончании в 1-м лице ед. числа и с новоактутовым ударением на слоге, предшествующем окончанию во всех остальных формах, соответствующий парадигме *b* имен. Так как эта акцентная парадигма восходит к акцентному типу с циркумфлексивным или краткостным ударением на слоге, предшествующем окончанию³, ее следует рассматривать как тип с ударением в 1-м лице ед. числа презенса на слоге, следующем за последним слогом основы (в односложных глаголах — за корнем), и с новоактутовым ударением на последнем слоге основы (в односложных глаголах — на корне) во всех остальных формах презенса. В него входят две существенно различающиеся (исторически и в плане порождения акцентных типов⁴) группы глаголов:

I. Глаголы с односложной корневой основой и с первоначально накоренным циркумфлексивным или краткостным ударением.

II. Глаголы с многосложной суффиксальной основой и с первоначально насуффиксальным циркумфлексивным или краткостным ударением: **lepètjò* — *lepètješьb* и под.

	Парадигма <i>c</i>		
	Sing.	Pl.	Dual.
1-е лицо	<i>něsq, prìnesq</i>	<i>nesemьb</i>	<i>nesevà</i>
2-е лицо	<i>nesesьb (-šì?)</i>	<i>nesetè</i>	<i>nesetà</i>
3-е лицо	<i>nesetьb</i>	<i>nesetьb</i>	<i>nesetè (-tá)</i>

— тип с «энклиноменом» 1-го лица ед. числа и маргинальной окситонезой во всех остальных формах, соответствующий парадигме с имен.

Реконструкция ударения во всех формах презенса, за исключением формы 1-го лица ед. числа, строится не только на показаниях славянских языков с незакрепленным акцентом, но и на данных большинства западнославянских языков, отразивших определенные акцентно-интонационные отношения в противопоставлениях количества или в его рефлексак.

Реконструкция ударения в форме 1-го лица ед. числа основывается на показаниях языков, сохранивших «юсовое» окончание в этой форме (болг. *-ъ*, *-а*, русск. *-у* < *-ъ*), преимущественно восточнославянских и болгарского. При этом до последнего времени использовались данные этих языков в их современном состоянии. Введение Хр. Стангом показаний древнерусских акцентуированных памятников, пристальное рассмотрение диалектных болгарских и словинской (кашубской) акцентовок существенно изменяет классическую реконструкцию ударения в этой форме и приводит к изложенной выше системе.

³ В. А. Дыбо, О реконструкции ударения в праславянском глаголе, «Вопросы славянского языкознания», 6, 1962.

⁴ О различном положении в системе правил порождения акцентных типов накоренного и насуффиксального ударения см.: В. А. Дыбо, Акцентология и словообразование в славянском, сб. «Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968 г.)». Доклады советской делегации», М., 1968.

Настоящая работа, посвященная исследованию истории ударения презенса в восточнославянских и болгарском языках на материале древнерусских (о чем речь будет ниже) и среднеболгарских акцентуированных текстов, подтверждает и в некоторых моментах дополняет реконструкцию Хр. Станга.

*

В болгарских диалектах XIV—XV вв. различие между парадигмами *a* и *b* в презенсе было потеряно. Во всяком случае, в акцентуированных текстах этого времени оно никак не проявляется. Обе эти парадигмы фиксируются как единый неподвижный тип акцентовки в отличие от парадигмы *c*, у которой 1-е лицо ед. числа представлено энклиноменом в одних текстах и формой с накоренным ударением в других, во всех остальных лицах ударение падает на окончание (точнее: на тему), за исключением 3-го лица мн. числа, где в некоторых текстах неожиданно появляется накоренная акцентовка. Таким образом, различие акцентных типов *a* и *b* в презенсе, проводимое ниже, имеет лишь сравнительно-исторические основания. Следует, однако, иметь в виду, что в западноболгарских текстах в глаголах на *-i* различие между типами *a* и *b*, исчезнувшее в презенсе, выступает в формах, образуемых от основы инфинитива.

Памятники XIV—XV вв., относящиеся к западноболгарской и части восточноболгарской языковой области, и некоторые памятники с системой ударения, близкой к восточноболгарской, но с сербской орфографией, относимые нами предположительно к македонской языковой области, представляют праславянскую систему акцентных парадигм в следующем виде:

	Sing.	Pl.
a) 1-е лицо	вѣдѣж (воўдѣу)	вѣдемѣз (воўдемѣз)
2-е лицо	вѣдѣши (воўдѣши)	вѣдете (воўдете)
3-е лицо	вѣдетѣ (воўдетѣ)	вѣдѣтъѣ (воўдѣтъѣ)
b) 1-е лицо	мѣжѣж (моўжѣу)	мѣжемѣз
2-е лицо	мѣжѣши	мѣжете
3-е лицо	мѣжетѣ	мѣжѣтъѣ (моўжѣтъѣ)
c) 1-е лицо	несѣж (несѣу)	несѣмѣз
	принесѣж (принесѣу)	принесѣмѣз
2-е лицо	несѣши	несѣте
	принесѣши	принесѣте
3-е лицо	несѣтъѣ	несѣжѣтъѣ (несѣжѣтъѣ)
	принесѣтъѣ	принесѣжѣтъѣ (принесѣжѣтъѣ)

Акцентовка форм двойственного числа, встречающихся редко, соответствует типу акцентной парадигмы глагола.

Предположительно македонские тексты начала XV в.

Для характеристики акцентных парадигм презенса в этой диалектной группе приводится полный список форм презенса от тематических неприводных глаголов (включая *n*- и *j*-praesentia) и от глаголов на *-i* из текста сочинения Константина Костенческого «О письменах» (О письм.)⁵. Этот текст выбран как самый обширный⁶.

⁵ Список сокращений использованных текстов см. в конце статьи.

⁶ Исследования последних лет показали, что рукопись сочинения Константина Костенческого «О письменах» относится не к XV, а к XVII в. Однако очень строгая (не смешанная) акцентовка этого текста, совершенно совпадающая с акцентной системой аналогичных текстов XV в., заставляет признать его точной копией рукописи XV в., относившейся к данной диалектной области.

Sing. 2-е лицо: прѣидеши 34а; мѡжеши 13а, 14б, 16б, bis, 18б, 40а, 47б, 71а, не мѡжеши 14б, 38б, 50б, нѣ мѡжеши 23б; прѣимеши 53а, не прѣимеши 64а, не взѣмешѣ 63б; хѡщешѣ ли 53а, взехѡщешѣ 5а; поѣщешѣ 31а, поѣщешѣ 48б; пишешѣ 15б, 16б, 19а, 39а, bis, 40а, 58а, не пишешѣ 39б, взпишешѣ 13б, 22а, напишешѣ 17б, съпишешѣ 36б, оупишешѣ 16б, оупишешѣ 14б, 17б; взѣмешѣ 54а, не взнемешѣ 20а, 45б, 52а, 60б, не приѣмешѣ 52а, не приѣмешѣ 51б; наричешѣ 60б, bis; назвѣжешѣ 6б, съзвѣжешѣ ми ю 19а; не прѣтвѣрѣшиши 60а, bis (по-видимому, ошибочно: поѣши 60б); глаголы на -и-: прѣвѣрѣшиши 19б, 33б; положѣши 14а, 16б, 40а, 44а; прѡсиши 56б, взпрѡсиши 29а; взносѣши 13б, 60б, не взносѣши 62б; взвѡдиши ю 61а; взхѡдиши 19б; тѡриши 19а, 51б, 52а, 58а, 63б, прѣтвѡриши 12б, 14а (испр.), 17б, 32б, 65б, 66а, не прѣтвѡриши 14а, сътвѡриши 16б, 31б, 38б, 52а, не сътвѡриши 63б; мѣниши 52б; прѣстѡпиши 41б; сѡдѡвишиши 42а; съзвѣстѡпиши 33б; хрѡниши 6а, 9а, 52а, съхрѡниши 36б, съхрѡнишиши ме 14а, bis; хвѡлишиши 50б; ѡсѡдиши 52а; съмѡтриши 19б, 39а. (В мнѡишиши 41б отмечено лишь вторичное ударение.)

Sing. 3-е лицо: не ѣдетѣ 3а, ѣзѣдетѣ 22а, 29б, не ѣзѣдетѣ 12б, прѣѣдетѣ 6б, 24а, 31а, 36б, 40а, 52а, 54б, 55б, прѣѣде 64б, доѣдетѣ 44б, поѣде 39а, прѡѣдетѣ 46а, взѣдетѣ 22а, 24а, 28а, взнѣдетѣ 37б, взнѣде 39а, сънѣдетѣ 28а; мѡжетѣ 5а, 13а, 13б, 14а, bis, 15а, 18а, 18б, 27а, 36а, 39а, 40а, 45а, 46б, 47б, 61б, 63а, 70а, не мѡжетѣ 15а, 32а, 39б, 41а, 46б, 64а, не мѡжетѣ 23а, мѡжетѣ же 18а, мѡже 32б, не мѡжетѣ 35б, взмѡжетѣ 20б; прѣиметѣ 10б, 47а, прѣиметѣ 36б, взпрѣиметѣ 47а, поѣметѣ ю 67б, поѣметѣ 10б, ѡвѣѣметѣ 71а, взѣметѣ 36б; хѡщетѣ 9а, 14б, 20б, 26б, 34б, 36а, 40а, bis, 44б, bis, 47б, 55а, 67а, 70а, хѡще 6а, 22а, 37а, 70а, хѡщетѣ 47б, не хѡщетѣ 70а, взехѡщетѣ 57б, взехѡще 46а; пишетѣ 34а, 40а, 58а, пишетѣ 34б, 40б, 41а, не пишетѣ 57б, прѣпишетѣ 9б, взпишетѣ 35б, напишетѣ 37б, 40а, оупишетѣ 57б, не оупишетѣ 17а; ѣдетѣ 59а, поѣдетѣ 14а; взѣмлетѣ 22а, взѣмлетѣ 33б, приѣмлетѣ 66б, взпрѣимлетѣ 22б, 30а, взпрѣимлетѣ 72а, ѡвѣѣмлетѣ 20б, не взнемлетѣ 10б; наричѣ 53б, наричѣтѣ 11б; звѣжетѣ 59б, bis, съзвѣжетѣ 19а; вѣже 18а; кѡлетѣ 52а, bis; не прѣтвѣрѣтѣ 71а; глаголы на -и-: взѣвѣрѣнитѣ 53б; разѣвѣрѣтитѣ 44б, разѣвѣрѣтитѣ 14б; ѡвѣрѣтитѣ 67а, ѡвѣрѣтитѣ 47а, 54а; взлѡжитѣ 46б, 71б, прилѡжитѣ 13а; прѡситѣ 9а, взпрѡситѣ 50б; носитѣ 21а, носѣ 16б, взноситѣ 46б, взноситѣ 45б, 70а, не взноситѣ 12а, заноситѣ 56а, поноситѣ 4б, 11б, 31а, приноситѣ 36б, 55б, 58б, 59а, приносѣ 43б, приносѣтѣ 4а, произноситѣ 44б; кѡдитѣ 71а, взкѡдитѣ 34а, взкѡдитѣ 8б, 31а, ѣзѡдитѣ 29б, наѡдитѣ 71а, 71б, прѣѡдитѣ 7б; взхѡдитѣ 3б, 57а, взехѡдитѣ 3а, ѣхѡдитѣ 29б, ѡвѣхѡдитѣ 71б, прихѡдитѣ 46б; твѡритѣ 21а, 29б, прѣтвѡритѣ 9б, 31б, сътвѡритѣ 46б, 71а, стѡритѣ 50б, сътвѡритѣ 18а; сѡдитѣ 42б, расѡудитѣ 22б, расѡудитѣ 28б; ѣзѡнитѣ 63б; потрѡдитѣ 37б, не оутрѡдитѣ 71б; съвѣрѣшитѣ 4б; не съкѡудитѣ 9а; припѡдитѣ 31б; ѣзѡститѣ 38б; взвѣлѣчитѣ 29а; посѣрѡитѣ 52б (по-видимому, вторично в этот тип переходят глаголы: гоубѣ 8б, расѣлитѣ 39б — чаще идут по типу с).

Pl. 1-е лицо: пойд^м 30б; мѡже^м 41б, кззмѡжема 13а, кззмѡже^м 38а; пише^м ба, 53б; поише^м 62б; ѿмлем^мге 11б; сѡйжема 14б; не пострѡжема 53а; скѡже^м бб, оукаже^м 9б, оукаже^м 4б, 15а, 32б, ѡкаже^м 12а; глаголы на -i-: кзз'вратим^мге 10б; ѡзкѡди 23а, низкѡди 70б; твѡримъ 64а; мѣнимъ 52б; свкрѡши 28б; разѡримъ 14б; ѡсѡли 28б; слоужимъ 43а; ѡвѡичи 35а (вторично в эту группу вошел, вероятно, рѡстаи 26б — имеется вариант типа с).

Pl. 2-е лицо: ѡ ѡнимете 58а; глаголы на -i-: не кзз'вратимге 53б; прѡсите 56б; кззѡдите 58а; твѡрите 19б, 47б, 56б; мѣнимге 44б; ѡсѡдите ме 5б; прѡскѡтите 71б.

Pl. 3-е лицо: ѡзѡидѡта 23а, ѡзѡидѡута бб, прѡидѡта ба, прѡидѡта 68а, не кззиѡд^т 33б, ѡвѡидѡт' те 64б; мѡгоута 44б, не мѡгѡт'во 27б, кззмѡгѡта 27а, помѡгѡта 44б; ѡмоута 12а, 12б, 29б, 62б, ѡмѡта 26а, 56б, 62б, ѡмоут'же 26а, ѡмѡт'же 24б, не ѡмѡта 38б, 70а, прѡимѡта 39б, прѡимѡт' 53а, поѡмоутге 30б, кзспрѡимѡ^т 48а; хѡцѡта 5а, хѡцоу^т 21а, не хѡцѡта 55б, кзсхѡцѡта 24а; ѡцоута 45а, кззѡцѡта 3а; пишоута 16а, 19а, 34б, пишѡта 17а, bis, прѡпишѡта 28а; кзспрѡемѡта 52б, кззѡемѡт' вѡ 11б, кззѡемѡмге 58б, не кзнемѡмге 45а; нарѡимѡта 11б; плѡцѡта 63а; сзтѡчѡте 49а; ѡсѡхѡ^т 45а; глаголы на -i-: кзз'вратѡте 8б; ѡвѡжетѡ 64б, приѡжетѡ 9а; кззѡсетѡ 37а, кззѡсетѡге 45а, не кззѡсетѡ 33а, приѡсетѡ 18б, 23б, 28а, не приѡсетѡ 18б, прикззѡсетѡ 60а; кззѡдетѡ 64а, кззѡдетѡ 9а, прикззѡдетѡ 29а, свѡкѡдетѡге 58а; не хѡдетѡ 53б, не хѡдет ли 44б, свхѡдетѡ 17а, 27а, нахѡдетѡ 19б, ѡв'хѡде 46а, ѡхѡдетѡ 22а, прихѡдетѡ 44б; твѡретѡ 37а, 57а, 63б, не сзтвѡретѡ 61а, не сзтвѡре^т 61а; мѡнетѡ 29а; свкзкоупетѡге 9б; свхрѡнетѡ 24а; ѡсоудѡте 35а; плѡдет'ге 14а, плѡдетѡге 23б; ѡвѡичѡт ме 5а; чѡсетѡ 20а, чѡсетѡге 51а; мѡветѡ 20а; прѡтетѡ 45а, 46б; ѡпѡстрѡетѡге 40а, bis; ѡсетѡ 44а, 54б (вероятно, вторично в этот тип перешли: ѡзѡчѡта 39а и сздрѡжетѡ 5а. Чаще встречаются формы этих глаголов, относящиеся к парадигме с).

Dual. 1-е лицо: прѡидѡкѡ 43б, сзтѡрикѡ 43б.

Парадигма с

Sing. 1-е лицо: рѡкоу 6б, 8б, 15а, 28а, 29а, 55а, 57а, 64а, рѡкѡ 10б, 19б, 28б, 36б, 39б, 47б, рѡкѡ же 56б, не рѡкоу ли 35а, нѡ рѡкѡ 56а, 56б; пѡн 29а; жѡкѡ 47б; глаголы на -i-: шѡжѡу сѡ 36б; сѡжѡу 20а; приставочные формы: ѡзрѡкоу 11б; нѡнесѡу 15а; приѡзѡкѡ 60а, ѡ приѡзѡкѡ 60а, bis; прѡбѡжѡу 17б; оулоучѡ 26б; тѡ кззѡкѡцѡ 24а.

В отличие от древнерусского диалекта Чудовского Нового Завета эта система полностью утратила переносы на отрицание и союзы: ср. не рѡкоу ли 35а, ѡ приѡзѡкѡ 60а, bis; нѡ рѡкѡ 56а, 56б, тѡ кззѡкѡцѡ 24а.

В этой системе, по-видимому, отсутствуют окситонированные формы 1-го лица ед. числа презенса, если не считать таковыми формы односложных глаголов: мнѡ 9б, 41б, 43б, 45а, bis, 48а, 61б, мнѡ 9б, 13б, и др., мнѡ же 63б. Двусмысленно ударение глагола «глаголати», который пишется в памятнике всегда сокращенно во всех формах (неясны как вообще парадигматическая отнесенность этого глагола, так и место ударения в 1-м лице ед. числа презенса): глѡ 3б, 6б, 33б, 48б, ѡ глѡ 6б, ѡ не глѡ ба.

Sing. 2-е лицо: $\hat{p}ei\bar{m}$ 14б, bis, 15б (4 раза), 16б, 17а (3 раза), 21а, 22а; 38б, 58а, bis, 58б, bis, 61а, 66а, $\hat{p}ei\bar{m}$ и 12б, не $\hat{p}ei\bar{m}$ 17а, $\hat{p}ar\hat{e}i\bar{m}$ 19б; зокѣши 58а; кзвѣши 38б; гредѣши 63а; оумрѣши 61а; не запомѣши се 21а; стѣчѣши 48б; начнѣши 39а, bis; помѣнѣши 61а, помѣнѣши ме 61а; оузнѣши 71а; глаголы на -i-: стѣдиши 71а, не стѣдиши 64а; савѣши 16б, савѣшиши 37б—38а, савѣши се 51а; войши се 48б, не оубоюши се 71а; погрѣшиши 19б, bis, сзгрѣшиши 36б, 51а; побѣши се 47б; кемчиши се 50б; дрзжиши 58б; зриши 57б, 59б; не разлѣниши се 62а; лишиши 33б; оуничжиши 39б; ѡбновѣши 4б; мниши 13б, bis, 23б, 37б, 60а, bis, 63б; введословѣши 13б; и прѣкословиши 44а; не вздвразѣши 54а; спѣши 71а; слышиши 48а, не слышиши ли 52б; расчѣшиши 16а; дѣшиши 39б, оучѣши 53а, не оучѣши 48а, надѣшиши 53а; хоумѣши 47б, хдѣшиши 60б, 59б, хдѣшиши 48б.

Sing. 3-е лицо: $\hat{p}ei\bar{g}$ 28а, 29б, 39а, 43б, 44б, 47а, bis, 51б, 58а, $\hat{p}ei\bar{g}$ 16а, $\hat{p}ei\bar{g}$ 5а, $\hat{p}ar\hat{e}i\bar{g}$ 45а, 61б, да $\hat{p}ar\hat{e}i\bar{g}$ 7а, 69б, не $\hat{p}ar\hat{e}i\bar{g}$ 66а; поѣгѣ 70б, поѣгѣе 71а; жикѣгѣд 55а; кзвѣгѣ 25а, 37б, 53а, 70б, да не кзвѣгѣе 16а, $\hat{p}ri\hat{v}ei\bar{g}$ 46а, $\hat{p}ri\hat{v}ei\bar{g}$ 35б; грегѣ 15а, 16б, 17б, 65б; запнѣгѣе 24а, 34а, не запнѣгѣе 24б, 25а; да стѣчѣгѣе 15а, ѡстѣчѣгѣе 45а; начнѣгѣ 36б, 38б, почнѣгѣ 37а; кзспомѣнѣгѣе 56б; введѣгѣ 36б; да введѣгѣ 20а; невѣржѣгѣ 27б, 66б; $\hat{p}ri\hat{v}$ кзвѣгѣ 22б; кзпнѣгѣ 22а, bis; 22б, 66б; да | $\hat{p}ri\hat{v}$ кзжѣгѣе 14а—б; не ѡкззѣ 52б; пожежѣгѣ 11б; пролѣгѣ 71а; мннѣгѣ 38б; кзнѣсѣгѣ 10а, кзнѣсѣгѣе 41б, $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣгѣ 46б, $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣсѣгѣ 55б, не $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣгѣ 61б, $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣсѣгѣ 36б; $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣгѣ 48б; послѣгѣ 48а, 70б; $\hat{p}ar\hat{e}$ нокѣгѣе 44а; $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣгѣе 46а; и почнѣгѣ 22а (совершенный вид); да $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣгѣ 3б, 70а, $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣе 60а; глаголы на -i-: стѣдѣгѣ 20а; савѣгѣ 62б, савѣгѣе 1б, 31а, 45б, 67а, 70б, савѣгѣе 7а, 14б, 33а, 36а, не савѣгѣе 46а, $\hat{p}ri\hat{v}$ савѣгѣти 2б; погрѣшигѣ 9б, погрѣшигѣе 35б, 40а, не сзгрѣшигѣ 51а; побѣгѣ 66а, побѣгѣе 42а; дрзжигѣ 15б, дрзжит же 31б, дрзжитѣе 31б, сздрзжигѣ 15б, 16а, 21б, 23а, 24б, 25а, bis, 25б, 32а, 32б, 33б, 34а, сздрзжигѣ 34а, сздрзжит же 31б, сздрзжитѣе 6а; не зрѣгѣ 55б, зрѣгѣе 26б, 64б, оузрѣгѣе 51а; $\hat{p}ar\hat{e}$ лишигѣ 31б; мнигѣ 19а, 20а, 37б, не мнигѣ 9а, 37а, ни мнигѣ 9б, мнигѣти 51а, мнигѣе 26б, 57а, и не мнигѣе 26б, мнигѣ ми се 62а, мнигѣти се 22б, мнигѣ же 26б, не кззмнигѣе 34б; слышигѣ 39б, слышигѣе 10б; расчѣшигѣ 18б, расчѣшигѣ 36а; оучѣгѣ 32б, 71б, оучѣгѣ 36а, оучѣгѣе 36а, 57а, $\hat{p}ri\hat{v}$ оучѣгѣ 37а, $\hat{p}ri\hat{v}$ оучѣгѣ 44б, надѣгѣ 38а; не кззкѣстѣгѣ 27б; $\hat{p}ar\hat{e}$ калѣгѣ 3а, $\hat{p}ar\hat{e}$ калѣгѣе 55б, $\hat{p}ar\hat{e}$ калѣгѣ ми се 15а, кззкѣстѣгѣе 71а; сзгорѣгѣ 46б; $\hat{p}ri\hat{v}$ гласѣгѣе 30б; гдѣгѣе 28б; жигѣ 10а; не $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣнѣгѣе 7 46а; $\hat{p}ar\hat{e}$ клонѣгѣе 54а, да оу $\hat{p}ar\hat{e}$ клонѣгѣе 9а; кзкорѣнѣгѣе 39а, кзкорѣнѣгѣе 44а; не закѣснѣгѣ 35б; лежигѣ 71а, належигѣ 45б; $\hat{p}ri\hat{v}$ лѣчигѣе 18б; $\hat{p}ri\hat{v}$ лѣнигѣ 13б; кзлѣнигѣе 9б, и не кзлѣнигѣе 15а; не $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣгѣе 39б; ѡразѣгѣе 45б; кзрѣчигѣ 46а, кзрѣчигѣе 46а; $\hat{p}ar\hat{e}$ дрѣши 54б; $\hat{p}ar\hat{e}$ водѣгѣе 39а; стѣгѣе 43а; и сѣкчѣлѣгѣе 55б; $\hat{p}ar\hat{e}$ кврзѣнигѣе 51б; стѣжигѣ 17б; стѣигѣ 15а; догѣе 32а, $\hat{p}ar\hat{e}$ стоигѣ 5а; не стѣидѣгѣе 29б, не $\hat{p}ar\hat{e}$ стѣидѣгѣе 43б; оуткврзѣдѣгѣе 39б; $\hat{p}ar\hat{e}$ гогрзѣнигѣ 10а; $\hat{p}ar\hat{e}$ цѣлѣгѣ 1б.

⁷ Ударение на окончании, по-видимому, не связано с энклитикой, ср. инфинитив не $\hat{p}ri\hat{v}$ нѣнѣтѣе 51а.

Pl. 1-е лицо: *рѣма* 9б, 15б, 16а, 16б, 21б, *bis*, 36а, 40а, 44а, 45а, 46б, 56б, 58а; *поѣма* 23б, «*поѣма*» 63б; *кзкѣма* 69б; глаголы на *-i-*: *ѣкѣма* 13б, *ѣзѣкѣма* 7а, *ѣзѣкѣи* 12б, *ѣзѣкѣи* 21б, *ѣзѣкѣма* 28а, *ѣзѣкѣма* 32б; *воѣма* 53а; *повѣма* 3а, не *суповѣма* 9а; *мнѣма* 18а, 46б; не *оуѣма* 15а; *погѣма* 20б; *блгодарѣма* 23б; *оуѣма* 9а; *сзкрѣши* 56а, *распространѣма* 41а.

Pl. 2-е лицо: *рѣте* ми 56б, *ѣ рѣте* 56а; *живѣте* 12б (название буквы), *ѣ поживѣте* 9а; *ѡвѣчѣте* 17а; глаголы на *-i-*: *погѡпѣте* 56б.

Pl. 3-е лицо: не *нарѣкѣте* 68а; не *поѣта* 41б; не *кзкѣдѣта* 12а, *прикѣдѣте* 25а; *грѣдѣта* 36б; *посѣдѣте* 45а; *вмѣдѣта* 45а; *взпнѣта* 51а; *ѣ крзѣдѣта* 48а; *прѡлѣтѣте* 47б; *чтѣ* 32б, *чтѡуѣта* 52б; *закѣзѡуѣта* 36б; *жѡуѣта* 21б; *пожнѣ* 22б; *пнѣта* 55а; *тѣцѡуѣте* 4а, *тѣцѣте* 40а, *ѣтѣцѣуѣте* 1б, не *тѣцѣте* 27а; *почрѣпѣта* 47б; *пѣдѣта* 55а, не *пѣдѣта* *ѣи* 51б; глаголы на *-i-*: не *ѣкѣте* 50б; *воѣт* же 70а; *дрзжѣта* 71б, *ѣдрзжѣта* 23б, 27а, *bis*, 50б, 56б, 60а, не *сдрзжѣта* 2б, *сдрзжѣте* 1б, 33б, *сдрзжѣте* 6б; *зрѣта* 56а, *оузрѣте* 2б, *оузрѣте* 13а; *мнѣта* 18а, 27б; *вледослѣбѣта* 40б, 42а, 60б; *кзѣвразѣта* 54а; не *слѣшѣт* ми 54а, *bis*, *оуслѣшѣта* 47б; *расѣлѣте* 19а; *оуѣте* 36б—37а, *ѣ оуѣта* 38а, не *оуѣта* 40а, *оуѣте* 8а, 57а; *хѡулѣте* 56б; *погѣте* 33б; *дѡ оуѡулѣта* 8а; *кзрѣчѣте* 3б; *сѡѡѣ* 5а, *сѡѡѣта* 35б, *сзѡѡѣте* 69б; *сѡдѣте* 29б; *цѣлѣта* 53б, *ѣ ѣцѣлѣте* 1б; *дѣлѣте* 68а, 68б, 69а (3 раза); *бѣлѣта* 50а; *ѣ мѣчѣта* 45а; *рѣдѣта* 20а, *взвнѣрѣдѣ* 20а; *распространѣте* 40а, *bis*; *прѣсѡушѣте* 45а.

Наряду с оттяжкой ударения в 1-м лице ед. числа презенса на приставку здесь сохраняется и система, построенная на законе Васильева-Долобоко⁸. При присоединении энклитик *се* (<сѣ) и *ти* к форме 1-го лица ед. числа презенса от глагола парадигмы с ударение переносится на окончание:

а	b	с
1. <i>дѣѣсе</i> 5а	1. не <i>ѡмѣцѣсе</i> 56а	1. <i>тѣцѣсе</i> 27а, <i>погѣцѡуѣсе</i> 13а,
2. <i>ѡбрѣцѣсе</i> 3б	2. <i>прѣлѡжоуѣсе</i> 8а	не <i>погѣцѡуѣсе</i> 47а, (ср.
3. <i>касѣѣсе</i> 4а, 4б	3. не <i>прѣкзвнѡшѣсе</i> 46а	<i>тѣцѡуѣте</i> 4а)
4. <i>оуѣстѣкѣ се</i> 46а	4. <i>мѣ се</i> 3а	2. <i>лѣнѣсе</i> 51а [(ср. не <i>разлѣ-</i>
5. <i>подѣ ти</i> 61б	5. <i>ѡсѡуѣжоу се</i> 5а	<i>нѣшнѣсе</i> 62а)
6. <i>намѣ ти</i> 28а	6. <i>прѣбѡжѣ ти</i> 23а	3. <i>кзѣкѣцѣти</i> 52б (ср. <i>кзѣкѣцѣ</i>
7. <i>кзѣкѣнѡу ю</i> 19а	7. <i>прѣѣмѣ те</i> 48а	24а)
	8. <i>Жѣжоу же</i> 12б	4. <i>ѣзѣкѣю ти</i> 41б (ср. <i>прѡ-</i>
		<i>ѣкѣю</i> 17б)

Возможно, эта система сохранилась лишь у глаголов на *-i-*, что характерно для некоторых восточноболгарских текстов (см. ниже). Об утрате оттяжки ударения, построенной на правиле Васильева-Долобоко, у глаголов тематических классов могут говорить следующие примеры: *рѣку же* 56б, не *рѣку* ми 35а. Однако эти исключения могут объясняться и иным поведением частиц *же* и *ми* в диалекте, отразившемся в настоящем памятнике.

⁸ О законе Васильева-Долобоко см.: В. А. Дыбо, О реконструкции ударения в праславянском глаголе, ВСЯ, 6, М, 1962.

Западноболгарские тексты конца XIV в.

Для характеристики состояния акцентной системы презенса в западноболгарских диалектах в конце XIV в. приводится материал из рукописи Поучений Исаака Спириня 1381 г. Текст, возможно, списан с восточноболгарской рукописи, поэтому наблюдаются некоторые характерные смешения. Значение вариации остается не совсем ясным, возможно, она служит также для обозначения конца тактовой группы. Эти особенности, конечно, снижают надежность данных памятника. Однако это единственный акцентированный западноболгарский текст, достаточно большой по объему и разнообразный по содержанию, имеющийся в нашем распоряжении.

В нем обнаруживается та же система акцентовки 1-го лица ед. числа презенса, зависящая от типа акцентной парадигмы, т. е. от ударения первых лиц, что и в тексте «О письменех»:

Парадигма а: не вѣдѣж 107б: вѣдѣтъ 22б, 39а и др.; вѣдѣтъ 49б: стѣне 46б; ѡ поѡѣж 111а: поѡѣтъ 100б; вторично сюда вошли: ѡ поѡдѣж 65а: поѡдѣтъ 23а, 27б; поѡбѣж 201а (ср. оѡпоѡбѣмсе О письм., 22б).

Парадигма б: ѡдѣж 64б, ѡдѣж 111а: ѡдѣтъ 9а, поѡдѣтъ 149а; не мѡгѣж 64а, ѡ не мѡгѣж 57б, 64а: не мѡжетѣ 25а, ѡ не мѡже 25а; не хѡщѣж 69а: не хѡщѣтъ 6б; поѡкажѣж 77б: поѡкаже 14а; поѡсла 122б: поѡсла 218а; сѣтъкѡра 64б: сѣтъкѡритѣ 40б; ѡстѣпла 154б: не ѡстѣпи 45б; вѣзлѣбѣла 200б: мѡвѣтъ 9б; ѡмѡрѣла 218а: мѡмѣтъ 98а; сѣ поѡкѡра 68б: оѡкѡри 14б.

Парадигма с: рѣкѣж 34а, 109б (ср. не нарекѣтъсе О письм., 68а); тѣкѣж 154б: ѡ тѣчѣтъ 32а; скрѣзѣла 129а: ни скрѣвѣтъсе 9б; трѣпла 171б: трѣпитѣ 2а; ѡ ѣча 201а: оѡчѣтъ 98а (ср. оѡчѣтъ О письм., 36а и др.); стѡбѣж 130а, стѡбѣ 139б: ѡстойтъ 6б. Приставочные формы: ѡмрѣж 108а, ѡмрѣж 108а: не ѡмрѣтъ 107а, ѡ ѡмрѣ 52а, оѡмрѣ 21а; поѡживѣж 108а, поѡживѣж 108а: живѣши 34а, живѣши 34а, живѣтъ 33б; оѡтрѣпла 108а: трѣпитѣ 2а.

В диалекте, отразившемся в данном памятнике, по-видимому, уже действовала тенденция к ликвидации обусловленности энклизы формы 1-го лица ед. числа презенса акцентной парадигмой (ограничения энклизы акцентной парадигмой с), что проявилось в следующих смешениях: поѡнѣжѣж 57б при ѡдѣтъ 107б, поѡдѣтъ 38б и наоборот поѡнѣж 107б при поѡживѣж 108а, живѣтъ 33б. Эта тенденция, вероятно, поддерживалась или была вызвана процессом перехода *i*-глаголов акцентной парадигмы с в тип с накоренным ударением в презенсе (ѡ), завершившимся в современных западноболгарских диалектах. Начало этого процесса отразилось в данном памятнике в многочисленных примерах смешения, ср. мѡвѣтъ 19а при старом не ѡвѣвѣтъсе 99а; ѣчатѣ 32б, ѣчатѣ 32б при старом оѡчѣтъ 98а; стѣдѣса 6б при старом стѣдѣтъсе 7б, и др. И обратные смешения — мѡвѣтъ 9б: мѡвѣши 215б; прихѡди 8а, 27а, 32а: вѣхѡдиши 202а; не ѡпразнѣса 25а: ѡпразнѣ са 99а; сѣтъкѣнитѣ 107а: ѡтѣкѣнитѣ 107б; прѡсѣши 43б: не прѡсѣши 44а; вѣсѣнитѣ 107а: вѣсѣмѣса 6б; и т. п. Естественно, что при такой неустойчивости системы акцентных парадигм у *i*-глаголов, завершившейся победой одного типа, система оттяжки ударения на приставки в форме 1-го лица ед. числа презенса должна была пасть или распространиться на всю группу *i*-глаголов (это, конечно, отразилось бы и на других типах глаголов). Последнее собственно и наблюдается сейчас в западноболгарских говорах, сохранивших юсовое окончание 1-го лица ед. числа презенса.

В диалекте, акцентная система которого отразилась в Поуч. Ис. Сир., по-видимому, существовала (в форме 1-го лица ед. числа презенса) система, построенная на законе Васильева-Долобко, первоначально в том же виде, что и в диалекте, отразившемся в О письм. Однако процессы смешения акцентных парадигм привели к тому, что ударение на окончании в форме 1-го лица ед. числа презенса могло ставиться при присоединении энклитик независимо от акцентной парадигмы глагола:

Парадигма *a*: не дѣиѣжъ 111а: ѡчиѣтитѣа 40б (ср. чиѣти О письм. 3а).

Парадигма *b*: да локжжѣта 111а; възвратѣжѣа 112а: възвратѣжѣа 39а (ср. възвратѣжѣа О письм., 10б).

Парадигма *c*: не воѣжѣа 90б: не воѣтѣа 6а, 6б, 6в, 41а и др. (ср. воѣмѣа О письм., 53а); да споблѣта 225а (ср. спобѣтѣа О письм., 42а, не оупбѣмѣа ib., 9а).

Такая акцентовка, вероятно, была факультативной, так как наряду с этими примерами отмечены формы 1-го лица ед. числа презенса с энклитиками от глаголов всех трех акцентных парадигм, имеющие окончательное ударение:

Парадигма *a*: поѣиѣжъ 57б: дѣиѣжѣтѣа 39б, дѣиѣжѣтѣа 36б; ѣиѣжѣтѣа 111а: не кѣдиши ли 39а (ср. кѣдиши О письм., 19а, 35б).

Парадигма *b*: ѣ не повѣиѣжѣа 111а: повѣиѣтѣа 98а (с колебанием акцентной парадигмы: повѣиѣтѣа 5а).

Парадигма *c*: дѣвлѣа 179б: ѣ дѣвлѣтѣа 43а; да не ѡтѣжѣжѣа 108а (инф. ѡтѣжѣитѣа 34а).

Восточноболгарские тексты конца XIV — начала XV в. («Диалектная система Киприана»)

Тексты, приписываемые руке митрополита Киприана — «Псалтырь» (Пс. Кипр.), Лествица (Леств.), Сочинения Дионисия Ареопагита (Дион. Ареоп), — отражают акцентную систему одного из восточноболгарских (точнее северо-восточных) диалектов. Акцентовка 1-го лица ед. числа презенса ясна из следующих примеров:

Парадигма *a*: не | забѣдѣжъ Пс. Кипр., 108б; разѣтѣа Пс. Кипр., 135б; възвратѣжѣа Пс. Кипр. 136б; постѣиѣжѣа Пс. Кипр. 133а, ѣ постѣиѣжѣа Пс. Кипр., 15б; ѣсплѣна Пс. Кипр. 133а; ѣ прослѣвлѣа ѣ Пс. Кипр. 132б; ѣстѣвлѣа Пс. Кипр. 135б.

Парадигма *b*: възвѣдѣжъ Пс. Кипр. 119а, 123а, 139а, възвѣдѣжъ Пс. Кипр., 64а, не възвѣдѣжъ Пс. Кипр. 21б, поѣдѣжъ Пс. Кипр. 123а, проѣдѣжъ Пс. Кипр. 37а; ѣе възвѣмѣжъ Пс. Кипр. 123а; възвѣщѣжъ Пс. Кипр. 22а, 22б, 108а, 109а; ѣ покажѣа Пс. Кипр. 135а; поѣжѣа Пс. Кипр. 103а, ѣ примѣжѣжъ Пс. Кипр. 61б; поѣсѣтѣа Пс. Кипр. 136б; възвѣвлѣа Пс. Кипр. 128б, ѣ възвѣвлѣа Пс. Кипр. 127б, ѣ възвѣвлѣа (Sic!) Пс. Кипр. 159б; възвѣвлѣа Пс. Кипр. 108а.

Парадигма *c*: да рѣкѣжъ Дион. Ареоп. 41б; жиѣжъ Пс. Кипр. 136б; поѣа Пс. Кипр. 100б; с приставкой: прѣстѣтѣжъ Пс. Кипр. 51б.

В текстах Киприана приставочные формы 1-го лица ед. числа презенса от глаголов парадигмы *c*, как правило, не акцентуются. Это может объясняться или колебаниями писца в определении места акцента, что свидетельствует о начале разложения старой системы в его диалекте, или тем, что названные формы отражались в сознании писца как не имеющие собственного акцента.

В пользу первого предположения говорят случаи постановки ударения на корне в приставочной форме 1-го лица ед. числа презенса от

глаголов парадигмы *c*: да са не поста́|жж Пс. Кипр. 111а; ср. поста́-да́тса Пс. Кипр., 61б; ѝ поста́|ж ib., 47а. В пользу второго предположения говорит системный характер этого явления: акценты не ставятся также на приставочных формах 2 и 3-го лица аористов от *i*-глаголов парадигмы *c*. Напротив, эти же формы от глаголов неподвижной акцентной парадигмы (исторически *a* и *b*), окситонированные (исторически) формы парадигмы *c* и формы-энклиномены с энклитиками обычно акцентуются.

Тексты Киприана отражают тот же тип системы, построенной на правиле Васильева-Долобо, что и предположительно македонские тексты (О письм.)

В отличие от западноболгарского текста Поуч. Ис. Сир. эта закономерность в текстах Киприана при энклитических местоимениях проводится совершенно строго без каких-либо отклонений (Ниже материал из Псалт. Кипр. приводится без указания на памятник):

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
1. не подкѣжжса 52а	1. погла́ маа 108б	1. кзвнесѣса 101а, кзвнесѣта 24а, 127б, ѝ кзвнесѣта 107б.
2. ѝзвѣблса 15а	2. кз звѣрѣцѣса 15б	2. ѝ спѣ жса 113а,
3. ѝ неѣмѣлса 24а.	3. кзсѣлса 52а, 119а, 119б, ѝ кзсѣлса 123б.	3. призовѣта 122б.
4. ѝ очѣ цѣса 44б	4. обѣчѣта 44а.	4. подѣчса 108б, ѝ подѣчса 113а, ѝ наѣчса 113а.
5. ѝ ѝзвѣблѣта 43б		5. ѝ кзвкеселса 139а, ѝ кзвкеселѣса 25а

Любопытно, что при частице *же* перенесенное на нее ударение сохраняется, не передвигаясь на окончание: 1) ни|зкѣрѣма жѣ Пс. Кипр. 81а; 2) маа жѣ Леств., 127б, 203б; ми|жѣ ib., 254а; 3) гла́ жѣ Леств. 82а, 143б, 152б, 155б, гла́|жѣ ib., 156а. Может быть, это различие объясняется разницей количеств в местоименных клиниках и частице *же*. Что касается остальных форм презенса, то их акцентовка полностью совпадает с акцентными кривыми акцентных парадигм диалекта, отраженного в тексте О письм. Отличия в распределении глаголов по этим акцентным типам в данных диалектах также были, но-видимому, минимальными:

А. Тематические, *je*- и *n*-глаголы

Парадигма *a*: 1) злѣжѣ 50б; 2) кзсѣлѣши 138б, разсѣлѣса 138б; 3) кзпадѣса 29а, не падѣса 140а, пада́ 15б, 39б, ѡпада́ 31а, да ѡпада́тѣ 6б; но пада́|тѣ 140а; 4) поѣижѣ|са 13а; 5) ѝзвѣ|ши 124а; 6) ѝзрѣкѣтѣ 85б; 7) зкѣрѣтѣса 16б; 8) ѣзтѣрѣтѣ 23б; 9) лѣтѣ 10а, 10) тѣтѣ 56б; 11) чѣтѣ 27б; 12) дѣтѣ 32а; 13) ѡрѣнетѣ 67б; 14) стѣнѣ ти 67а, кзстѣнѣ 22а; 15) ѝстрѣгнѣ 21а; 16) ѝ погѣбнетѣ 36а, ѝ погѣбнѣ 75б, да погѣбнѣ 56б; 17) поста́гнѣ 59б, ѝ поста́гнѣ 7а.

Парадигма *b*: 1) ѝ не ѝзвѣдѣши 51б, кзнѣдѣ 14а, ѝ кзнѣдѣ 20б, да|кзнѣдѣ 78б, обѣдѣ 47а, да приѣдетѣ 47б, не приѣде́ мнѣ 30б, приѣдетѣ 43а,

йзвѣдетъ 13а, прѣдѣж 77б, проидѣж 55а, развѣдѣж 50б, ѥ свнѣдѣж 47б; 2) вззмѣже 69а, ѥ не|взнемѣжетъ 15б; 3) хѣцетъ 18б, взехѣце 32а; 4) вззѣцетъ 39а, не вззѣцетъ 10а; не вззѣце 9б, вззѣцѣжъ 68б; 5) ѥ порѣщѣжъ 50б; 6) да прѣимѣжъ 35б, вззѣмѣ 139б, вззѣмѣжъ 85а; 7) ѡрѣшѣжъ 128а, 8) да ѥсчѣзѣжъ 56б; 9) прѣтѣжѣкнѣши 83б; 10) взспѣнетъ 14а.

Парадигма с: 1) наречѣши 144а, речѣ 10б, 78а, ѥ речѣ 50а, ѥ рекѣжъ 45б ѥ рекѣжъ 36а; 2) взнесѣши ма 16а, взнесѣтъ 10а, 11б, ѥ взнесѣтъ 16а, 54а, взне|сѣтъ 124б, прѣнесѣжъ 62б; 3) низведѣши 48а, ѥ ѥзведѣ 31а, прѣведѣтъ 40а, прѣведѣжъ 62б; 4) ѡрѣцѣтъ 67б; 5) ѡ|взрѣзѣши 45а, разрѣзѣжъ 138б; 6) пасѣтъ ма 19б, спѣши 15а, 30б; 7) течѣ 52б; 8) процѣтѣ 120а, ѥ процѣтѣжъ 63а; 9) ѥз|водѣмъ 38а; 10) напразѣ 49б; 11) сз|матѣтъ 56б; 12) сз|стрѣжѣтъ 138б; 13) налѣчѣши 138б; 14) лѣжѣтъ (?) 93б; 15) призѣ 43а, призѣмъ 17б, прѣ|зѣмѣтъ 17а, вззѣзѣжѣтъ 55а; 16) живѣши 18б, живѣтъ 57а; 17) поженѣтъ ма 20а, поженѣ 135б, иженѣтъ 32а; 18) прѣстрѣши 76б, прѣстрѣжъ 117а; 19) ѡмрѣтъ 36а; 20) ѡ|взвѣ 96а, не глѣтъ 153а, вззѣглѣ 128а; 21) послѣ 130а; 22) ѥ пожрѣжъ 99б; 23) свнѣши 91а; 24) ѥспѣтъ 66б; 25) ѥ пожѣтъ 55а, взспѣжѣтъ 55а; 26) помѣнѣ 103б, ѥ не помѣнетъ 75а; 27) взскрѣжѣтъ 140а.

Б. i-глаголы

Парадигма а: 1) ѥспѣнѣши ма 13а, ѥспѣнѣ 17а, ѥспѣнѣнѣ 103а; ѥ ѥспѣнѣнѣтъ 63а, ѥспѣнѣнѣтъ 93б—94а; 2) ѥ ѡчѣ|стѣтъ 136б; 3) ѥ прѣсѣдѣши ма 43б, сѣдѣнѣтъ 12а, прѣсѣдѣнѣ ма 44а; 4) да ѡпрѣ|вѣдѣши 44б, не ѡпрѣвѣдѣтъ 126а; 5) да сѣ ѥспрѣвѣнѣтъ 125а, ѥспрѣвѣнѣ ма 15б, не испрѣвѣнѣ 124б; 6) ѥ вѣгѣти 137а; 7) насѣтѣтъ 93а; 8) ѥ смѣрѣтъ 47б; 9) ѥ ѡдѣ|жѣтъ 102б; 10) ѥ ѡмнѣ|жи 70а, ѡмнѣ|житѣ 43а, ѡмнѣ|жѣжѣтъ 84б, ѡмнѣ|жѣжѣтъ 124а; 11) ѡкѣменѣ 133б; 12) ѡвѣжѣ 137а; 13) прѣвлѣжѣнѣ 83б, не прѣвлѣжѣнѣ 83б; 14) ѥзвѣнѣ ма 14б; 15) взсѣгѣнѣ 151а, на|сѣгѣнѣтъ 123б; 16) разрѣшѣнѣ ма 45б; 17) сѣлѣши 47б, bis, не сѣлѣжѣ 16б.

Парадигма б: 1) ѡдѣжѣнѣтъ 10б; 2) взсѣнѣши 54б, ѥ взсѣнѣши 6б, взсѣнѣтъ 12а, 12б, 57а, взсѣнѣ 43а, ѥ прѣсѣнѣ ма 45б, взсѣнѣ сѣ 60б, bis, 91а, ѥ взсѣнѣ сѣ 32а, да прѣсѣнѣ сѣ 101б; 3) вздѣбрѣнѣ 24а, вздѣбрѣнѣ 21а, 83а; 4) сѣ хѣдѣнѣши 45б, похѣдѣнѣтъ 53б, взхѣдѣнѣ 128а, взхѣдѣнѣ 66а, взхѣдѣнѣ 100а, да взхѣдѣнѣ 60а, 131а, да взсѣ|хѣдѣнѣ 130б, взсѣ|хѣдѣнѣ сѣ 85а, взхѣдѣнѣ ма 76а; 5) ѥ ѡвлѣчѣ ма 125а; 6) ѥ ѥсѣдѣнѣтъ 23б; 7) не ѡсѣдѣнѣши 50а, сѣдѣнѣ 92а, ѡсѣдѣнѣ 101б, ѡсѣдѣнѣ 90б; 8) сѣдѣнѣ 103а, разсѣдѣнѣтъ 74б; 9) сѣзвѣнѣнѣтъ 79б; 10) хрѣнѣнѣ 128а, ѥ сѣ|хрѣнѣнѣтъ 100б; 11) хѣнѣнѣ 162б; 12) посрѣдѣнѣ сѣ 142а; 13) да насѣдѣнѣмъ 75б; 14) прѣсѣдѣнѣ сѣ 123б; 15) ѡсѣдѣнѣжѣ сѣ 92б; 16) ѡнѣчѣнѣши 50б, ѡнѣчѣнѣши 64а,

оуничижи 101а; но также ѓничижи 51б; 17) влгодрим та 159б; 18) ѓ стихослобигса 156а; 19) да потрѣвигса 102а, да по|трѣвигса 102а; 20) сзкрѣши 49б, 103а; 21) застѣ|пи та 17а, пристѣ|пи 54а, ѓ не ѡстѣ|пимз 73б; 22) развратѣши 15а, кззкратѣгса 29б, ѓ кззкратѣгса 129а, да кззкратѣгса 29а, 60б, кззкратѣгса 50а, кзз|кратѣгса 50б, да овратѣг ма 111а, да кззкратѣг са 60б; 23) смѣтѣ|са 54б; 24) прѣвѣри 58а; 25) ѓ|мѡбигса 57б; 26) тѡборѣши 79а, сзтѡборѣши 43а, сзтѡборѣ 48б, 124б, не сзтѡборѣ 139а; 27) ни|зѡджиши 124б, полѡжит 14б, полѡжи 21а, ѓ не прилѡжи 36б, ѓ не прилѡжи 67б, да полѡжѣ 67б, 68б, кззлѡжѣ 45а; 28) раздрѣши 23а; 29) кззспрѡци|ши 69а; 30) кззнѡци 66б; 31) ѓмѡбигса 120б, помѡлимса 153а; 32) смѡтрѣши 83б.

Парадигма с: 1) ѓ кззкѣстѣгса 134а, кззкѣсти 19б, 24б, кззкѣ|стѣмз 72б, кззкѣстѣ 43а, 45а, 128а, кзз|кѣстѣгса 61б, кззкѣстѣ са 50б; 2) ѡкрѡпиши ма 44б, 45б; 3) ѓ да крѣпѣгса 26а, ѓ|крѣпѣгса 80б, ѓкрѣпѣ 93а; 4) ѓвѡжѣ 63а; 5) насладѣгса 129а, насладѣгса 94а, насладѣгса 56б; 6) кзз|звесеѣши 17б—18а, весеѣ 93а, кзззвесеѣгса 49б, 102б, кзззвесеѣгса 54а, 94а, да кзззвесеѣгса 77б, да кзз|звесеѣгса 131а, да кзззвесеѣгса 94б, кзззвесеѣгса 53б, 54б, да кзззвесеѣгса 41б, кзззвесеѣмса 55а, кзззвесеѣлѣгса 27б, кзз|звесеѣлѣгса 76б, да кзззвесеѣлѣгса 56б, да кзззвесеѣлѣгса 56а, ѓ кзззвесеѣлѣ са 60а; 7) живѣши нзи 73б, 76б, ѓ живѣгса ѓ 36а, ѓ живѣгса 137а; 8) вѡвѣши 6б, вѡвѣгса 24а, вѡвѣгса 43а; 9) ѓнѡжѣ|гса 57а; 10) ѓкрѡти|ши 80а; 11) ѓ ѓнѡвѣши 94а, ѓ|нѡвѣгса 91б; 12) заградѣ 100б; 13) не кззгласѣ 105а; 14) ѓ|лѡкѣгса 124б, оу|лѡкѣгса 86а; 15) да не намастѣ 125а; 16) ѓ ѓдѡлѣгса 102а; 17) ѓ ѡмзстѣ 136б; 18) ѓ кззѣг 137а; 19) ѓ ѓзмѣнѡгса 91а; 20) не кззмѣнѣ 26а; 21) ѓчинѣ 139а; 22) не лишѣ 76б, лишѣ 19б; 23) прѡстѣгса 150б; 24) расстѣши 48б, да не расстѣши 49а, 50а, 53б; ѓ не расстѣ 70а; 25) мрзѣ|гѣгса 137а; 26) да ѓтѡврзѣдѣгса 80а; 27) прѣгрѣ|шѣ 28б; 28) оуцѣстѣши 54а, ѓ оуцѣстѣ 70а; но и: да не оуцѣ|стѣгса 102а; 29) поклонѣшиса 74а, не прѣклонѣгса 92б, прѣклонѣгса 10а, ѓ поклонѣгса 62б, ѓ да| поклонѣгса 136б; 30) ѓвѣгса 21а, ѓвѣгса 76а, ѓвѣг ма са 13б; 31) напойши 30б; 32) ѓ погвѣ|ши 126б, погвѣѣ 86а, да не погвѣгса 97б; 33) не наѓчѣгса 139б, поѓчѣгса 30а, поѓчѣгса 62а; 34) да не потѡпи 59а; 35) кззсрѣгса 139б; 36) да пострѣдѣгса 61б, пострѣдѣгса 62а, пострѣдѣлѣгса 102б, пострѣдѣлѣгса 142а, да пострѣдѣлѣгса 60б, да пострѣдѣлѣгса 111а; 37) пощѣдѣ 62б; 38) не ѓвѡиши 83б, ѓ ѓвѡжѣгса 54б; 39) пострѡгѣгса 54б; 40) да не прѣмзчѣши 30а, прѣмзчѣгса 43а; 41) ѓ сѣдѣ 24а; 42) кзз|згѡрѣгса 43а, раз|гѡрѣгса 34а; 43) ѓ дрѣши ма 6а, оузрѣ 45б.

Соответствие между распределением акцентных типов глагола в Пс.-Кипр. и в О письм. может служить исходным пунктом для установления распределения их в восточноболгарских диалектах в период до XV в.

Восточноболгарские тексты XV в.
 («Диалектная система писца Гавриила»)

В XV в. северо-восток болгарской языковой области уже, по-видимому, потерял способность 1-го лица ед. числа презенса к энклизе.

В группе писанных в Молдавии памятников XV в., акцентная система которых представляет значительное единство (система писца Гавриила)⁹ и должна быть отнесена по ряду черт к области северо-восточных болгарских диалектов, система акцентных парадигм представлена следующими типами:

Sing.	Pl.
a) 1-е лицо вѣдѣж	вѣдема
2-е лицо вѣдѣши	вѣдете
3-е лицо вѣдѣтъ	вѣдѣтъ
b) 1-е лицо мѡбѣж	мѡбема
2-е лицо мѡбѣши	мѡбете
3-е лицо мѡбѣтъ	мѡбѣтъ
c) 1-е лицо неѣж (соотв.: принѣж и т. п.)	неѣма
2-е лицо неѣши	неѣте
3-е лицо неѣтъ	неѣтъ

1-е лицо ед. числа без энклитик

Парадигма а: 1) вѣдѣж Сб. № 19, 25б, 168а; 2) гѣвѣла Ев. Григ. 181а; 3) не оѣмѣж Ев. Григ. 259^{bis} б; 4) вѣдѣла Сб. № 19, 36а; 5) оѣмѣла Сб. № 19, 36а; 6) оѣкѡра Сб. № 19, 36а; 7) проѣвѣла Сб. № 19, 161б; и др.

Парадигма б: 1) прѣидѣж Вас. Вел. 45а; 2) хѡцѣж Сб. № 19, 15а, 55а, не хѡцѣж ib. 36б, bis; 3) не мѡбѣж Сб. № 19, 158а; 4) прикѡбѣж Сб. № 19, 50б; 5) поѣоѣжж Сб. № 19, 155а; 6) разѡра Сб. № 19, 33а; 7) прохѡжж Сб. № 19, 3а; 8) наѡбѣж Ням.-Сб. № 20, Яц., 25; 9) погрѣвѣла Сб. № 19, 4б.

Парадигма с: 1) рѣкѣж Сб. № 20, 66б, Ев. Григ., 32а, я рѣкѣж Ев. Григ., 171а; 2) грѣдѣж Ев. Григ. 244а, 270б; 3) чѣтѣж Ев. Григ. 246б; 4) при-зѡкѣж Ням. Сб. № 20, Кал. 25; 5) прѣтѣма Сб. № 19, 36а; 6) вѣтѣма Сб. № 19, 163б; 7) вѣзѣщѣж вѡ Сб. № 19, 30б; и др.

1-е лицо ед. числа с энклитиками

Глаголы на -е-

Парадигма а: 1) я вѣрѣщѣма Сб. № 19, 168а; 2) плѣчѣма Ням. Сб. № 20, Кал. 27; 3) не ѡкрѣжѣма Ев. Григ. 119б; 4) не покрѣжѣма Сб. № 19, 168а; и др.

Парадигма б: 1) я прѣтѣкнѣма Сб. № 19, 158а; 2) покрѣжѣти Сб. № 19, 33б; 3) прикѡбнѣма Вас. Вел., 45а.

Парадигма с: 1) вѣтѣкѣма Ням. Сб. № 20, Яц. 25; 2) попѣкѣма Сб. № 19, 168а; 3) рѣкѣж же Сб. № 20, 41б.

⁹ Краткую акцентологическую характеристику этих текстов и их перечень см. в работе: В. А. Дыбо, В. А. Кучкин, Болгарский текст в русской Минее XVI в., «Byzantinobulgarica», II, Sofia, 1966. При пользовании этой статьей необходимо убирать знак ударения над *ѣ* в словах, где (ошибочно) напечатано два знака ударения.

Глаголы на *-i-*

В этой группе глаголов сохранились формы акцентной парадигмы с, акцентовка которых восходит к акцентовке, основанной на законе Васильева-Долобоко (ср. выше, стр. 89).

Парадигма *b*: 1) не *кзвѣраѣжѣа* Сб. № 19, 163б; 2) *псмѣлаа* Сб. № 19, 169а; 3) *трѣдѣа* Сб. № 20, 193а; 4) *й сѣтѣбѣра* ка Ев. Григ., 6б; 5) *й по-лѣдѣжѣти* Сб. № 19, 163б; 6) *бѣгодѣрѣа* Сб. № 19, 159а; 7) *пкѣшѣа* Сб. № 19, 53б (? Первичная акцентная парадигма последнего слова не ясна).

Парадигма *c*: 1) *й ѣкѣлаа* Вас. Вел., 45а, Ев. Григ., 263б, *й да не ѣкѣлаа* Сб. № 19, 165а; 2) *пкѣснаа* Ев. Григ., 5б, Ням. Сб. № 106, Яц. 6, не *пкѣснаа* Ням. Сб. № 106, Яц. 5; 3) *оуѣрѣжѣа* Ев. Григ., 173б; 4) *тѣшѣа* Вас. Вел. 48а.

Формы 2, 3-го лица ед. числа и 1, 2-го лица мн. числа не отличаются от аналогичных форм разобранных выше памятник¹⁰.

Парадигма *a*: 1) *й сѣдѣши* Сб. № 19, 198б; 2) *пѣдѣа* Сб. № 20, 148б, 158а, не *пѣдѣ* Ев. Григ., 23б, *кзпѣдѣа* Сб. № 20, 148б, 158а; 3) *дѣтѣнешѣ* Сб. № 19, 138а, *ѡдѣтѣа* ib, 129б; 4) *вѣдѣа* Сб. № 19, 210б, *вѣдѣ* Сб. № 20, 120а, *вѣдѣ* Ев. Григ., 5^{bis} а, 7б, *сѣвѣдѣа* Ев. Григ., 4б, 6а; 5) *оуѣрѣдѣа* Ев. Григ., 251а, *оуѣрѣдѣа* Сб. № 20, 139а; 6) *ѡвѣрѣтѣа* Сб. № 20, 117а(?); 7) не *оуѣрѣнетѣ* Вас. Вел., 189б; 8) *кзпѣдѣнешѣ* Сб. № 19, 156а, 164а; 9) *ѡрѣнешѣ* Сб. № 19, 223б; 10) *наѣкѣнешѣ* Сб. № 19, 136б, *наѣкѣнемѣ* Сб. № 19, 132б; и др.

Парадигма *b*: 1) *мѡжѣши* Ев. Григ., 103а, *мѡжѣ* Ев. Григ., 7б; 2) *прѣидѣ* Ев. Григ. 112б; 3) *прѣимѣ* Ев. Григ., 4б, не *ѡимѣтѣа* Ев. Григ., 166а; 4) *кзѣѣчетѣа* Ев. Григ., 169а; 5) *хѡѣѣ* Ев. Григ., 101а; 6) *нарѣчетѣ* Сб. № 19, 132а (4 раза), *ѡрѣчетѣ* Ев. Григ., 1а; 7) *пкѡкѣтѣа* Сб. № 20, 123а, 144а, *дѡпкѡкѣтѣа* Ев. Григ., 2а; 8) *прѣимѣнемѣ* Вас. Вел., 146б; 9) *кѡснѣа* Сб. № 19, 30а; 10) *прѣимѣнетѣ* Сб. № 19, 418а; 11) *прѣтрѣгнѣши* Сб. № 19, 30б; и др.

Парадигма *c*: 1) *рѣчѣши* Ев. Григ., 2а, *рѣчѣтѣ* Вас. Вел., 58б; 2) *печѣшиа* Ев. Григ., 166а, *печѣтѣа* Вас. Вел., 51а, *bis*, Ев. Григ., 14а, *печѣтѣа* Ев. Григ., 171б; 3) *прѣнесѣши* Ев. Григ., 8а, *прѣнесѣтѣ* Вас. Вел., 48а, Ев. Григ., 264б, *кзвнесѣтѣа* Ев. Григ., 178а, *прѣнесѣте* Ев. Григ., 265б, *кзвнесѣте* Ев. Григ., 245а; 4) *грѣдѣши* Ев. Григ. 5^{bis} а, 174а, *грѣдѣтѣ* Вас. Вел., 60а, *грѣдѣтѣ* ко Ев. Григ., 264б; 5) *сѣвмѡдѣши* Ев. Григ., 270б, *сѣвмѡдѣтѣ* Вас. Вел., 49б, Ев. Григ., 243б; 6) *ѡвѣрѣзѣтѣа* Ев. Григ., 14б, *ѡвѣрѣзѣмѣ* Сб. № 19, 119а; 7) *цѣкѣтѣа* Вас. Вел., 74а; 8) *рѡстѣтѣа* Вас. Вел., 28б, *кзврѡстѣ* Ев. Григ., 32б; 9) *низкѣдѣшиа* Ев. Григ., 163б, *й кѣдѣтѣ* Ев. Григ., 283б, *кзвкѣдѣтѣа* Вас. Вел., 47б; 10) не *врѣжѣши* ми Ев. Григ., 166а, *врѣжѣ* Ев. Григ., 13б, не *врѣжѣтѣа* Ев. Григ., 184а; 11) *чѣтѣши* Ев. Григ. 165а, *чѣтѣтѣа* Ев. Григ., 294³, 295³; 12) *пѡметѣтѣа* Ев. Григ., 181а; 13) *ѡпѣтѣа* Ев. Григ., 4б, *ѡпѣтѣа* Ев. Григ., 251а;

¹⁰ В *i-* глаголах наблюдаются, однако, значительные колебания в выборе акцентного типа. В данной статье примеры глаголов на *-i-* не приводятся.

14) зѡкѣма Вас. Вел., 26а; 15) ѡвѣчѣма Вас. Вел., 159б; 16) жикѣши Ев. Григ., 220б, жикѣта Сб. № 20, 151а, ѡжикѣта Ев. Григ., 255а; 17) раздерѣта Ев. Григ., 145а; 18) свѣрѣта Ев. Григ., 256а; 19) казнѣши еа Ев. Григ., 9а, казнѣта Ев. Григ., 56б, за|казнѣта Сб. № 20, 133а, за|казнѣта Сб. № 20, 133а; 20) помѣнѣши Вас. Вел., 101б, 141б, вз|спомѣма Вас. Вел., 44а; и др.

В 3-м лице мн. числа в глаголах акцентной парадигмы с наблюдается регулярная оттяжка ударения на основу при обычном ударении остальных типов, ср.:

Парадигма а: 1) бѣдѣ Ев. Григ., 5^{bis} а, 7а; 2) взстѣмѣ Ев. Григ., 23а; 3) ѡ пѣдѣта Ев. Григ., 200а, взпѣдѣта Сб. № 20, 94б, 131а; 4) крѣдѣта Сб. № 19, 33а; и др.

Парадигма б: 1) да на|кажѣта Сб. № 20, 94а.

Парадигма с: 1) рѣкѣта Ев. Григ., 187а, рѣкѣ Ев. Григ., 15б, 147б, ѡ на|рѣкѣ Ев. Григ., 4б, на|рѣкѣта Сб. № 20, 67б, 128б, на|рѣкѣта Ев. Григ., 7а; 2) пѣкѣта Сб. № 20, 67б; 3) про|нѣ|сѣта Ев. Григ., 147б, про|нѣ|сѣт же еа Сб. № 19, 66б; 4) грѣдѣта Ев. Григ., 208б, 224б, грѣдѣ Ев. Григ., 251б; 5) свѣмѣдѣта Ев. Григ., 266а; 6) при|кѣдѣт Ев. Григ., 170б; 7) при|зѣвѣта Вас. Вел., 37б, вз|[з]ѡкѣта Ев. Григ., 178а; 8) жи|вѣта Сб. № 20, 150б, да жи|вѣ Сб. № 20, 33а; 9) свѣрѣта Вас. Вел., 25а, Ев. Григ., 188а, ѡ свѣрѣта Вас. Вел., 229б, свѣрѣ Ев. Григ., 33а; 10) ѡждѣмѣта Ев. Григ., 266а, ѡждѣмѣт вз| Ев. Григ., 266б; 11) тѣкѣта Сб. № 19, 84а, тѣкѣт же Вас. Вел., 268а, ѡтѣкѣ Ев. Григ., 241б, ѡ потѣкѣт Сб. № 19, 202б, сѣтѣкѣта Вас. Вел., 25а; 12) прѣдѣта Ев. Григ., 171б, прѣдѣ Ев. Григ., 13б; 13) не по|пѣрѣ Ев. Григ., 14б; 14) про|сѣвѣта Ев. Григ., 33а; и др.

Причины этой ретракции остаются неясными, хотя акцентное отличие 3-го лица мн. числа от остальных форм до падения интонаций легко обнаружить: это единственная форма в данной группе глаголов, имевшая долгое новоакцентированное окончание. Однако связать это передвижение акцента с какими-либо акцентными явлениями в других областях языковой системы, отразившейся в настоящих текстах, пока не удастся.

Накоренное ударение 3-го лица мн. числа тематических глаголов акцентной парадигмы с иногда переносится на другие формы, чаще всего на формы 2-го лица мн. числа и 3-го лица ед. числа: ма зѡкѣте Ев. Григ., 149а; ѡвѣчѣте еа ив., 13б, ѡвѣчѣте еа ив., 214а; не чѣтете ив., 246б; свѣмѣдете ив., 265а и взнѣсѣте Ев. Григ., 189б; свѣмѣдет ив., 257а, свѣмѣдет еа ив., 145б; не ѡрѣчѣте Вас. Вел., 51б. Реже наблюдается обратное влияние: ѡ рекѣ Ев. Григ., 7а; рѣстѣ ив., 13б, 171б; жикѣта ив., 168а; сзжѣтѣта Вас. Вел., 38а.

Наряду с этими тремя акцентными типами (точнее двумя, так как парадигмы а и б различались лишь по происхождению) в системе данных памятников представлен также полностью окситонированный тип

1-е лицо Sing.: 1) послѣ Ев. Григ., 25б, 260б, 266б, 267а, по|слѣ ив., 214а; 2) распѣ Ев. Григ., 276а; 3) не по|жрѣ Ням. сб. № 106, Яп. 5 4) вззмѣта Сб. № 19, 169а.

2-е лицо Sing.: жѣнѣши Ев. Григ., 193а.

3-е лицо Sing.: 1) [по]слѣтъ Ев. Григ., 264а; 2) да взмѣтъ Ев. Григ., 279б, ѡ вз|змѣтъ ѡв., 154б; 3) ѡ начѣтъ Ев. Григ., 173а; 4) ѡ сѣмрѣтъ Ев. Григ., 255а.

1-е лицо pl.: да не сѣмрѣма Ням. сб. № 20, Кал. 7.

3-е лицо pl.: 1) прѣпнѣтъ Ев. Григ., 72б; 2) вззмѣтъ та Ев. Григ. 5^{bis} б, ѡ вззмѣтъ ѡ ѡв., 277б, ѡ взз|мѣтъ ѡв., 278б. Но также и ни жѣнѣтъ ѡв., 171б.

Происхождение этой акцентовки вторично: она возникла в результате контаминации парадигм *b* (*вззмѣж: *вѣзмѣтъ, *жѣнѣж: *жѣнѣтъ) и *c* (*слѣспнѣж: *слѣспнѣтъ) у глаголов с редуцированными гласными в корне¹¹.

Восточноболгарские «тырновские» тексты XIII—XIV вв.

Вероятно, энклизу формы 1-го лица ед. числа презенса, так же как и систему, построенную на законе Васильева-Долобко, в XIV в. сохраняли диалекты, отраженные в текстах, локализуемых в районе Тырнова, но материал по ударению этой формы незначителен. Он восходит к разным текстам. Наиболее надежны следующие формы, образующие систему:

Без энклитики

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
кззсѣдѣж Толк. пс., 76б.	не ѡдоу Мин. № 678, 509а.	кѣзкедѣж Толк. пс., 100а.
ѡ вѣдѣж Зогр. сб. № 103, 373.	мимѡдѣж Зогр. сб. № 103, 334.	
прѣдѣслѣтѣнѣж Нор. пс. 16а.	не мѡгѣж Мин. № 678, 527б, bis.	не слышѣж ¹² Зогр. сб. № 103, 373.
ѡ вѣдѣж Зогр. сб. № 103, 334.	ѡ ѡѡмѣж Зогр. сб. № 103, 334.	
не кзкоуѣта Мин. № 678, 517б.	слѣтѣбрѣа Зогр. сб. № 103, 334.	
	зациѡнѣж кѡ Зогр. сб. № 103, 334.	

Неясное отклонение в Нор. пс.: да ѡзкѣслѣта 25а, может быть, связано с просодическими особенностями повелительного наклонения и призывающих к нему оборотов.

¹¹ Следы различения этих типов см. в системах рассмотренных выше памятников; не вѣзмѣши, вѣзмѣтъ (О письм.); вѣзме, вѣзмѣж (Пс. Кипр.) и сѣмрѣши, прѣслѣтѣсе (О письм.), слѣрѣтъ, прѣслѣрѣши, прѣслѣрѣж (Пс. Кипр.). Первичное распределение этих типов, по-видимому, сохранилось в XIV в. в западноболгарских диалектах: ср. вѣзме, сѣжметса, пѣсла, нѣчѣне, слѣжѣши; но: прѣкнѣ, слѣрѣтѣ, прѣслѣ, нежрѣтса (Поуч. Ис. Сир.). См. подробнее: В. А. Дыбов, Акцентные типы презенса глаголов с ѡ, ѡ в корне в праславянском (в печати).

¹² Для определения акцентной парадигмы этого глагола ср. слышѣши О письм., 48а, не слышѣши ѡ ѡв., 52б, слышѣтъ ѡв., 39б, слышѣтса ѡв., 10б, не слышѣтъ ѡ ѡв., 54а, bis., сѣслѣшѣтъ ѡв., 47б; но в Пс. Кипр. акцентная парадигма *a*: слѣшѣши 47б, bis, не слышѣжѣа 16б. Форма ѡ покажѣ ти Зогр. сб. № 103, 373 — скорее всего опечатка: оксия вместо спиритуса.

С энклитикой

a	c	b
й покрѣж та Зогр. сб. № 103, 334.	пѣста еа Мин. № 678, 515б.	ѣпѣа еа Мин. № 678, 533б.
да вѣждаж та Зогр. сб. № 103, 334.	пѣмж еа Мин. № 678, 509б.	пожрж тѣ Лих., 9б.
й ѣзбѣаа тѣ Зогр. сб. № 103, 374.	и поглѣмла еа Нор. пс., 199а.	кз'зѣжж жѣ Толк. пс., 88б.
ѣбѣа та Нор. пс., 21б.		рѣжж тѣ Воскр. ев. 5а.
бѣштж еи Нор. пс., 187б		

Ср. подобную же акцентовку формы 1-го лица ед. числа презенса в Псалтыри конца XIV в. (Пс. № 309), в акцентологическом отношении несколько обособленной: (без энклитики) пѣмѣж 46а; пѣжрж 52б — (с энклитикой) кз'зѣжж тѣ 116б, 138б; ѣзчѣтж ѣ 134б; но здесь же: кз'зѣжж 27а — призѣжж тѣ 98б; не ѣмржж 116а.

*

В современном болгарском языке имеется две системы ударения презенса.

I. Система, охватывающая северо-восточную часть болгарской языковой области (мизийские и часть балканских говоров)¹³ и характеризующаяся ударным окончанием 1-го лица ед. числа в одном из двух акцентных типов.

A. Тип с накоренным ударением, восходящий к праславянским акцентным парадигмам a и b:

	Ед. число			
1-е лицо	бѣда	мѣга	бѣя	хѣя
2-е лицо	бѣдѣи	мѣжѣи	бѣѣи	хѣдѣи
3-е лицо	бѣде	мѣже	бѣѣи	хѣди
	Мн. число			
1-е лицо	бѣдем	мѣжем	бѣѣим	хѣдим
2-е лицо	бѣдете	мѣжете	бѣѣите	хѣдите
3-е лицо	бѣдат	мѣгат	бѣѣят	хѣдят

B. Тип с ударением на окончании во всех формах, восходящий к праславянской акцентной парадигме c:

	Ед. число		Мн. число	
1-е лицо	плѣтѣ	грѣшѣ	плѣтѣм	грѣшѣм
2-е лицо	плѣтѣи	грѣшѣи	плѣтѣте	грѣшѣте
3-е лицо	плѣтѣ	грѣшѣ	плѣтѣт	грѣшѣт

Приставочные глаголы сохраняют тип ударения бесприставочных.

II. Система, отличающаяся от первой накоренным ударением формы 1-го лица ед. числа бесприставочных глаголов и оттяжкой ударения в этой форме на приставку в приставочных глаголах, независимо от акцентуации других форм презенса. Эта система охватывает западные диалекты (за исключением тех говоров, в которых юсовое окончание 1-го лица ед.

¹³ Из рассмотрения исключаются говоры, в которых старое юсовое (ж) окончание 1-го лица ед. числа устранено и заменено окончанием -м.

числа презенса устранено и заменено окончанием -м), юго-восточные и часть северо-восточных (балканских) говоров.

Если отвлечься от частных случаев, то данная система может быть представлена также двумя типами.

А. Тип, восходящий к праславянским акцентным парадигмам *a* и *b*:

	Ед. число		Мн. число	
1-е лицо	<i>хбдѧ</i>	<i>нахбодѧ</i>	<i>хбдим</i>	<i>нахбдим</i>
2-е лицо	<i>хбдиши</i>	<i>нахбдиши</i>	<i>хбдите</i>	<i>нахбдите</i>
3-е лицо	<i>хбди</i>	<i>нахбди</i>	<i>хбдят</i>	<i>нахбдят</i>

Б. Тип, восходящий к праславянской акцентной парадигме *c*¹⁴:

	Ед. число		Мн. число	
1-е лицо	<i>плѣта</i>	<i>зѧплѣта</i>	<i>плѣтѣм</i>	<i>зѧплѣтѣм</i>
2-е лицо	<i>плѣтеши</i>	<i>зѧплѣтеши</i>	<i>плѣтеѣ</i>	<i>зѧплѣтеѣ</i>
3-е лицо	<i>плѣтѣ</i>	<i>зѧплѣтѣ</i>	<i>плѣтѣт</i>	<i>зѧплѣтѣт</i>

Приведенный выше материал памятников показывает, что первая система является, очевидно, развитием ситуации, сложившейся в диалектах, отраженных в памятниках «Киприановского» и «Молдавского» циклов, с прогрессирующей ликвидацией подвижности ударения и закреплением ударения формы 1-го лица ед. числа презенса в акцентном типе Б на рефлексе юсового окончания. Этот процесс, вероятно, происходил под давлением комплекса факторов: ударения возвратных форм и вообще форм с местоименной энклитикой, ударения вторичной «окситонированной» парадигмы и ударения на теме в остальных формах парадигмы *c*, противопоставленного накоренному ударению глаголов, восходящих к праславянским парадигмам *a* и *b*.

Вторая система представляет собой продолжение более старой системы, отраженной в рукописях предположительно македонского цикла и сохранявшейся еще в «тырновских» текстах и (в значительно продвинутом к современному состоянию виде) в западноболгарском тексте Поуч. Ис. Сир. (1381). Диалекты этого рода не пережили процесса ликвидации системы энклизы формы 1-го лица ед. числа презенса. Они, напротив, распространили перенос ударения на приставку на все глаголы I и II спряжений, т. е. и на глаголы акцентных парадигм *a* и *b*.

Конкретная история, конечно, должна была быть более сложной в том смысле, что определенные диалекты, сохранявшие «энклизу» в XIV—XV вв., могли утратить ее в дальнейшем (иным или тем же путем), как это наблюдается в памятниках «молдавского» цикла (система Гавриила)¹⁵.

Таким образом, анализ акцентных систем среднеболгарских текстов доказывает первичность энклизы 1-го лица ед. числа презенса глаголов акцентной парадигмы *c* в болгарском, которая была в северо-восточных диалектах первоначально устранена с сохранением накоренного ударения этой формы и лишь затем данная форма получила конечное ударение. Этот процесс, вероятно, распространялся с северо-востока и лишь постепенно охватил почти всю область мизийских и балканских говоров.

¹⁴ В западноболгарских диалектах *i*-глаголы перешли в тип А.

¹⁵ Следует отметить, что изученные восточноболгарские тексты не отражают, видимо, акцентных систем болгарских говоров юго-восточной группы: в них отсутствуют некоторые черты этих говоров, которые следует считать архаизмом (например, энклиза формы 2-го лица ед. числа императива). Акцентовка предположительно македонских памятников (О письм, и подобные) примыкает в данном отношении к акцентовке этих текстов.

Литература

(принятые в статье сокращения названий)

Вас. Вел. — Слова постыжские Василия Великого. Среднеболгарская рукопись 1441 г. — Государственный Исторический музей (Москва), собрание А. И. Хлудова, № 8 по: А. Попов, Первое прибавление к описанию рукописей А. И. Хлудова, М., 1875.

Воскр. ев. — «Евангелие тетр» (XIII в.?). Среднеболгарская рукопись. — Библиотека АН СССР (Ленинград). Отделение рукописей, шифр: 11.9.7.

Дюн. Ареоп. — Сочинения Дюнонисия Ареопажита. Среднеболгарская рукопись конца XIV — начала XV в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 173, № 144.

Ев. Григ. — Евангелие конца XV в. (ошибочно относимое к XIV в.). Среднеболгарская рукопись. — Одесская государственная библиотека им. М. Горького, собрание В. И. Григоровича, № 27.

Зогр. сб. № 103 — Зографский сборник житий и слов. — Библиотека Афонского Зографского монастыря, № 103, II г. 6. Ряд отрывков издан в кн.: И. Иванов, Болгарски старини из Македония, София, 1931; цифры при примерах обозначают страницы этой книги (Среднеболгарский текст второй половины XIV в.).

Леств. — Лествица, среднеболгарская рукопись конца XIV — начала XV в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 173, № 152.

Лих. — «Пандекты Никона Черногорца». Среднеболгарская рукопись середины XIV в. из собрания Н. П. Лихачева. — Ленинградское отделение Института истории АН СССР, к. 238.

Мин. № 678 — Сборная Минея-четыре на поль, XVI в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 304, № 678. В статье приводятся примеры из жития Евпраксии Олимпийской (лл. 503а — 534б) — текста, относящегося к концу XIV в. и являющегося копией среднеболгарского текста тырновской акцентуационной и орфографической системы (см.: В. А. Дыбо, В. А. Кучкин, Болгарский текст в русской минее XVI в., «Byzantinobulgarica», II, Sofia, 1966).

Нор. пс. — Норовская псалтырь, среднеболгарская псалтырь XIII (XIV?) в., — Государственный Исторический музей (Москва), собрание А. С. Уварова, № 285.

Ням. сб. № 20 Яц. — Сборник № 20 1441 г. Нямецкого монастыря. Цит. по кн.: А. И. Яцимирский, Из истории славянской проповеди в Молдавии, «Памятники древней письменности и искусства», CLXIII, СПб., 1906.

Ням. сб. № 20 Кал. — Сборник № 20 1441 г. Нямецкого монастыря. Цитируется по описанию Калужьяцкого в Сб. ОРЯС, т. 83, 1907.

Ням. сб. № 106 Яц. — Сборник № 106 Нямецкого монастыря 1437 г. Цитируется по кн.: А. И. Яцимирский, Из истории славянской проповеди в Молдавии.

О письм. — Книга Константина философа «О письменех», цит. по кн.: И. Ягич, Рассуждения южнославянской и русской старшны о церковно-славянском языке, «Исследования по русскому языку», I, СПб., 1885—1895; цифры обозначают листы рукописи. По утверждению И. В. Ягича, рукопись относится к началу XV в. В. Мошин датирует второй четвертью XV в. (см.: В. Мошин, Палеографический альбом на южнославянского кирилско писмо, Скопје, 1966, стр. 155). В последнем случае представляет собой, вероятно, очень точную копию с текста XV в.

Поуч. Ис. Сир. — Поучения Исаака Сирина, западноболгарская рукопись 1381 г. (1-й почерк). — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 304, № 172.

Пс. № 309 — Псалтырь, среднеболгарская рукопись конца XIV в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 304, № 309.

Пс. Кипр. — Псалтырь Киприана, среднеболгарский текст конца XIV — начала XV в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 173, № 142.

Толк. пс. — Толкование псалмов, восточноболгарская рукопись второй половины XIV в. — Всесоюзная государственная библиотека им. В. И. Ленина, Отдел рукописей, ф. 173, № 48.

И. И. РЕВЗИН

ТАК НАЗЫВАЕМОЕ «НЕМАРКИРОВАННОЕ МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО» В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В недавно вышедшем томе «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка» (далее сокращенно: МиСРЛЯ) обращается внимание на довольно широкое распространение в современном русском литературном языке употребления формы множественного числа для случаев, когда имеется в виду явно одно лицо или же число лиц совершенно несущественно, например: *В вагоне у нас новые пассажиры: молодая женщина с чемоданом*¹. Авторы называют такую форму множественного числа немаркированной. С таким словоупотреблением трудно согласиться. Термин «маркированный», введенный пражцами, тесно связан с понятием привативной оппозиции. Маркированность множественного числа — в терминах пражцев — означает, что оппозиция между единственным и множественным числом есть оппозиция привативная, причем значение единственного числа шире значения множественного: единственное число обозначает как один предмет, так и много, в то время как множественное число может означать лишь множество предметов.

Наблюдения, сделанные в МиСРЛЯ (а также аналогичные наблюдения Ф. Мико, сделанные для словацкого языка²), показывают, в сущности, что формулируемая обычно оппозиция множественность — единственность (или расчлененность — нерасчлененность) не есть оппозиция привативная.

Если мы желаем сохранить систему противопоставлений пражцев, оказавшуюся весьма плодотворной при описании достаточно большого числа фактов³, то в принципе мы можем идти двумя путями: а) признать противопоставление единственного и множественного числа эквивалентным и отбросить понятие маркированности; б) построить другую систему противопоставлений, при которой предыдущее описание сохраняется в качестве частного случая. В данной заметке мы покажем возможность, связанные со вторым путем.

Прежде всего необходимо сделать несколько общетеоретических замечаний.

1. В современной фонологии плодотворно преодолевается точка зрения, согласно которой следует постулировать лишь противопоставления по дифференциальным признакам и целиком игнорировать избыточные про-

¹ «Морфология и синтаксис современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 159.

² Fr. Miko, *Rod, číslo a pád podstatných mien*, Bratislava, 1962, стр. 69.

³ См.: R. Jakobson, *Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre*, TCLP, VI; его же, *Zur Struktur des russischen Verbums*, «A Prague school reader in linguistics, compiled by J. Vachek», Bloomington, 1964, стр. 347—359. О дальнейшем развитии и усовершенствовании этой теории см.: А. В. Исаченко, *О грамматическом значении*, ВЯ, 1961, 1; М. Докулil, *K otázce morfoložických protikladů*, SaS, 1958, 2; его же, *K вопросу о морфологической категории*, ВЯ, 1967, 6; Н. Кřižková, *Pojetí neutralizace v morfoložii*, SaS, 1965, 1.

второстепенности. Так, противопоставление напряженности — ненапряженности согласных в русском языке, которое, вообще говоря, избыточно, так как оно связано с противопоставлением глухости — звонкости, оканчивается весьма существенным в шепотной речи, где только по нему различаются глухие и звонкие.

Это означает, что вовсе необязательно стремиться к минимальной системе противопоставлений. В частности, имея всего два объекта, а именно (в нашем случае) единственное и множественное число, вовсе необязательно строить ровно одно противопоставление. Вполне допустимо противопоставлять эти объекты по разным критериям, может быть, и избыточным для их идентификации, но зато могущим объяснить некоторые важные употребления.

2. Часто понятие маркированности связывается с понятием нейтрализации. Это, вообще говоря, необязательно: как мы уже указывали, «маркированность» связана прежде всего с привативностью оппозиции. Нейтрализация, т. е. снятие — в определенных контекстных условиях — некоторого противопоставления, необязательно должна влиять на маркированность. Стройность теории не нарушается, если считать, что: а) немаркированным в противопоставлении А/не-А является по определению член, могущий иметь оба значения (как А, так и не-А), а маркированным является по определению член, имеющий только значение А; б) определенная таким образом маркированность не меняется в зависимости от того, какой член выступает при нейтрализации противопоставления.

3. Поскольку немаркированный член имеет оба значения, то можно представить его как совмещение двух грамматических омонимов и разграничить эти омонимы.

Исходя из предложенных принципов, мы хотим ввести теперь систему противопоставлений единственного и множественного числа, которая, как кажется, объясняет факты, приведенные в МиСРЛЯ.

Прежде всего нам для дальнейшего необходимо разграничить следующие три понятия: а) грамматические категории единственного числа и множественного числа как совокупности слов⁴, определяемые формальными критериями (включая сюда согласовательные свойства); в этом случае мы будем употреблять обычные сокращения: ед. ч. и мн. ч.; б) значения, приписываемые каждой из этих категорий (в этом случае мы будем пользоваться латинскими терминами *singularis* и *pluralis*) и в) семантические признаки, конституирующие каждое из этих значений. Обычно два последних понятия не разграничиваются применительно к числу⁵, так как принимается, что каждое значение конституируется ровно одним признаком.

Мы будем считать, что значения *singularis* и *pluralis* образуются на основе не одного бинарного противопоставления, а по крайней мере двух: а) множественности (маркированный признак) и немножественности; б) неопределенности (маркированный признак) и определенности.

Следует заметить, что неопределенность, связанная со значением *pluralis*, уже отмечалась исследователями. Так, А. В. Исаченко пишет: «... форма множественного числа выражает некоторое неопределенное множество»⁶. Далее, к сожалению, А. В. Исаченко почему-то считает на этом

⁴ О понимании категории как множества см.: И. И. Р е в з и н, *Метод моделирования и типология славянских языков*, М., 1967.

⁵ Ср., однако, справедливое замечание В. В. Виноградова: «категория числа у имен существительных не исчерпывается соотносительностью форм единственного и множественного чисел в склонении и значениями единичности и множественности соответствующих предметов» (В. В. В и н о г р а д о в, *Современный русский язык*, II, 1938, стр. 90).

⁶ А. В. И с а ч е н к о, *Грамматический строй русского языка в сопоставлении с словацким*, Братислава, 1954, стр. 102.

основании, что формы множественного числа семантически связаны с «общим значением слова, а не с его единичным, конкретным значением»⁷.

Верно нащупав неопределенность как важный компонент значения pluralis, А. В. Исаченко здесь уходит от языковых фактов на путь сомнительных общих рассуждений о конкретности — абстрактности, единичности — всеобщности. Можно, наоборот, привести большое число фактов, свидетельствующих о большей конкретности значения pluralis (ср. *свободы, красоты, а также народные демократии* вместо *страны народной демократии*); ср. замечание В. В. Виноградова о том, что «конкретизация и индивидуализация отвлеченных понятий, сопровождающаяся возникновением новых их значений, ведет к тому, что соответствующие слова в отдельных значениях начинают образовывать и формы множественного числа»⁸.

Дело не в конкретности — абстрактности, а именно в неопределенности (то, что неопределенность никоим образом не связана с конкретностью, подтверждается употреблением неопределенного артикля при именах конкретных в западноевропейских языках и, наоборот, весьма ограниченным его употреблением с именами абстрактными).

Любопытны также наблюдения, сделанные Е. В. Падучевой⁹. Она приводит фразу, которая фонетически может быть представлена как [там ест' балóтъ], а понята как «там есть болото» или «там есть болота» и замечает: «Совершенно не обязательной реакцией на эту фразу является вопрос: „Одно болото или несколько?“. В большинстве ситуаций это будет для слушателя несущественно»¹⁰. Действительно, приведен пример, где противопоставление по множественности — немножественности снято. Однако следует заметить, что здесь чрезвычайно сильно значение существования, которое является важным проявлением неопределенности в западноевропейских языках, ср. немецкий перевод *Dort gibt es ei nen Sumpf* (или *dort gibt es Sümpfe*). Лингвистическое значение существования не совпадает с квантором существования в формализованных языках. Последний — лишь специализированный случай этого довольно общего значения (когда употребляется неопределенный артикль, то подчеркивается факт существования объекта данного класса). Тем не менее весьма интересны наблюдения Падучевой над случаями, где мн. число имеет значение существования: *В моем саду растут яблони* ← «существует» более чем один предмет, который является яблоней и растет в моем саду»¹¹.

Приведем еще один аргумент. Значение неопределенности как компонент значения pluralis в славянских языках наглядно демонстрируется в глагольных формах, где бессубъектное употребление форм мн. ч. приводит к образованию неопределенно-личных конструкций, ср. *Говорят, что его похоронили на деревенском кладбище* и т. п.

Часто считается, что значение числа в глаголе является целиком согласовательным¹². Автор в другом месте пытается показать, что даже у прилагательных число является не чисто согласовательной категорией¹³. В глаголе же положение еще сложнее. Как показал В. В. Виноградов, «формы лица в глаголе не являются „чистыми“ формами согласования

⁷ Там же.

⁸ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 99.

⁹ Е. В. Падучева, Два подхода к семантическому анализу категории числа, «То Honor Roman Jakobson», II, The Hague — Paris, 1967, стр. 1474—1488.

¹⁰ Там же, стр. 1479.

¹¹ Там же, стр. 1485.

¹² См.: R. Jakobson, Zur Struktur des russischen Verbums, стр. 353.

¹³ И. И. Ревзин, О специфике согласования в числе в современном русском языке, сб. «Памяти П. С. Кузнецова» (в печати).

по крайней мере по отношению к 1 и 2 лицу»¹⁴. Нам представляется, что наличие неопределенно-личных конструкций доказывает определенную самостоятельность числа и по отношению к 3-му лицу. В глаголе — с нашей точки зрения — значение неопределенности как компонент *pluralis* проявляется даже более четко, чем в существительном.

Примечание. Сочетание в семантике одной категории таких противопоставлений как множественность — единственность, с одной стороны, и неопределенность — определенность, с другой стороны, — противопоставлений, каждое из которых может конституировать специальную грамматическую категорию, — может показаться чем-то неожиданным. На самом деле и в тех языках, где соответствующие категории выступают раздельно, между ними есть много общего:

а) в отличие от категории рода, категории числа и определенности не являются парадигматическими (в терминологии автора¹⁵), или классифицирующими (в терминологии А. И. Смирницкого и А. А. Зализняка¹⁶), т. е. они не присущи слову, как таковому;

б) в отличие от категории падежа категории числа и определенности не определяются целиком контекстом (ср. формальные определения падежа в указанных работах А. А. Зализняка и автора), т. е. не являются позиционными в этом смысле;

в) в отличие от категорий рода и падежа, не приводящих ни к каким классификациям имен существительных, каждая из категорий числа и определенности, неизбежно приводит к следующей классификации имен:

Собственные	Наридательные	
	абстрактные	конкретные
		невещественные вещественные

В самом деле, и число и артикль по-разному ведут себя для каждого из приведенных классов.

Итак, мы полагаем, что применительно к категории числа существительного, а также к категории числа глагола, система противопоставлений оказывается организованной следующим, более сложным способом:

		Множественность	Неопределенность
Pluralis		+	+
Singularis	1	+	—
	2	—	+
	3	—	—

*Singularis*₁ — это значение собирательных (сочетание формы ед. ч. со значением множественности и отсутствием неопределенности).

*Singularis*₂ характерно для имен вещественных типа *сахар*, обозначающих объекты нерасчлененные и неопределенные.

*Singularis*₁ и *singularis*₂ представлены формами ед. ч., несоотносимыми с мн. ч., ибо каждая из них уже содержит маркированный компонент *pluralis*. Разница между ними в том, что значение *singularis*₁ не допускает сочетания соответствующей формы с *много*, *мало*, ср. невозможность **много студенчества*, так как 1) значение «много» уже выражено и 2) после слова «много» выбирается неопределенная форма (например, после *много* в бол-

¹⁴ В. В. Виноградов, указ. соч., стр. 376—377.

¹⁵ И. И. Ревзин, Метод моделирования..., стр. 138.

¹⁶ А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 31 и сл.

гарском языке), в то время как *singularis*₂ вполне допускает такое сочетание: *много сагару*.

*Singularis*₃ — это обычное значение форм ед. ч. Различные его употребления будут рассмотрены в связи с нейтрализациями.

Противопоставления, разумеется, могут нейтрализоваться. Чаще всего нейтрализуется противопоставление по определенности — неопределенности, которое, вообще говоря, является слабым, сопутствующим. В особенности, когда контекст указывает на определенность для множественного числа (слова типа *все, любые* и т. п.) или неопределенность (слова типа *некий, какой-то*) для единственного числа.

В этом случае получается обычно рассматриваемый редуцированный тип противопоставления:

	Множественность
Pluralis	+
Singularis	—

В этом случае *pluralis* всегда означает множество предметов. Что касается *singularis*, то это есть значение множества предметов лишь для собирательных имен. В остальных случаях в силу нейтрализованности противопоставления по неопределенности — определенности форма единственного числа обозначает конкретный предмет, который может быть как определенным (*Хутор находился на берегу реки*), так и неопределенным [*Там жил (один, какой-то) старик*].

Как уже указывалось, неопределенность — определенность в этих случаях передается контекстом¹⁷ (актуальным членением, порядком слов, специальными лексическими средствами) и в этом кардинальное отличие русского и других славянских языков (кроме болгарского и македонского) от языков, имеющих артикль. В этих языках определенность/неопределенность — специальная грамматическая категория, в то время как в славянских языках (кроме болгарского и македонского) это лишь семантическое противопоставление, входящее в качестве конституирующего вспомогательного противопоставления в значение других категорий (в частности, числа).

Интересно отметить, что в рассматриваемом случае (нейтрализация противопоставления по неопределенности в контексте) при переводе на какой-нибудь западноевропейский язык появляется соответствующий артикль (определенный или неопределенный), но число существительного остается без изменения, ср. нем. *Das Gehöft lag am Fluss. Dort lebte ein alter Mann*.

Рассмотрим теперь обратный случай, когда по условиям контекста противопоставление по множественности — немножественности становится несущественным, т. е. когда число объектов абсолютно неважно.

В этих случаях остается только противопоставление по неопределенности — определенности, которое выглядит следующим образом:

	Неопределенность
Pluralis	+
Singularis	—

Сюда относятся примеры, когда существительное ставится в форме ед. ч., но обозначает целый класс, например: *Сытый голодного не разумеет; Собака — друг человека*.

¹⁷ Это обстоятельство было отмечено К. Г. Крушельницкой в ее кандидатской диссертации «Смысловая функция порядка слов в современном немецком языке (сравнительно с русским)», М., 1948; ср.: е. е. же, К вопросу о смысловом членении предложения, ВЯ, 1956, 5; см. также: О. И. Москальская, Грамматика немецкого языка. Теоретический курс, М., 1956, стр. 121—126.

Характерно, что в этом случае при переводе на немецкий язык, как правило, появляется определенный артикль: *Der Satte kann den Hungrigen nicht verstehen* (буквальный перевод); *Der Hund ist ein Freund des Menschen*.

Наоборот, существительное во мн. ч. — при условии снятия противопоставления множественности/единственности — обозначает неопределенность¹⁸.

Прежде всего такая нейтрализация имеет место, когда существительное в силу своей семантики не может обозначать множество объектов, т. е. когда референциальное значение слова соотносит его с одним и только с одним объектом. Это случай имен собственных, например, географических названий или фамилий.

Когда говорится: *У нас не то, что в америках* (из речи представителя старшего поколения), то вовсе не имеют в виду двух Америк: Северную и Южную. Имеется в виду США, но высказывание приобретает неопределенный оттенок (в немецком языке не очень хорошо стилистически, но в принципе возможно *wie in einem Amerika*, в то время как мн. ч. *in den Americas* имеет лишь указанный выше смысл двух Америк).

Это особенно ярко прослеживается в распространенном сейчас журналистском приеме, состоящем в том, что о личности, которую хотят унизить, говорят во мн. ч., например, *зоценки* или из недавних газет *юнгманы*, вовсе не имея в виду несколько лиц (ср. одно из возможных значений немецкого оборота *ein Jungmann*).

Другим случаем нейтрализации противопоставления единственности — множественности является так называемое дистрибутивное единственное число, когда сначала указано множество объектов (чаще всего лиц) и предполагается, что каждому из объектов приписан объект из другого множества, например: *Женщины* (исходное множество) *до сих пор купаются там в платьях* (менее естественно *в платьях*) или *женщины в вечернем туалете*, возможно и *в вечерних туалетах*.

Интересно, что в случаях выбора каждый раз одного элемента из объемлющей совокупности, особенно когда это подчеркивается выделяющими (индивидуализирующими) прилагательными, употребляется лишь мн. ч., ср. *Женщины бросились в воду как были в богатых празднично расцвеченных юбках* (невозможно: **в богатой празднично расцвеченной юбке*).

Дело, разумеется, в выделяющей роли прилагательного, подчеркивающего, что берется один предмет из многих и тем самым диктующего значение неопределенности. Заметим, что в языках с артиклем такое употребление прилагательного с необходимостью требует неопределенности.

Таким образом, нейтрализация противопоставления по множественности — единственности и здесь способствует выявлению противопоставления определенности — неопределенности.

Наконец, самым интересным случаем снятия противопоставления по единственности — множественности являются примеры, приводимые в МнСРЛЯ: *Советские писатели за рубежом* (речь идет об одном А. Возне-

¹⁸ Впрочем имеются и противоречащие случаи, когда противопоставление по единственности — множественности снимается, а форма мн. ч. столь же определена как форма ед. ч. Но тогда ед. ч. и мн. ч. противопоставлены еще по одному признаку, а именно форма мн. ч. выражает объемлющую совокупность, а форма ед. ч., элемент этой совокупности; ср. в биологической систематике противопоставления типа: *заяц-русак* (вид) и *зайцы* (семейство). Аналогично: *голубь обыкновенный* (вид), но *голуби*, семейство голубей. Здесь русский и некоторые другие славянские языки (ср.: J. Ногескы, *Základy slovenskej terminológie*, Bratislava, 1956, стр. 51) восполняют недостаток суффиксации, ср. в латыни *columbidae* и *columbinae*.

сенском). В немецком переводе ¹⁹ здесь будет *Ein sowjetischer Dichter im Ausland* или *sowjetische Dichter im Ausland* (в первом случае — неопределенный артикль, во втором неопределенность передается отсутствием артикля).

Особенно показательны примеры: *К тому же у него дезертиры шинель уперли*. Здесь в немецком переводе скорее всего будет *Dazu noch hat ihm ein Deserteur den Mantel gestohlen*. Или: *Не дави живых людей — я еще не умерла*. В немецком переводе возможно лишь *Trete nicht auf einen lebendigen Menschen: ich bin noch nicht tot*. Или: *Прошу не оскорблять служащих*. В немецком переводе возможно лишь: *Bitte gefälltst eine Amtsperson nicht zu beleidigen*. Или: *В вагоне новые пассажиры: молодая женщина с чемоданом*. В немецком переводе в данном случае возможно только *Im Waggon ist ein neuer Passagier erschienen*.

Нам представляется, что именно противопоставлением по определенности — неопределенности объясняется разное отношение к числу в следующем случае, отмеченном Мико ²⁰ (там приводятся словацкие примеры). Возьмем следующую пропозициональную функцию: *К... относятся ..., ..., ...*. Казалось бы, что заполнение соответствующих мест конкретными существительными должно давать одинаковые числа для разных классов слов. На самом деле это не так. Возьмем предложение: *К хвойным относятся сосна, ель, кедр, лиственница* и т. п. Здесь возможно (хотя и менее естественно с нашей точки зрения) и множественное число: *К хвойным относятся сосны, ели, кедры, лиственницы*. Однако если мы возьмем предложение *К средневропейцам относятся чехи, словаки, венгры, немцы, австрийцы, поляки* и т. п., то здесь единственное число становится почти невозможным: **К средневропейцам относятся чех, словак, венгр, немец, австриец, поляк*. Подобное употребление возможно, по-видимому, лишь в эмфатической речи: *И слышно было до рассвета, как ликовал француз*.

С нашей точки зрения такая разница в числе, никак не затрагивающая противопоставления единичности/множественности, объясняется тем, что в обоих случаях *singularis* означает определенность, а *pluralis* — неопределенность. Однако в первом случае определенность вполне оправдана: речь идет о всех представителях класса сосен и т. п. Во втором случае речь идет о некоторых представителях (необязательно обо всех чехах и т. п.).

В случаях же *ликовал француз, тут прошел немец* речь опять идет о целом классе (недаром в немецком языке здесь употребляется определенный артикль: *wie der Französe jubelte*).

То, что в русском языке может проявляться разница между определенностью и неопределенностью, замечено достаточно давно [ср. противопоставление родительного и винительного надежд при отрицании — в особенности с именами вещественными: *не ел хлеб — не ел хлеба*, а также противопоставление (как будто, уже стирающееся) двух родительных: *производство сахара и немного сахару*]. Любопытно, что зачатки такого противопоставления проявляются сильнее всего среди имен вещественных, не имеющих множественного числа. Все это показывает, что противопоставление определенности — неопределенности, оставаясь вторичным и неграмматикализованным в русском языке и избыточным в обычных условиях, все же достаточно глубоко проникает в грамматическую систему и не может полностью игнорироваться.

¹⁹ Перевод используется лишь как метаязык. Мы вовсе не утверждаем, что во всех случаях такого употребления мн. ч. в переводе появляется неопределенный артикль. Прямого соответствия между грамматикализованным артиклем и семантическим признаком быть не может, нас интересует лишь общая тенденция.

²⁰ F. g. M i k o, указ. соч., стр. 69.

Авторы МиСРЛЯ очень тонко подметили значение неопределенности, появляющейся в существительных множественного числа при нейтрализации противопоставления по числу, причем они убедительно продемонстрировали этот факт, сопоставив конструкции с подлежащим во множественном числе такого вида и неопределенно-личные конструкции. Менее убедительно мнение о том, что распространение подобных конструкций поддерживается именно неопределенно-личными конструкциями. Как нам представляется, дело в том, что противопоставление по определенности — неопределенности присуще числу в славянских языках, проявляясь как в имени, так и в глаголе.

Уже совсем непонятно, почему авторы МиСРЛЯ приписывают «немаркированное употребление множественного числа» только существительным со значением лица, в то время как, по их мнению, у имен существительных со значением не-лица (предмета-вещи) «в конечном счете побеждает характерная для категории мн. ч. маркированность»²¹; этот факт демонстрируется на примере слов типа *кресла*, *фортепьяна*, *ширмы*, которые теперь употребляются в единственном числе. С нашей точки зрения, этот случай вообще не относится к рассматриваемой теме (скорее следует считать, что раньше эти слова относились к группе, в которой, по мнению А. А. Зализняка²², имелась омонимия единственного и множественного числа, ср. *сани*, *ножницы* и т. п., а затем эта аномалия была устранена).

Совершенно непонятно, почему авторы МиСРЛЯ суживают сферу подобных употреблений множественного числа до категории лица, ибо естественнее было бы основываться на грамматически выраженной категории одушевленности.

В самом деле вполне естественно человеку, увидевшему на стене номера одного клопа вызвать коридорную и сказать: *Смотрите: клопы* или увидев змею, крикнуть: *Берегитесь, там змеи* и т. п. Эти примеры ничем не отличаются от тех, которые приведены авторами МиСРЛЯ. Характерно, что во всех таких случаях мы имеем дело с указанием на факт существования объекта, т. е. с наиболее типичным случаем употребления неопределенного артикля в западноевропейских языках.

Но подобные конструкции легко построить и для неодушевленных существительных. Например, человек, наткнувшийся в темноте на (один) гвоздь (и даже единственный в комнате), скорее скажет: *Осторожно — здесь гвозди* и т. п.²³

В этом случае авторов МиСРЛЯ, как представляется, подвело то, что вообще говоря, является большим достоинством книги: их сугубо дескриптивный, индуктивный подход; вся их теория строится лишь на наблюдаемых фактах, а поскольку случайно на примеры типа приведенных они не наткнулись, то была построена теория, исключаяющая (или по крайней мере отодвигающая на задний план) все подобные употребления²⁴.

²¹ МиСРЛЯ, стр. 155.

²² А. А. Зализняк, Русское именное словоизменение, М., 1967, стр. 58—59.

²³ Впрочем поскольку здесь нет явного правила, то возможны два решения, отражающие, по-видимому, разные подходы к языку. Люди, формально-логически относящиеся к языку и языковой правильности, могут выбрать конструкцию: *Здесь гвоздь*. Наоборот, те, кто чувствует языка доверять больше, чем логике, и при сознательном отношении к данной фразе выберут указанный вариант, не говоря уже о произвольной речи.

²⁴ Автор выражает признательность Вяч. В. Иванову и Т. М. Николаевой, с которыми он обсуждал затронутые в статье вопросы.

М. Г. ПРЯДОХИН

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА НЕДОГОВОРКИ — ОСОБОГО ТИПА
КИТАЙСКИХ НАРОДНЫХ РЕЧЕНИЙ

В современном китайском языке в ряду устойчивых фраз, входящих в состав фразеологии, помимо пословиц и поговорок, выделяется еще один жанр народных речений — недоговорки¹. Несмотря на широкую распространенность недоговорок многие стороны их как языкового явления либо совсем не изучены, либо освещены неполно. К ним относятся, в частности, семантическая структура недоговорки, функции составляющих ее членов, семантико-стилистические разновидности недоговорок, их стилистическая характеристика.

Вопреки своему названию недоговорка используется в речи преимущественно в полной, «договоренной» форме; не вдаваясь в объяснение причин этого явления, заслуживающего особого рассмотрения, отметим только, что недоговорка в усеченной форме представляет собой эллипсис и употребляется в речи в значении полной формы. В связи с этим описание явления будет вестись здесь на материале недоговорок, представленных в полной форме.

Недоговорка в полной форме представляет собой *д в у х ч л е н н о е р е ч е н и е*. Четкое членение на две части, являющееся наиболее характерным формальным признаком недоговорки, выражается средствами интонации: первый член произносится с интонацией законченности, второй — отделяется от первого паузой и произносится в соответствии с интонацией контекста употребления. На письме это членение выражается соответствующими средствами пунктуации.

Как паремия недоговорка может рассматриваться изолированно, вне контекста употребления. В этом плане, т. е. только со стороны ее собственного контекста, недоговорка представляет собой законченное суждение, выраженное в форме предложения. Самоудовлетворяющий в смысловом и синтаксическом отношениях контекст сближает недоговорку с двухчленными пословицами и поговорками, имеющими структуру предложения, отграничивая ее, с другой стороны, от поговорок, имеющих структуру словосочетания.

Суждение, заключенное в собственном контексте недоговорки, особого рода: члены ее в плане ее собственного контекста соотносятся как своего рода *«и н о с к а з а н и е»* (первый член) и как *б ы р а с к р ы т и е* иносказания (второй член). Ср. следующие недоговорки:

¹ Словом *xiéоuсu* (буквально: «речение с усекаемой концовкой») в китайском языке, кроме рассматриваемого жанра народных речений, обозначаются также речения книжного происхождения. Последние как имеющие особую семантическую структуру, иную жанрово-стилистическую отнесенность и иные формальные и стилистические признаки здесь не рассматриваются. Подробно о различиях между этими типами недоговорок см. статью «Недоговорка» в «Словаре лингвистических терминов» («Yun-anhуe mingci jieshi», «Zhongguo yuwen», 2, 1959, стр. 86).

„Иносказание“

Zhu Bajie zhao jingzi
 „Чжу Ба-цзе² смотрится в
 зеркало —
dingzhangde qiao erduo
 „кузнец, кующий коня, ударил
 его по уху —
maqiaor feidao longkangli
 „воробей прилетел на мякину —

Раскрытие

li wai bu xiang ge ren.
 ни там, ни сям не выглядит
 человеком“
li ti tai yuan le
 слишком далеко от копыта“
kong huanzi
 зря радовался”

Употребляя недоговорку, говорящий как бы задает загадку и тут же сам дает на нее ответ. Различие между недоговоркой и загадкой функциональное³: если загадка не имеет коммуникативной ценности, то недоговорка (как и пословица или поговорка) входит в число коммуникативных средств языка. Однако в отличие от пословицы или поговорки, в которых значение речения создается всем его составом, в недоговорке коммуникативная ценность всецело заключена в ее втором члене⁴. Недоговорка употребляется в речи не в значении собственного контекста, хотя бы переносном, образном (как это часто наблюдается в пословице или поговорке), а в значении ее второго члена. Это доказывает тем, что если собеседнику не известна полная форма недоговорки, то высказывание, в котором она употреблена в усеченном виде (одно иносказание), остается для него непонятным, и ничего ему не сообщает⁵. Напротив, если в высказывании, в котором употреблена недоговорка, опустить первый член (иносказание), оставив только второй (что, естественно, разрушит недоговорку, смысл высказывания с точки зрения выражения определенного мыслительного содержания останется тем же.

Реализуемое в речи значение второго члена очень часто не совпадает с тем его значением, в котором он употребляется в собственном контексте недоговорки как раскрытие «иносказания». Второй член недоговорки в значении, реализуемом в контексте речи, как правило, представляет собой фразеологическую единицу, существующую в языке независимо от недоговорки и до нее⁶.

Рассмотрим с этой точки зрения цитированные выше недоговорки (перевод фразеологического значения второго члена дается после пометы «соотв.»): *Zhu Bajie zhao jingzi* — *li wai bu xiang ge ren* «Чжу Ба-цзе смотрится в зеркало — ни там, ни сям не выглядит человеком», соотв. «в глазах всех не выглядеть человеком»; *dingzhangde qiao erduo* — *li ti tai yuan le* «кузнец, кующий коня, ударил его по уху — слишком далеко от копыта», соотв. «слишком далеко от предмета разговора, эх куда хватил!»; *maqiaor feidao longkangli* — *kong huanzi* «воробей прилетел на мякину — зря радовался», соотв. «зря радоваться».

Примеры употребления этих недоговорок:

² Чжу Ба-цзе — персонаж популярного в Китае классического романа «Путешествие на запад», фантастическое существо в образе полусвиньи, получеловека.

³ См.: Ван Си-пэн, Исследование недоговорки, «Вэнь юэкань», VIII, 2, 1935, стр. 6 (Wang Xipeng, Xiehouyu de yanjiu, «Wenyl yuekan»).

⁴ См. указанный «Словарь лингвистических терминов».

⁵ На эту особенность указывают многие китайские авторы. См., например: Мао Дунь, Относительно «недоговорок», «Жэньминь вэньсюэ», 1954, 6, стр. 94—95, (Мао Дунь, Gualyu «xiehouyu», «Renmin wenxue»; Чжан Гуэй-и, Недоговорка, «Юйвань сюэси», 1952, 8, стр. 27 (Zhang Guiyi, Xiehouyu, «Yuwen xue»).

⁶ Ю. Л. Кроль отмечает, что второй член может составлять и отдельное слово (J. L. Kroll, A tentative classification and description of the structure of Peking Common sayings (hsieh-hou-yü), «Journal of the American Oriental society», 86, 3, 1966). Нельзя не заметить при этом, что выражение второго члена отдельным словом в общем не характерно для недоговорки (в нашей картотеке такого рода случаи составляют всего около 3%).

1. «Qiao Yuxia... yibian yong shouzhang ca yanlei, yibian weiqde shuo: „Zhe naocheng ge shen le? Zhu Bajie zhao jingzi, li wai bu xiang ge ren“»⁷ «Цяо Юй-ся,... вытирая слезы ладонью, обиженно сказала: „Что же это получается? Ни тем, ни другим [я] не угодила!“»;

2. «„Dingzhangde qiao erduo — li ti tai yuan le“», bu zhi shei shuole yu»⁸ «„Эк куда сватила!“ — сказал кто-то»;

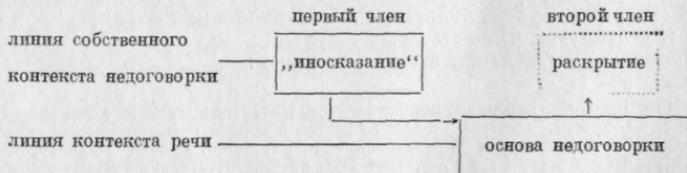
3. «Zhei yihui maqiaor feidao longkangli, kong huanx!»⁹ «На сей раз радовались понапрасну!».

Таким образом, раскрытие «иносказания», т. е. второй член в значении, реализуемом в собственном контексте недоговорки, и фразеологизм, составляющий второй член в том его значении, которое реализуется в контексте речи, могут соотноситься: 1) как одно и то же речение в разных его значениях (обычно — в прямом и переносном); 2) как речения-омонимы и 3) как одно и то же речение в разных его манифестациях. Употребление недоговорки в речи создает тем самым игру слов.

Если точка зрения на второй член недоговорки как на основное семантическое звено, определяющее фразеологическое значение недоговорки и именуемое далее «основа недоговорки», разделяется всеми китайскими авторами, то функциональная характеристика первого члена недоговорки до сих пор не получила еще общепризнанного определения — ср. попытки трактовать первый член как наводящее речение (tishiyu)¹⁰, как сравнение (bifang) или квазисравнение (jiajie bifang)¹¹. В последнее время наиболее распространена характеристика первого члена как словесного образа (rui), которая не уточняет функции первого члена в структуре недоговорки¹².

Объяснить функцию первого члена недоговорки, на наш взгляд, можно в связи с двоякой функцией второго члена. Создание соответствующего иносказания недоговорки как раз в том и состоит, что применительно к основе недоговорки создается некий образ, который строится с таким расчетом, чтобы вызвать к жизни в качестве раскрытия либо прямое значение речения, составляющего основу недоговорки, либо омонимичное последнему речение, либо, наконец, иную в сравнении с контекстом речи манифестацию речения, составляющего основу. Функция «иносказания», таким образом, состоит в создании особого контекста, вызывающего семантическое раздвоение второго члена недоговорки, или, иными словами, в создании игры слов.

Исходя из этого, общую схему семантической структуры недоговорки можно было бы представить в следующем виде:



⁷ «Жэньминь вэньсюэ», Пекин, 1963, 12, стр. 21 («Renmin wenxue», Beijing).

⁸ «Шоухо», Шанхай, 1964, 4, стр. 211 («Shouhuo», Shanghai).

⁹ «Шоухо», 1965, 2, стр. 138 («Shouhuo»).

¹⁰ Ван Ся-пэн, указ. соч., стр. 7.

¹¹ Чжан Гуй-ли, указ. соч., стр. 23—25.

¹² См., например: Чэнь Ван-дао, Начала стилистики, Шанхай, 1954, стр. 163 (Chen Wangdao, Xiusixue fapan, Shanghai); Люй Цзин-сянь, Стилистика в школе, Чжэньчжоу, 1958, стр. 104 (Lü Jingxian, Xiusixue, Zhengzhou); см. также упоминавшийся «Словарь лингвистических терминов».

Формально, т. е. со стороны материального выражения, недоговорка двухчленна; со стороны же семантической в ней выделяются три члена: 1) «иносказание» (первый член); 2) раскрытие (второй член в значении, реализуемом в собственном контексте недоговорки); 3) основа недоговорки (тот же второй член, но в значении, реализуемом в контексте речи). Иносказание и раскрытие составляют собственный контекст недоговорки, который в контексте речи выполняет экспрессивную функцию, создавая игру слов и сообщая тем самым недоговорке в целом известную эмоционально-экспрессивную окраску.

Экспрессивную функцию контекст недоговорки может выполнять, лишь имея собственный коммуникативный план. Однако этот последний не входит в коммуникативный план контекста речи, а надстраивается над ним. Линейно предшествуя в речевом потоке второму члену, иносказание воспринимается как принадлежащее иному плану из-за смыслового несоответствия контексту речи.

В то же время известно, что семантическое несоответствие слова контексту может быть причиной трансформации прямого значения этого слова в метафорическое¹³. «Иносказания» многих недоговорок кроме прямого осмысления, благодаря которому образуется смысл собственного контекста недоговорки, способны к метафорическому осмыслению в плане контекста речи. Такая способность «иносказания» зависит от того, как соотносятся раскрытие и основа недоговорки. Сообразно этому выделяются три разновидности недоговорок.

К первой разновидности мы относим недоговорки, в которых раскрытие и основа соотносятся как разные (обычно прямое и переносное) значения одного и того же речения. Основу таких недоговорок составляют фразеологизмы, представляющие собой устойчивые метафорические сочетания слов. Таково речение *li wai bu xiang ge ren*, которое использовано в недоговорке в примере 1. В основе указанной недоговорки это речение реализует свое фразеологическое значение — «ни там, ни сям (в глазах всех) не выгладеть человеком», в раскрытии же используется прямое значение этого речения — «ни там, ни сям (ни в зеркале, ни перед зеркалом) не выгладеть человеком». Устанавливая непосредственно в момент речи связь между прямым и переносным значениями речения, составляющего второй член, недоговорка этой разновидности вскрывает внутреннюю форму фразеологизма, используемого в ее основе, и тем самым оживляет троп, делает фразеологизм более ярким и выразительным, служит средством эмфатизации фразеологизма.

Кроме того, «иносказание» в недоговорках этой разновидности способно к метафорическому осмыслению. Так, широко известный в народе образ незадачливого и недалекого Чжу Ба-цзе проецируется на фразеологизм, составляющий основу недоговорки, и сообщает фразеологизму ироническое освещение, которого он лишен вне недоговорки. Предмет высказывания, характеризуемый этой недоговоркой, как бы уподобляется Чжу Ба-цзе, а фразеологизм, составляющий основу недоговорки, получает тем самым дополнительную эмфатизацию.

Возможность метафорически осмыслить «иносказание» в недоговорках этой разновидности обусловлена тем, что оно строится применительно к прямому значению речения, составляющего второй член, и поскольку переносное значение этого речения, используемое в основе недоговорки, мотивировано прямым, постольку и «иносказание» содержит в себе черты, которые мотивируют, «подсказывают» переносное значение этого речения.

¹³ См. об этом: О. И. Никитина, Восприятие метафоры, «Уч. зап. [1-го МГПИИЯ]», VIII — Экспериментальная фонетика и психология речи, 1954, стр. 302.

Метафорические устойчивые сочетания слов обладают разной степенью мотивированности. Чем менее мотивировано метафорическое значение предложения, составляющего второй член, прямым, тем меньшей степенью суггестивности (способности «подсказывать» переносное значение) обладает «иносказание», и наоборот. На полюсах этого ряда выделяются еще две разновидности недоговорок.

Вторую разновидность составляют недоговорки, в которых раскрытие и основа соотносятся как предложения-омонимы. К этой разновидности относится недоговорка в примере 2. Используемое в ней в раскрытии предложение *li ti tai yuan le* «слишком далеко от копыта» лишь материально совпадает с фразеологизмом *li ti tai yuan le* «слишком далеко от предмета разговора, эх куда хватил!», составляющим основу недоговорки, семантически же никак с ним не связано.

Как и в недоговорках первой разновидности, основная функция «иносказания» здесь — создание игры слов. Эффект игры слов состоит здесь в том, что иносказание заставляет своим смыслом обратиться к значению раскрытия, общий же контекст речи детерминирует второй член в его фразеологическом значении. Последнее, сопоставляясь со значением раскрытия, воспринимается подчеркнуто, акцентированно.

Построенное в расчете на раскрытие, соотносящееся с основой как предложение-омоним, «иносказание» в недоговорках этой разновидности чаще всего не содержит в себе черт, способствующих его метафорическому осмыслению. Правда, в отдельных, наиболее «удачных» недоговорках этой разновидности оно может содержать черты, в самом отвлеченном плане намекающие на значение основы. Так, в рассматриваемой недоговорке «иносказание» *dangzhangde qiao erduo* «кузнец, кующий копыта, ударил его по уху» содержит в себе черту (направленность действия не на тот объект, на который следовало бы), которая в самом общем плане подкрепляет значение фразеологизма *li ti tai yuan le* «слишком далеко от предмета разговора, эх куда хватил!». Однако в целом в недоговорках второй разновидности «иносказание», как правило, лишено суггестивности.

В недоговорках третьей разновидности отношения между раскрытием и основой недоговорки характеризуются полным совпадением значений. Это хорошо видно на примере 3. Предложение *kong huanxi*, составляющее второй член этой недоговорки, как в раскрытии, так и в основе реализует одно и то же значение — «зря радоваться». Однако его употребление в собственном контексте недоговорки как раскрытия «иносказания» и в контексте речи — как фразеологизма, конструирующего концептуальное содержание высказывания, представляет собой разные манифестации этого значения, за счет чего и создается игра слов в этой недоговорке, как и в других подобных.

Построенная на разных манифестациях одного и того же значения, игра слов в недоговорках этой разновидности воспринимается менее отчетливо, чем в недоговорках первых двух разновидностей. В связи с этим менее отчетливо выявляется в них и функция «иносказания», состоящая в создании игры слов. Напротив, метафорическая функция «иносказания» выдвигается здесь на первый план. Созданное применительно к тому же значению второго члена, которое реализуется в основе недоговорки, «иносказание» здесь воспринимается прежде всего как вполне прозрачная метафора или прямое сравнение. Так, в рассматриваемой недоговорке образ, создаваемый «иносказанием» *maqiaoer feidao longkangli* («воробей прилетел на мякину»), довольно прозрачно «подсказывает» значение второго члена *kong huanxi* («зря радоваться»).

Эмфатизация фразеологизма, составляющего второй член в недоговорках этой разновидности, достигается за счет того образа, который созда-

ется в первом члене недоговорки. Эта особенность позволяет характеризовать недоговорки третьей разновидности как меткие, образные речения, обладающие большей степенью суггестивности.

Из сказанного о функции «иносказания» в структуре недоговорки явствует, что образ, создаваемый в первом члене недоговорки, в зависимости от семантической структуры второго члена может выполнять различное назначение. В недоговорках первой и второй разновидностей основная функция «иносказания» — создание игры слов во втором члене; недоговорки этих двух разновидностей представляют собой прежде всего каламбуры. В недоговорках третьей разновидности семантическая структура второго члена исторически сложилась в расчете на использование возможностей метафорического осмысления первого члена, в связи с чем эти речения представляют собой главным образом развернутые метафоры или ходячие сравнения.

Каламбур как структурный элемент народных речений определенного типа — явление хотя и сравнительно редкое, но не новое в паремиологии (в качестве средства создания комического каламбур используется как структурный элемент, например, в так называемых уэллеризмах¹⁴ английского языка, с которыми недоговорки имеют известные черты сходства)¹⁵. Не располагая достаточными данными о подобных речениях в других языках, отметим, что рассмотренный здесь лингвистический аспект китайских недоговорок, позволяющий выявить одним им присущий набор формальных, структурно-семантических и стилистических признаков, дает, на наш взгляд, основания рассматривать их не только как особый тип фразеологизмов, но и как самостоятельный тип народных речений в ряду объектов китайской паремиологии. В частности, недоговорки в китайском языке противопоставлены пословицам и поговоркам по целому ряду и других признаков — как лингвистических (проницаемость структуры, особенности употребления в строе предложения), так и паремиологических.

¹⁴ По имени Сама Уэллера, известного диккенсовского персонажа, которого автор наделил особой привязанностью к употреблению этого рода речений.

¹⁵ См. об этом: J. L. Coll, указ. соч.

С. Б. ТОШЬЯН

СЛОГОРАЗДЕЛ И СТРОЕНИЕ СЛОГА В АРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ

Слогораздел и структура слога армянского языка рассматриваются обычно в разделах пособий и курсов по армянскому языку и исследований по армянской фонетике в основном в плане традиционных воззрений. Между тем, комплекс вопросов, связанных с армянским слогом, нельзя изучать без обращения к современной теории слога, с одной стороны, и без учета ряда факторов, осложняющих для армянского языка решение этих вопросов, с другой. При изучении армянского слогоделения необходимо принимать во внимание слогоделение словообразовательных и словоизменительных форм слова, а также его номинативной (или простой) формы; на слогораздел влияет и морфологическое членение слов, а также членение, применяемое в письме при переносе; не безразличен слогораздел и к стилям речи. Все эти вопросы с большей достоверностью могут быть решены лишь при использовании новейших средств техники и методов экспериментальной фонетики. В настоящей работе наблюдения над речью разных возрастных и профессиональных слоев представителей армянского литературного языка велись с широким использованием магнитофона; запись речи учащихся проводилась с предварительным подбором нужного материала.

Поскольку изучение слога и его структуры тесно связано с проблемой слогоделения, рассмотрим прежде всего армянское слогоделение. Слогораздел при группах согласных в интервокальном положении проходит перед конечным согласным группы¹, а при единичном интервокальном согласном — перед ним. Например: *zug|vel* «наряжаться», *yentark|vel* «подчиняться», *aʔang|k'ner* «стержни», *ba|re|kam* «приятель», *bo|la|rot* «холодный». Если между гласными имеется удвоенный согласный, или так называемый двухвершинный согласный с «двусторонним» примыканием, граница слога проходит внутри удвоенного согласного: *uy|vel* «выпрямлять»,

¹ Исключение составляют сочетания с конечным *y*, а также случаи, когда консонантную группу замыкает сонант *r*, артикуляционно тесно спаянный с предшествующим ему согласным, например: *a|ʔyus* «киршица», *hanga|mya* «пятилетний», *an|dranik* «первенец», *ken|tron* «центр», *elek|tronika*, *čam|pruk* «чемодан», *am|prop* «гроза»; ср., однако, *berk|rank'* «веселье», *bar|jrut'yun* «высота», *vosh|raçac* «костенельный», где предшествующий согласный менее тесно спаян с последующим *r*, нежели с начальным *r* интервокальной консонантной группы. К исключениям иногда относятся и случаи с конечным сонантом такой группы *n*, а также с группой *kv*, ср. слогоделение *dar|jnel* «превращать», *ar|çnel* «эмалировать», *sa|çnel* «остудить» наряду с *dar|jnel*, *ar|çnel*, *sa|çnel*. Возможно, эти исключения в армянском языке следует рассматривать как пережитки собственного индоевропейским языкам распределения интервокальных согласных. См. применительно к этим языкам правило, сформулированное Е. Куриловичем: «Два последних согласных (интервокальной. — С. Т.) группы, состоящей по крайней мере из трех согласных, принадлежит последующему слогу, если последний согласный группы является свистящий или шипящий (*š, ç, s*) либо полугласный (*y, r, l, v*)» (Е. Курилович, Вопросы теории слога, в его сб. «Очерки по лингвистике», М., 1962, стр. 275—276), или в другом месте: «...смычный, выступавший в эксплозии (речь идет об эксплозии неназачального слога. — С. Т.), может быть заменен в позиции после согласного на смычный + плавный» (там же, стр. 280).

kʰən|nel «экзаменовать», *pət|tan*, реже возможно и *pət|tə|tan* «вертушка»; см. еще просторечное *xət|tel* и *xət|tə|tel* «обнимать». В случае удвоения смычных часто, по-видимому — по аналогии с простыми формами слов, после первого смычного (в слабом положении) может употребляться нейтральный гласный *ə*², соответствующий гласным полного образования *i* или *u* (например, просторечное *xət|tə|tel* и производящая его форма *xət|tit* «объятие», и каждый из интервокальных смычных примыкает к последующему гласному, вместе с ним образуя открытый слог. Отсюда — возможность вариантов форм *pət|tan* и *pət|tə|tan*, *xət|tel* и *xət|tə|tel*. Иногда варианты с нейтральным гласным *ə* служат целям выразительности. В том случае, когда вторым согласным консонантной группы является *y*, слогораздел проходит перед сочетанием согласных: *a|yuyus* «кирпич», *seva|çya* «черноглазый» (по *ah|yak* «левая сторона», где иное распределение согласных между слогами обусловлено морфологическим стыком). Граница слога перед конечным согласным интервокальной консонантной группы обычно характерна и для словообразовательных и словоизменительных форм; во всяком случае, формы суффиксального словообразования этому правилу следуют полностью: *ca|y|ka|man* «цветочный горшок», *kaç|ni* «топора» (род. п.), *yerk|rayin* «земной», *ast|yayin* «звездный», *ast|yaget* «астролог», *ast|yik* (встречается и *as|tə|yik*) «Венера», *a|rañç|k^ç* *ner* «стержни». В формах словоизменения возможно и иное слоговое деление: наряду с *koš|ki* «ботинка», *pa|n|ri* «сыра», *mar|m|ni* «тела» (род. п.) допустимо также *ko|ši|ki*, *pa|n|ri*, *mar|m|ni* по аналогии со слоговое делением номинативной формы, но это уже касается нормы произношения.

Поскольку граница слога в случае интервокальных сочетаний согласных обычно проходит перед конечным согласным сочетания, пена начальный слог в армянском языке в основном может начинаться лишь одним согласным. Одним согласным обычно начинается и слово³. Иными словами — в армянском языке все слоги слова, в том числе и начальный, могут обычно начинаться лишь одним согласным. Исключение составляют некоторые консонантные группы — «щелевой + смычный» в начальном слоге и группа «смычный + сонант», которая может быть и в начале других слогов. Наличие одного согласного в начале любого слога, характерную особенность структуры слога в армянском, отличающую этот язык от других индоевропейских языков, можно рассматривать как фонетический закон начала слога в армянском языке. Этот закон действует, например, при произнесении в разговорном стиле заимствованных слов с вставочным *ə* между согласными: *bə|luz*, *də|rel*, *pə|rovud*, *kə|lyauza*, *ga|ləs|tuk*. Действием закона начала слога обусловлена другая структурная особенность неконечного слога: все неконечные слоги при наличии консонантных групп в интервокальном положении (исключая сочетания согласного с *y* — *sy*, *ty*, *yū* и т. д.) могут быть только закрытыми. Открытыми они бывают лишь тогда,

² *ə* между согласными действующей орфографией не обозначается (например: армянские написания *dum* «тыква», *tnkel* «сажать», *zndgrkvel* «обниматься», *dustrs* «моя дочь»). Нейтральный гласный *ə*, обозначаемый на письме лишь при переносе слова со скоплением согласных (отсюда название — «скрытый слоговой»), а также в конце и начале слов, является редуцированным гласным с нечеткой артикуляцией и употребляется в безударных слогах. По образованию этот гласный представляет собой звук, произносимый при нейтральном укладе органов речи; по количеству — очень краткий (сравнительно с другими гласными), но в отличие от переходного призвуча *ə* он является слогообразующим. Возникновение нейтрального *ə* связано с ослаблением безударных гласных *i* и *u* (реже — других гласных), происшедшим еще в древнейшие периоды развития армянского языка. При этом *ə*, явившийся на месте безударных гласных, обычно наблюдается там, где сочетания согласных невозможны. В других случаях безударный гласный утрачивался полностью.

³ См. об этом: М. Х. А б е г я н, Теория армянского языка, Ереван, 1965, стр. 93 (на арм. яз.).

когда в интервокальной позиции представлен единичный согласный или согласный + *y*, не говоря уже о случаях, когда слог состоит лишь из одного гласного. Закрытые слоги в целом здесь преобладают; они преобладают и в конечных слогах, ибо большая часть армянских слов оканчивается на согласный⁴. Увеличению числа закрытых слогов в конце слов (и сокращению основы слова в целом) исторически способствовало в армянском ослабление гласных заударного слога и выпадение их (часто — вместе с последующим конечным согласным) там, где этому не препятствовал характер соседних согласных, структура конечного слога и т. д.

О наличии в древнеармянском языке тенденции к закрытости конечного слога (в отличие от древних славянских языков, например, где действовал закон открытого слога) свидетельствуют индоевропейские слова, оформленные в армянском языке согласно этой тенденции, которая впоследствии была усилена аналогией (см. *jameŕ*, русск. *зима*, и.-е. **g'heim*; *kov*, русск. *корова*, лат. *kervus*; *sirt*, русск. *сердце*, и.-е. **kered*; *kin*, русск. *жена*, и.-е. **g^henā*; *dustər*, др.-русск. *дъчи*, и.-е. **dhugh(ə)rtēr*; *tun*, др.-русск. *домъ*, лат. *domus*).

В связи с тем, что в начале армянского слога обиходен один согласный, начальный консонантизм нельзя признать достаточным критерием для классификации согласных по их роли в структуре слога. По этой же причине структурные различия между слогами должны быть преимущественно выявлены на основе анализа конечных групп согласных. В армянском языке все простые согласные допустимы в конце слога и (если не учитывать комбинаторных изменений) в конце слова⁵. Что касается конечных консонантных групп слога и слова, они представлены двумя типами: 1) сонорный или щелевой + согласный (обычно смычный); 2) сонорный + смычный или сонорный (+ смычный придыхательный). В перечне оба типа приводятся в порядке частотности употребления групп согласных, обе разновидности первого типа представлены наибольшим количеством вариантов:

а) сонорный + согласный

$r + b, g, d, z, t^c, \text{ž}, x, c, k, j, \text{č}, m, h, \text{š}, \text{ç}, p, \text{f}, s, t, \text{ç}, p', k,$
 $y + g, d, z, t^c, \text{ž}, l, x, c, k, m, n, \text{š}, \text{ř}, s, t, r, \text{ç}, k^c$
 $\eta + b, g, d, t^c, x, c, k, j, \text{č}, m, \text{ç}, p, \text{f}, s, t, \text{ç}, k^c$
 $n + g, d, t^c, c, k, j, \text{č}, \text{ğ}, \text{f}, t, \text{ç}, k^c$
 $m + b, p, s, k^c$
 $\text{ř} + s, k^c$
 $l + k^c$

б) щелевой + согласный

$x + t^c, k, \text{š}, t, s, k^c$
 $z + b, g, d, m, k^c$
 $s + k, p, t, k^c$
 $\text{š} + k, t, k^c$
 $h + m, r, k^c$
 $v + t, k^c$
 $\text{ž} + k^c$

Сочетания с конечными сонантами, в том числе и с *m* (встречаются только случаи *rm*, *γm*, *zm*), невозможны; исключения составляют *yr*, *yn*, *yl*, *ym*.

⁴ По свидетельству Э. Б. Агаяна, в так называемый классический период грабара многочисленные слова не могли оканчиваться на гласные *a*, *o* (исход на *o* в армянском был недопустим вообще), на *i* и *u* они оканчивались в ограниченном числе случаев [Э. Б. А г а я н, Грамматика древнеармянского языка, I, 1—Фонетика, Ереван, 1964, стр. 85—86 (на арм. яз.)].

⁵ Источником для анализа конечного и начального консонантизма слова послужил четырехтомный «Голдковский словарь армянского языка», составленный Ст. Малхасяном, I—IV, Ереван, 1944—1945 (на арм. яз.).

Конечные щелевые представлены в основном в группах, начинающихся с сонантов *r*, *y* (*parz* «ясный», *hars* «невеста», *huuz* «волнение», *kuys* «дева»). В собственно армянском материале отсутствуют группы типа «сонорный *l, m* + согласный» (кроме *lk^c*, *mb*, *mp*, *ms*, *mk^c*), как и «сонант *n* + щелевой» — они представлены лишь в заимствованной лексике (*kalk*, *talk*, *řels*, *vals*, *elf*, *zamsš*, *çenz*, *šans*). Консонантные группы, составленные из согласных одного и того же класса⁶, вообще малочисленны и употребляются редко. Это *rm*, *ym* (*serm* «семья», *koym* «сторона»), а в единичных примерах *xs*, *xš*, *šx* (*t'uxs* «наседка», *naxš* «украшение» — *naxš'vac* «украшенный», *bašx'vel* «распределяться»); имеется также возникшая в более позднее время группа «смычный + смычный придыхательный [k']»: *mi[t[k']* «мысль», *de[p']k^c* «случай».

Второй тип конечных консонантных групп — сонорный + смычный или сонорный (+ смычный придыхательный *k^c*) — составляют сочетания *rc*, *rt*, *yl*, *yn*, *nc* + *k^c*. Например: *kurck^c* «грудь», *partk^c* «доля», *k'aylk^c* «походка», *yerkaynk^c* «длина», *ařançk^c* «ось». Конечная группа из трех согласных, представляющая сочетание рассмотренной группы первого типа + смычный придыхательный *k^c*, встречается редко; в конце слова возможны также сочетания *nk^cs*, *k^cst*, представленные в армянском слове *çank^cs* «сев, посев» и заимствованная типа *sfink^cs*, *tek^cst*.

В исходе слога и слова недопустимы сочетания двух согласных, из которых предшествующий был бы смычным. Исключение составляют случаи, когда конечным согласным группы является придыхательный, восходящий к прежнему аффиксу мн. числа *-k^c* (ныне уже не имеющему этой функции ввиду переразложения основы) или развившийся из непридыхательного *k* по аналогии. Например: *añçk^c* «отверстие», *mi[t^ck^c* «мысль», *ačk^c* «глаз»; *ca[çk^c]* «кров», *ca[t^ck^c]* «бросок»; ср. также в заимствованиях типа *pal[k^ct*, *efkalil[p^ct*, *mo [p^c s*, *kek^cs*; единственный случай исхода слова на *[k^cs* представлен в армянском *ho[k^cs* «забота». В том и другом случаях исключений смычный, начинающий группу, является или аспирированным (или позиционно аспирированным⁸) или аффрикатой. Анализ консонантных групп, употребляемых в конце начальных, срединных и конечных слогов, показывает, что здесь представлены те же группы, какие допустимы в конце слова. То же самое отмечено в отношении простых согласных. В начале же всех этих слогов обычно возможен лишь один согласный. Тот или иной конкретный согласный, который возможен в начале различных слогов, допустим и в начале слова. Таким образом, подтверждается возможность применения к армянскому слогоделению критерия конца и начала слова.

Граница слога в армянском языке не всегда постоянна, и это один из факторов, осложняющих слогоделение. Среди этих факторов — аналогия со словообразовательными и словоизменительными формами данного слова, аналогия со слоговой структурой номинативной его формы. Определенное влияние оказывает также тип словообразования, степень лексикализации,

⁶ Имеется в виду деление согласных по их роли в структуре эксплозивных групп на три класса: сонорные, смычные и щелевые (см.: Е. К у р и л о в и ч, указ. соч., стр. 299—304).

⁷ Позиционные изменения согласных, как и наличие призвукa *ə* между согласными (об этом см. ниже), в транскрипции армянских слов здесь и во всей статье передаются в случаях, когда необходимо фиксировать звуковой состав слова. При этом позиционно изменившийся согласный (или сочетание согласных) дается в квадратных скобках, а ⁹-образный оттенок в отличие от «нормального» *ə* передается соответствующей надстрочной буквой. В остальном при транслитерации соблюдается современная армянская орфография.

⁸ Аспирация отражена в написаниях заимствований *kek^cs*, *lyuk^cs*, ср. с исконным *ho[k^cs* — *hogs* «забота».

в результате чего один способ слогоделения можно наблюдать в сложных и производных словах, другой — в словах, не осложненных аффиксами. Так, двойное членение слов *marṁṁayin* — *marṁṁayin* «телесный», *arc|vi* — *arc|vi* «орла», *ast|vik* — *ast|vik* «Венера», *koš|ki* — *koš|ki* «ботинка» (род. п.), можно объяснить влиянием слоговой структуры номинативной формы слова. Это влияние проявляется в случаях, когда второй способ слогового членения не противоречит слоговой структуре номинативной формы, см.: *marṁṁayin* и *marṁin* «тело», *arc|vi* — *arc|vi*, *ast|vik* — *ast|vik* (ср. *serm|naçan* «сеятель» — *serm|nayin* «семенной», *serm|naget* «семеновод», *hars|naçu* «невеста» — *hars|nazos* «сват», *hars|nakal* «свекор», *hars|nates* «смотрины», *koym|naki* «посторонний» — *koym|nakan* «сторонник», где допускается только один способ слогоделения — в строгом соответствии со слоговой структурой номинативных форм *serm*, *hars*, *koym*). При втором способе слогоделения, в силу действия закона начала слога, между согласными появляется нейтральный гласный *ə* — по аналогии с гласными *i*, *u*, *ə* простой формы слова. Благодаря гласному *ə*, образуемому вместе с предшествующим согласным дополнительный слог, слово при втором способе слогоделения имеет слогов на один больше.

Эти параллельно существующие способы слогоделения, обусловленные влиянием номинативной формы слова, не следует смешивать со случаями, когда благодаря импловивному характеру согласного, предшествующего конечному согласному консонантной группы, между ними возникает вокальный ²-образный элемент, создающий ложное впечатление дополнительного слога. Например, *xoseç²|nel* «заставить говорить», *dar [ç]²|nel* «превращать», *prəç²|nel* «кончить». За пределами литературного языка ²-образный элемент в количественном отношении иногда может достигать степени слогового *ə*. Благодаря этому в индивидуальной разговорной и особенно в диалектной речи возникает возможность двойного членения слов с консонантными сочетаниями — главным образом, такими, в которых из трех или двух согласных, находящихся в интервокальной позиции, последний является сонантом или щелевым, а предшествующий — смычным или аффрикатой: *tan|j|vel* и *tan|j²|vel* «мучиться», *he²ac|nel* и *he²a|ç²|nel* «удалить»⁹; сюда могут быть отнесены и такие слова, в которых конечному сонанту или щелевому предшествует не смычный согласный, а щелевой: *mar²|vel* «перевариться», *mer²|vel* «получить отказ» — гласный отенок в произношении наличествует здесь и после щелевых. Определяющим является, таким образом, характер согласного, замыкающего консонантную группу: если это щелевой или сонант, гласный элемент слышен, а если смычный, этот вокальный призывок почти отсутствует. Ср., например: *ǰard²|vac* — *mard|kanç*, *mar²|vel* — *vors|kan*, *ast²|vac* — *sast|kacav*, *pat²|žel* — *pat|ker*.

Вокальный элемент, обусловленный импловивным характером согласного, в конечном итоге, таким образом, зависит от распределения интервокальных согласных в армянском языке. Такая зависимость становится особенно наглядной при сопоставлении слов с аналогичными или близкими консонантными сочетаниями в армянском и русском языках: *pat|žel* «наказать» — *pa|dža*, *ak|noç* «очки» — *о|жно*, *vraz|vel* «спешить» — *pa|zve*, *ast|vac* «бог» — *na|ctva*, *dəst|rik* «дочь» — *ко|стры*, *Arz|ni* — *мер|знет*. В русском языке гласный элемент отсутствует, поскольку все звуки консонантного сочетания в интервокальном положении здесь, за некоторым исключением (например, когда в начале группы представлен сонант

⁹ См.: М. Х. А б е г я н, указ, соч., стр. 94.

или *y*, см. *мер|знет*, *вер|стак*, *чай|ка*), являются эксплозивными¹⁰. В армянском эксплозивным в интервокальной консонантной группе является лишь конечный согласный; предшествующие ему согласные — импловивные.

Для литературного языка двойное слогоделение не характерно, хотя и там наблюдается переходный гласный ², который, однако, не является слоговым гласным в собственном смысле слова. Этот переходный звук, по сравнению с другими гласными, в том числе и обычным слоговым *ə*, произносится очень кратко (ср., например: *verc²|rec* «он взял» — *carec* «рассеял», *kart²|vac* «образованный» — *təvac* «почудилось») и не является фонемой, а всего лишь слабым нефонематическим призвуком; о нефонематичности этого ² свидетельствует факультативность его появления, связанная с характером и качеством сталкивающихся на стыке слогов согласных. По аналогии с имеющимися в армянском языке дублетными формами типа *kark|nel* — *kərk|kənel* «повторять» со слоговым ² во втором варианте sporadически вместо призвука ² произносится также и *ə* более полного образования, приближающийся к обычному гласному *ə* и, следовательно, возникает дополнительный слог; однако такое слогоделение, придающее слову просторечно-сниженную окраску, в литературном языке является отклонением от нормы.

Слоговой *ə* не всегда связан с явлением аналогии. Он возникает и при отсутствии гласных *i*, *u*, *ə* в производящих или первичных формах той же основы вообще. При этом *ə* выступает в различных межконсонантных позициях, будучи действительно «вставочным» звуком. Например: *hag|nə|vel* «одеваться», *gat|nə|vel* «находиться» и *mə|kərtel* «крестить», *šə|pərtel* «кинуть». Появление *ə* в словах этой группы, несомненно, также связано с законом начала слога, хотя здесь в первую очередь он обусловлен невозможностью некоторых сочетаний согласных в конце слога. В приведенных примерах сочетания *gn*, *tn*, *kr*, *pr* и т. д. не могут принадлежать к предшествующему слогу (они невозможны в конце слова и поэтому не импловивны), поэтому в приведенных словах слогораздел проходит между согласными *g* — *n*, *t* — *n* и т. д. Закон начала слога проявляется здесь в том, что возникает добавочный слог с нейтральным гласным элементом *ə* в качестве вокальной основы. В случаях слогоделения, связанных непосредственно с отсутствием импловии согласных, двойных способов не имеется. Но аналогия может действовать и здесь: в слогоделении *hag|nə|vel* «одеваться», *be|nə|vel* «нагружаться» возможно предположить влияние слогораздела соответствующих безаффиксальных форм этих слов: *hag|nel*, *be|nel*, чему способствует выделяемость продуктивного суффикса *-v*.

Иногда при слогоделении наблюдаются колебания, связанные с разными возможностями отнесения согласных к предшествующему слогу, например, при слогоделении слова *kəzmvel*: *kəzm|vel* и *kəz|mə|vel* «составляться». Колебания наблюдаются и при возможной ассимиляции или упрощении двух согласных в разговорно-просторечном стиле произношения или в аллегорической речи: *mət|cə|nel* и *məc|nel* «всунуть». Иногда такие колебания отражаются при переносе слова приписе: *kəzm-vac* и *kəz-məvac* «составленный»; приемлемое при письме деление слов для переноса в целом основывается на естественном членении звучащей речи на слоги, однако, часто между переносом и естественным членением на слоги звучащей речи

¹⁰ При предшествующих сонантах *n* и *y*, которые в обоих языках являются импловивными, переходный элемент уже не возникает, и это не только в русском языке, но и в армянском. Ср. *tar|veç* «проигрался» — *sep|euz*, *hal|vac* «расплавленный» — *mol|ca*, *buy|si* «растения» (род. п.) — *rey|ca*. Причину отсутствия гласного оттенка, по-видимому, следует объяснять sonorностью этих согласных.

нет соответствия¹¹. На смешении естественного членения речи и членения, применяемого при переносе, основаны утверждения, что в армянском в словах с группой согласных в интервокальной позиции (типа *patʒel* «наказать», *hayʒvac* «побежденный») слоговые границы могут быть различными: *pat|ʒel* и *pa|təʒel*, *hayt|vac* и *hay|təʒvac*, т. е. что эти слова могут делиться то на два, то на три слога¹². Такой подход, однако, переводит объект изучения в план графического членения. Корни ошибок в вопросах слогоделения — в смешении букв со звуком, в отождествлении слогораздела и переноса, в преувеличении влияния графической стороны языка на звуковую¹³. Случаи двойного членения (*yerk|ri* и *yer|kə|ri*) принципов слогоделения не нарушают, являясь отражением различных вариантов произношения. Поэтому вопрос о двойных способах слогоделения следовало бы относить к произношению или к лексике, но не к строению и не к особенностям слога.

Влияние слоговой структуры номинативной формы слова вовсе исключено, если в его формах словообразования, словоизменения, как и слово-сложения, произошла полная унификация в плане произношения (без гласного *ə* между согласными). См. произношение без гласного *ə* в межконсонантной позиции для слов *darbnel* «ковать», *darbnum* «ковка», *darbnoç* «кузница» (не *darbanel*, *darbənnum*...!); *gangranal* «кудрявиться», *gangra-yun* «кудряватый»...; *sastkaçav* «усилилось», *sastkanal* «усилиться»... и т. д. Отсюда слогораздел в этих словах будет такой: *darb|nel*, *darb|num*..., *gang|ranal*, *gang|ravun*..., *sast|kanal*... и т. д. Здесь влияние слоговой структуры номинативной формы (*dar|bin* «кузнец», *gan|gur* «кудрявый», *sast|tik* «сильный, сильно») не сказалось, в связи с чем возможен только один способ слогоделения. Тем не менее, если в некоторых формах словообразования и словоизменения или хотя бы в одной из них представлен гласный *ə*, не исключена возможность применения второго способа слогоделения. Например: *yerk|ragund* «земной шар», *yerk|rašarž* «землетрясение», но *yer|kə|ri* «страны» (род. п.), наряду с *yerk|ri*; *pan|ragorc* «сыровар», *pan|ragorcuyun* «сыроварение», но *pa|nə|ri* «сыра» (род. п.).

Иногда при лексикализации сложного образования, первый компонент которого семантически уже не выделяется или выделяется недостаточно четко, граница слогораздела проходит иначе, чем в других, в том числе и словоизменительных, формах того же слова в свободном, несвязанном употреблении: *kərk|nord* «двойник», *kərk|nerg* «припев», *kərk|nak* «дубликат», *kərk|nutʒyun* «повторение», но *kə|kə|nel* «повторить»; *yerk|rašarž*, *yerk|rayin*, *yerk|ragund*, но *yer|kə|ri* (наряду с *yerk|ri*). Тем не менее в результате аналогии возможно двойное слогоделение и в сложных, лексикализованных образованиях: *yer|kə|ragund*, *ar|cə|vakʹitʹ* наряду с обычными *yerk|ragund*, *arc|vakʹitʹ*.

Возможность двойного слогоделения поддерживается различиями стилей речи (прежде всего — литературного нейтрального и разговорно-просторечного) и ее темпа; именно такими различиями объясняются дублетные формы слов *ast|vik* — *ast|ə|vik*, *arc|vi* — *ar|cə|vi*. Двойное членение имеют и такие слова, у которых оно не может быть объяснено особенностями структуры непроемной формы, а также характером словообразования этих слов. Например, нейтральному стилю свойственны *pərc|nel* «кон-

¹¹ Например, не соответствует слогоделению устной речи (или не обычны для нее) случаи применяемых переносов *vorəš-yal* «определитель», *xor-hurd* «совет», *hekʹi-atʹ* «сказка», а также случаи, обусловленные морфологическим членением слова, вроде *ənd-havur* «обидий», *ənd-hatel* «прервать».

¹² См., например: В. Д. А р а к е л я н, Фонетика современного армянского языка, Ереван, 1960, стр. 40 (на арм. яз.).

¹³ См. об этом: Г. Б. Д ж а у к я н, указ. соч., стр. 244.

чать». $t^{\prime}a[r]vel$ «мокнуть», $p^{\prime}ark|vel$ «спастись», разговорно-просторечному — $pa[r]cə|nel$, $t^{\prime}a[r]ə|vel$, $p^{\prime}a[r]kə|vel$.

В тех же случаях, когда во всех словообразовательных и словоизменительных формах данного слова (как и при словосложении) всегда произносится редуцированный гласный, выступая в безударных слогах на месте ударяемых фонем u и i , возможность двойного слогоделения, разумеется, отсутствует. Например, $a\dot{u}maka\dot{l}ic$ «шумный», $a\dot{u}maka\dot{y}in$ «шумовой», $a\dot{u}maka\dot{s}er$ «шумливый»... (ср. $a\dot{u}mik$ «шум»); $ambə\dot{s}amart$ «борьба», $ambə\dot{s}amartel$ «бороться...» (ср. $ambiš$ «борец»); $harə\dot{s}anal$ «богатый», $harə\dot{s}ut^{\prime}yun$ «богатство»... ($harust$ «богатый»). Кстати, $ə$ в указанных словах имеет словообразовательную функцию. Благодаря постоянному присутствию $ə$ в словах этого типа, граница слога проходит по общему правилу $a\dot{u}|mə|kel$, $ambə|samar|t$, $harə|sə|anal$ и т. д., хотя вообще группы ym , mb , rs в конце слога в принципе возможны (ср. $ko\dot{y}m$, $xumb$, $hars$). Место межконсонантного гласного $ə$ в таких словах определяется слоговой структурой производящей основы, а также словообразовательной структурой и семантическими связями производной основы. Например: $a\dot{u}|m|kel$ (не $a|\dot{u}m|kel!$), ср. $a\dot{u}|mik$, $harə|sə|anal$ (не $har|sə|anal!$), ср. $har|rust$. В том случае, когда вставочный $ə$ является лишь тональной основой слога, не соответствуя фонемам u и i ударного слога, он изредка может употребляться факультативно, с чем связана возможность дублетных форм $t^{\prime}ə\dot{r}cə|nel$ и $t^{\prime}ə\dot{r}c|nel$ «стащить, унести на крыльях», $p^{\prime}ax|cə|nel$ и $p^{\prime}ax|c|nel$ «унести бегом». В других случаях, ввиду невозможности сочетания согласных в конце слога — употребление вставочного $ə$ обязательно и постоянно, в связи с чем дублетные формы отсутствуют, наличествует лишь форма с фиксированным местом $ə$: $mat|nə|vel$ «предаваться», $pa|tə\dot{s}|gamb$ «балкон» (tn , $tš$ конечных групп в армянском не образуют). Расположение вставочного гласного между этими согласными связано при этом с существующей в языке традицией, например: $mat|nə|vel$ (не $ma|tən|vel!$), $pa|tə\dot{s}|gamb$ (не $pat|sə|gamb!$).

Наличие $ə$ в безударных слогах в конечном счете определяется особенностями строения слога. Здесь играет решающую роль закон начала слога, обуславливающий сохранение («невывпадение») $ə$ в начальной межконсонантной позиции слова, возможность поствокального примыкания групп согласных в середине и конце слова (т. е. так называемой имплозии этих групп), а также фактор словоупотребления.

Именно структурой армянского слога, в данном случае — особенностью его начинаться лишь одним согласным, следует объяснить, что 1) в начальном слоге слова $ə$ (возникший из прежнего гласного или вставочный) обычно сохраняется в произношении¹⁴ (например, $katər$ «кусочек», материя, $jamet^{\prime}$ «зима», $p^{\prime}arkel$ «спастись»); 2) в других слогах, кроме начального, гласный $ə$ (независимо от его происхождения) обычно наличествует тогда, когда два согласных не могут образовать импозитивной группы, т. е. не могут принадлежать предшествующему слогу: $kotartel$ «ломать», $gatnəvel$ «находиться», $astə\dot{u}$ «звезда». В некоторых случаях $ə$ употребляется несмотря на то, что консонантное сочетание в конце слога допустимо, — правда, такой $ə$ является факультативным; эти случаи объясняются действием аналогии.

Появление $ə$ вместо безударных гласных приводило к возникновению редуцированных слогов, а утрата их — к уменьшению количества слогов слова и развитию новых групп согласных. Поскольку гласный $ə$ возникает в безударном положении, редуцированный слог может наблюдаться лишь в

¹⁴ Исключение составляет отдельные случаи с группами «щелевой + смычный» ($stər$ «подлый», $spitak$ «белый», $štapel$ «спешить»). Сюда же относятся $struk$ «раба», $siver$ «тень», поскольку нейтральный гласный в межконсонантной позиции в них отсутствует и компенсатором его является долгота щелевого $ə$.

словах, состоящих из двух и более слогов, количественно преобладая в начальных слогах этих слов. Например: *kətratel* «изрезать», *koṭərtel* «ломать», *kəṭərtel* «резать», *koṭratel* «перебить» и первоначальная форма *kotoratel* (с общим значением «разрушать»), из которой возникли приведенные формы путем ослабления или полной утраты (в разной комбинации для каждого из этих новообразований) безударных гласных; *sərbič* «полотенце», *sərbel* «чистить», *sərbazan* «священный» и простая форма *surb* «святой»; *kəšfel* «взвешивать»; *vəčfel* «решить», *p'əšrel* «раскрошить», *təxrel* «грустить» и соответствующие простые или производящие формы *kəšif* «вес», *vəčif* «спор», *p'əšur* «крошка», *təxur* «грустный».

Возникновение редуцированных слогов, представляющих специфическую особенность армянского языка, и развитие новых групп согласных, несомненно, приводили к усилению фонематической роли согласных, а также консонантных групп. В таких, например, словах, как *zərkol* «лишать», *gərkel* «обнимать», *p'ərkel* «спасти», *γərkel* «послать» различительным (в отличие от *zurk* «лишенный», *girk* «объятие») является только консонантный признак, а гласный *ə* фонематической роли уже не играет; в *p'ərkel*, *γərkel* в отличие от *zərkel*, *gərkel* *ə* не соответствует никаким гласным полного образования; см. также *p'ok'ar* и *p'ok'raçnel*, где употребление *ə* в первом слове — позиционное, обусловленное невозможностью конечных групп *k'r*, *gr*, *dr*.

Выявление своеобразных черт слогоделения и структуры слога в армянском языке (здесь, в отличие от других индоевропейских языков, действует закон начала слога, наблюдаются так называемые «полуслоги» и другие характерные для армянского языка явления — например, двойное слогоделение одного и того же слова, широкая представленность редуцированных слогов типа *Məkartič*, *kətarvel*, *gətnəvel*, преобладание закрытых слогов), позволяет надеяться, что всестороннее освещение проблемы армянского слога в конечном итоге будет способствовать и решению проблемы слога в целом.

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

НЕИЗВЕСТНАЯ ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА

И. С. ГОРЛИЦКОГО 1730 г.

До недавнего времени изучению грамматик русского языка, вышедших в свет до появления «Русской грамматики» М. В. Ломоносова 1755 г., не уделялось сколько-нибудь значительного внимания. Здесь сказывался целый ряд причин, из которых самыми существенными представляются три.

Во-первых, ученые больше занимались исследованием старославянских грамматик, так как они возникли раньше, чем грамматики русского языка, которые стали появляться лишь в конце XVII — начале XVIII в., в период обостренного интереса к выработке и описанию норм общенационального языкового выражения. Во-вторых, при изучении русских грамматик в языкознании XIX — начала XX в. выявилась анти-историческая тенденция видеть в русских грамматиках плохо выполненную копию славянских¹. В-третьих, грамматики русского языка сохранились значительно хуже, чем грамматики старославянского языка. Последнее обстоятельство делает грамматику русского языка практически недоступными для широкого круга исследователей.

До сих пор обнаружены и описаны пять русских грамматик доломоносовской поры: «Русская грамматика» на латинском языке Г. В. Лудольфа (Оксфорд, 1696)², «Руководение в грамматику во славянорусскую или московскую» И. Ф. Копиевского с параллельными латинскими, немецкими и русскими текстами (Штольценберг, близ Данинга, 1706)³, «Грамматика славенская» Ф. Максимова (СПб., 1723)⁴, «Начальные основы русского языка» В. Е. Адодурова (СПб., 1731) — грамматика, написанная по-немецки⁵, «Российская грамматика» М. Гренинга (Стокгольм, 1750), написанная по-шведски⁶.

Но список известных в науке русских грамматик нельзя считать исчерпывающим. Его следует пополнить еще одной грамматикой, не известной историкам русского литературного языка. Единственный экземпляр этой грамматики хранится в Библиотеке Академии наук в Ленинграде. Название ее на двух языках: «Grammaire françoise et russe en Langue moderne accompagnée d'un petit Dictionnaire pour la Facilité du Commerce. A St. Petersburg. 1730. Грамматика французская и руская нынешняго языка

¹ Особенно показательны в этом отношении два суждения. Причину несовершенной попытки И. Ф. Копиевского описать в своей грамматике нормы русской письменной речи И. И. Давыдов видит в том, что он пользовался грамматикой Смотрицкого «слишком поверхностно и неискусно» («Воспоминание столетия русской грамматики. Новое издание грамматики М. В. Ломоносова», предисловие И. И. Давыдова, СПб., 1855, стр. XIII). Наиболее самостоятельная из всех грамматик доломоносовской поры — грамматика В. Е. Адодурова, по мнению С. К. Булича, «составлена по грамматике М. Смотрицкого» (С. К. Булич, Очерк истории языкознания в России, ч. I, СПб., 1904, стр. 324).

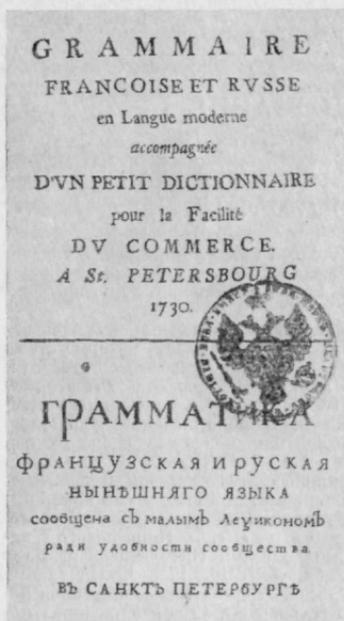
² Г. В. Лудольф, Русская грамматика, Оксфорд, 1696, переизд., перевод, вступит. статья и примеч. Б. А. Ларина, Л., 1937. Фототипическое воспроизведение этой грамматики по изданию 1696 г. см.: Henrici Wilhelmi Ludolfi, Grammatica Russica. Oxonii. A. D. MDCXCVI, ed. by B. O. Unbegaun, Oxford, 1959.

³ «Описание изданий, напечатанных кириллицей. 1689 — январь 1725», сост. Т. А. Быкова и М. М. Гуревич, М. — Л., 1958, Приложение I, стр. 299—300; П. П. Пекарский, Наука и литература в России при Петре Великом, II, СПб., 1862, стр. 132—133.

⁴ «Описание изданий, напечатанных кириллицей...», стр. 261—264. Грамматика Максимова не включена ошибочно Б. Унбегауном в число русских грамматик доломоносовской поры. См.: B. O. Unbegaun, Russian grammars before Lomonosov, «Oxford Slavonic Papers», 8, Oxford, 1958. Этот вопрос был предметом дискуссии на IV Международном съезде славистов в Москве («IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», 2, М., 1962, стр. 280, 289—290).

⁵ «Сводный каталог русской книги XVIII века. 1725—1800», 4, М., 1962, стр. 147—148.

⁶ «Список русским грамматикам на иностранных языках», в кн. «Воспоминание столетия русской грамматики...», стр. LXXIII.



сообщена съ малымъ Леукиномъ ради удобства сообщества. Въ Санктъ Петербургъ⁷.

Долгое время считалось, что эта книжка — грамматика французского языка. Источник неправильных сведений — «Опыт российской библиографии» В. С. Сопкиова. В первом издании своего указателя (1814) под № 3006 он описал ее следующим образом: «Грамматика французская (сокращенная), с вокабулами, СПб., 1730, в 8^ю». А так как эта грамматика сохранилась лишь в одном экземпляре и практически была недоступной для исследователей, то это неправильное указание Сопкиова было воспринято на веру библиографами. Она была неправильно описана библиографическими справочниками Геннади, Губерти и Битовта⁸. На эту грамматику нет никаких указаний в списках славянских и русских грамматик, помещенных в приложениях к юбилейному изданию «Российской грамматики» Ломоносова в 1855 г. Впервые точное название книги было воспроизведено Булlichem, но он, вероятно, невнимательно познакомился с ее содержанием, а поэтому оценка исследователя традиционна: «В том же 1730 году вышла и первая у нас печатная грамматика французского языка»⁹.

Укоренившаяся ошибка вызвана тем, что название книги неточно отражает ее содержание. Хотя титульный лист указывает на то, что книга должна содержать грамматику французского языка, французской грамматики в ней нет. Это издание — грамматика русского языка, в которой русские грамматические

правила излагаются только по-французски, а парадигмы русских склонений и спряжений и тексты, написанные по-русски, переводятся на французский язык.

История издания этой грамматики такова. У учителя французского языка Шарля Анри Декомбля (Charles Henri De Combles, ум. 3 января 1735 г.), или, как его называют архивные документы, «французского шпрахмейстера», была взята для перевода на «росийский диалект» грамматика французского языка. То, что эта книга была взята у Декомбля, дало повод библиографам и историкам языка считать его автором грамматики. На самом же деле Декомбль только передал в Академию наук одну из французских грамматик, популярных в то время, но архивные документы не сообщают имени автора и точного названия ее. По всей вероятности, это была грамматика французского языка французского филолога XVIII в. Пеплие (Peplier или Des Pepliers), выходявшая неоднократно во Франции и в Германии¹¹.

По указу Екатерины I 26 июня 1729 г. эта книга была передана для перевода Ивану Семеновичу Горлицкому (Горлецкому) (1688—1777)¹². Горлицкий, переводчик

⁷ Грамматика напечатана в академической типографии на средства Имбера. См.: П. П. Ека р с к и й, История императорской Академии наук в Петербурге, 2, СПб., 1872, стр. 19, примеч. 1. Ср.: П. Н. Берков, Ломоносов и литературная полемика его времени, М.—Л., 1936, стр. 42.

⁸ В. С. Сопкиов, Опыт российской библиографии, ред. примеч. дополи. и указ. В. Н. Рогожина, ч. II, СПб., 1904, стр. 82.

⁹ Г. Н. Геннади, Справочный словарь о русских писателях и ученых, умерших в XVIII и XIX столетиях, и список русских книг с 1725 по 1825 г., I, Берлин, 1876, стр. 250; Н. В. Губерти, Материалы по русской библиографии. Хронологическое обозрение русских книг XVIII столетия, напечатанных в России гражданским шрифтом 1725—1800, вып. 1, М., 1878, стр. 34; Ю. Ю. Б и т о в т, Редкие русские книги и летучие издания XVIII века, М., 1950, стр. 114.

¹⁰ С. К. Булиц, Очерк истории языкознания..., стр. 323; «Сводный каталог русской книги XVIII века» воспроизводит под № 1608 правильное название грамматики (1, стр. 253).

¹¹ См.: «Сводный каталог русской книги XVIII в...», 2, стр. 394—395; Г. М. Корони, Библиотека Ломоносова, М.—Л., 1961, стр. 300—301.

¹² М. И. Сухоминов, Материалы для истории императорской Академии наук, 1, СПб., 1885, стр. 499.

Академии наук, служил в Академии наук с 1724 г. и переводил с французского и латинского языков. Когда была основана академическая гимназия, он преподавал в ней русский и иностранные языки. В описании штатов Академии наук, представленном в Сенат 31 декабря 1737 г., сказано, что «Горлицкий с латинского и французского на российский, а с русского на оба упомянутые языка переводит; имеет особливую работу при географическом департаменте»¹³. Горлицкий — известный лексикограф своего времени. Вместе с И. И. Ильинским и И. П. Сатаровым он составил русскую часть к немецко-латинскому словарю Вейсмана.

Горлицкий перевел с французского «Сокращение математическое в трех частях» Якова Германа и Жозефа Деллиа (1728—1730), которое представляло собою серию учебников, «содержащих арифметику, геометрию, тригонометрию, астрономию, географию и фортификацию». Вместе с С. Коровиным он перевел этнографическое и историческое «Описание о Японе» (1734). Горлицкий — один из переводчиков статей академиков, написанных ими для «Краткого описания Комментариев Академии наук» (ч. I, СПб., 1728) — первого научного журнала в России.

Как видно из архивных документов, перевод грамматики необходимо было выполнить срочно, а поэтому И.-Д. Шумахер, советник канцелярии Академии наук, распорядился на время работы над переводом грамматики освободить Горлицкого от занятий в лексикографической группе, составлявшей русскую часть к «Вейсманову лексикону». Горлицкий не выполнил точного распоряжения, а написал грамматику русского языка по-французски с русскими примерами и небольшим словариком. Естественно, лишена всякого основания мысль, что грамматику русского языка мог написать Дембель, не знавший русского языка.

В первых общеобразовательных светских учебных заведениях в России, в академической гимназии, открытой в 1726 г., и в шляхетном корпусе, начавшем свои занятия в 1730 г., приблизительно около половины всех учащихся были дети иностранцев, находившихся на русской службе, которые или не говорили по-русски, или говорили плохо. Специальной дисциплины «русский язык» в школах не было, хотя в регламенте Екатерины I 22 декабря 1727 г. об организации учебных занятий в гимназиях было сказано: «Во всяком же классе по два учительское звание имети будут, которых классов в трех нижних потребно есть, чтоб в каждом один из них знал по русски говорить и писать»¹⁴. В обязанность этих учителей входило обучение учащихся русскому и иностранному языкам. Русскому языку обучались в процессе изучения иностранного языка, Такова была традиция, сложившаяся в процессе преподавания любого нового европейского языка в это время. При изучении русского и иностранных языков широко применялись переводы с русского на иностранный и наоборот.

Важно отметить, что грамматика старославянского языка ни в академической гимназии, ни в шляхетном корпусе не изучалась. «Французская грамматика и русская нынешнего языка» представляла собою первый опыт учебника русского языка, написанного на иностранном языке. Рассмотренное обстоятельство выясняет только практическую сторону дела: почему грамматика русского языка была напечатана по-французски.

Но есть еще две более важные причины использования иностранного языка в учебнике русского языка. Во-первых, в грамматике 1730 г. находят свое отражение идеи «Грамматики универсальной и рациональной», составленной в аббатстве Пор-Рояль в 1660 г. Клодом Лансело и Антуаном Арно, которые полагали, что языки различаются лишь формами, конструкциями и звуками и что общее логическое содержание у них едино, и ставили своей задачей описать «естественные основы искусства речи», «принципы, общие всем языкам, и причины основных различий, в них встречающихся»¹⁵. Эти принципы реализуются в грамматике Горлицкого.

Во-вторых, в переходную эпоху становления нового литературного языка наблюдается противоречие между описанием форм склонения и спряжения и выбором иллюстративного материала, с одной стороны, которые отражали живые нормы словоупотребления, и авторской речью грамматиста, с другой стороны, в которой недифференцированно использовались то русские, то «славянские» формы. Такой, например, была «Грамматика славянская» Максимова, в которой приводились параллельные русские и «славянские» формы. Единственный выход из затруднительного положения в эту

¹³ Там же, 3, СПб., 1886, стр. 576.

¹⁴ Там же, 1, стр. 319.

¹⁵ Р. О. Ш о р, Краткий очерк истории лингвистических учений с эпохи Возрождения до конца XIX в., в кн.: В. Т о м с е н, История языковедения до конца XIX века, М., 1938, стр. 112. Ср. мнение Адодурова о роли иностранных языков при обучении родному языку в академической гимназии: «Я при Академии наук учился языкам латинскому, немецкому и французскому и при том имел случай собственные мои недостатки в правильном употреблении природного нашего языка несколько усмотреть и оные в себе по возможности исправить» (см.: П. П. П е к а р с к и й, История императорской Академии наук ..., I, СПб., 1870, стр. 514).

эпоху — создание грамматики русского языка на иностранном языке. Так, в частности, поступали Лудольф, Горлицкий, Адогуров. Иностранний текст, в котором излагались грамматические правила, выступал в качестве своего рода метаязыка.

Грамматика Горлицкого сжата и элементарна. Всего в книжке 62 страницы, размер ее 8°. Пагинация издания — арабская. При наборе были неправильно указаны стр. 37, 38, 31, нумерация которых была изменена владельцем книги соответственно на стр. 35, 36, 37. Осталось незамеченной неправильная нумерация: после стр. 46 сразу же идет стр. 49. Поэтому последняя страница книжки — 64. Владельцу книжки принадлежит исправления типографских опечаток на стр. 16, 31, 40, замечания на полях (на стр. 17 добавлено: «roids — бремя», на стр. 38 написано: «Бопре») и различного рода пометки и подчеркивания (см. стр. 18, 25, 26, 32—34, 37—40, 46, 49, 50, 52, 55, 56, 60, 62). Владельческих записей в книжке нет.

Грамматические правила в учебном пособии Горлицкого чередуются с практическими сведениями, иллюстрируются примерами употребления слов, словосочетаний, предложений. В книжке нет оглавления, а поэтому следует указать на содержание ее. Титульный лист грамматики набран на двух языках (стр. 1). Вслед за ним напечатан французский и русский алфавит и сообщаются сведения о произношении русских звуков (стр. 3—5). После изложения сведений по фонетике следуют два алфавитных списка (стр. 6—11). В одном помещены «славянские» слова, употреблявшиеся под титлами, во втором эти же слова даны в полном написании. Списки начинаются словом *ангелъ* и заканчиваются словом *честныи*. Всего в каждом списке по 102 слова. Из всех допомосовских грамматик список слов под титлами у Горлицкого отличается наибольшей полнотой и выдержанностью в стилистическом отношении. В него входят только «славянские» слова, как этого требовала традиция книжной речи. Сокращения таких русских слов, как *дѣла* — *дѣла*, *дѣла* — *дѣла* и т. п., которые приводит, например в своей грамматике Адогуров, отсутствуют у Горлицкого.

Далее излагается грамматический материал по отдельным частям речи и тематическим группам: числительные (стр. 11—13), названия мер и веса, месяцев года, дней недели, измерения времени (стр. 13—14), склонение имен существительных с иллюстративным материалом (стр. 15—20), склонение местоимений (стр. 20—27), примеры количественно-именных сочетаний (стр. 28), замечания о словообразовании имен прилагательных (стр. 29—30), краткое обозрение предлогов и конструкций, в которых они употребляются (стр. 30—39), список омонимов (стр. 39—40), образцы спряжения русских глаголов (стр. 41—61). Грамматика заканчивается кратким словариком, построенным по тематическому принципу.

При изучении грамматики Горлицкого возникает вопрос о том, в какой мере это сочинение может служить в качестве источника по истории русского языка 30-х годов XVIII в. и какие факты русской речи этого времени отражены в нем.

Исчерпывающий ответ на поставленный вопрос получить трудно, так как не ясна как степень точности и достоверности отражения русской речи в грамматике Горлицкого, так и то обстоятельство, реч каких социальных слоев лежит в основе «русской грамматики нынешнего века». Затрудняют и несовершенство грамматической концепции автора, обусловленное состоянием языковедения в этот период, множество опечаток и непослдовательная передача системы русской графики. Это сочинение — не научная грамматика, а учебное пособие, в основу которого положены утилитарные требования при обучении русскому языку в академической гимназии, практически нам не известные. Но некоторые данные для характеристики русского языка этого времени можно все-таки извлечь из грамматики Горлицкого.

В области фонетики обращает на себя внимание описание *е*, *ѣ*, *я*, *ю*. Для комментариев Горлицкого характерно неразличение буквы и звука, типичное для языковедения того времени. По несовершенной транскрипции автора, *е*, *ѣ*, *я*, *ю* передаются соответственно как *ije*, *ije*, *ija*, *ijou* (стр. 3—5).

Обращает на себя внимание одинаковая транскрипция для *е* и *ѣ*, которая указывает на то, что в живом произношении они совпали в одном звуке. Об этом свидетельствуют и примеры с написанием *е* вместо *ѣ* и *ѣ* вместо *е*. Ср. в положении под ударением написание *е* вместо *ѣ*: при переводе французского глагола *manger* — *естъ* (стр. 40), *лекаръ* (стр. 62); написание *е* вместо *ѣ* в безударном положении: *посетить* (стр. 37), *девицею* (стр. 38). Ср. также написание с *ѣ* вместо *е* в положении под ударением: *кавалбра* (стр. 38), *лѣтми* (стр. 64); в безударном положении: *изѣбсть* (стр. 18), *ви дѣлаѣтѣ* (стр. 39). Конечно, *е*, *ѣ*, *я*, *ю* обозначают не дифтонги, как утверждает Горлицкий, а простые гласные *е*, *а*, *у* со знаком палатальности предшествующих согласных. Утверждение о дифтонгическом характере *е*, *ѣ*, *я*, *ю* заимствовано, вероятно, из грамматики Лудольфа¹⁸.

Аканье можно иллюстрировать следующими примерами: *наварно* (стр. 31), *начевать* (стр. 35), *збери съ стаала* (стр. 37), *калпакъ* (стр. 64) и т. д. Есть пример аканья в случае с положением заударного *а* после смягченного согласного: *площадь* (стр. 18).

¹⁸ См.: С. П. Обнорский, Русская грамматика Лудольфа 1696 года, в кн. «Избранные работы по русскому языку», М., 1960, стр. 149.

В некоторых примерах отражается такое явление живой речи, как произнесение гласного *e* в определенной позиции как *o*; характерен параллелизм написаний, рекомендуемых автором: *я, ты, онъ шелъ* или *шолъ* (стр. 49). Отмечается и такой факт живой речи, как употребление повелительного наклонения от глагола *пойти* без *ѣ*: *поди по-смотри* (стр. 36), *поди* (стр. 51).

При встрече звонких и глухих согласных написание ряда слов воспроизводит произношение с ассимиляцией по глухости или звонкости. Так, все числительные содержат элемент *-тъцъ*: *дванатцать, дватцать, трицать дватцатю, трицатю* и т. д. (стр. 11—12). Ср. также: *крушку* (стр. 37), *юлка* (стр. 64), *збери на столъ* (стр. 37), *збѣлаю, збѣлашь* (стр. 59); но: *ложка* (стр. 63), *рассуждение* (стр. 18, 20) и др.

В области морфологии обращает на себя внимание близость морфологических норм грамматики Горлицкого к современной литературной речи и отсутствие различного рода архаизмов в склонении и в спряжении, которые были свойственны грамматикам доломоновской поры. Так, в грамматике отсутствуют формы двойственного числа в склонении, звательный падеж имен существительных, энклитические формы местоимений, архаические формы прошедшего времени глаголов.

В области склонения Горлицкий перераспределяет четыре типа склонения имен существительных, представленные в грамматиках Лудольфа, Копиевского, Максимова, Адогурова, в два. Он определяет типы склонения не по окончаниям *ослов*, как это делали грамматики старославянского и русского языка, а по окончанию им. падежа, учитывая при этом общность флексий в каждом из косвенных падежей. Поэтому в каждом типе склонения объединяются имена существительные с разными основами, но совпадающие по флексиям им. и косвенных падежей. Конечно, подобная группировка носит чисто утилитарный характер, она отражает методические устремления автора, который стремится создать упрощенный вариант грамматики.

К первому склонению (стр. 15—18) Горлицкий относит имена существительные жен. рода с окончанием *-а, -я* твердого и мягкого вариантов: *жена, рыба, государыня*. Парадигмы склонения этих существительных в грамматике Горлицкого соответствуют современному второму склонению имен существительных. В это же склонение включаются существительные жен. рода с окончанием *-а (-я)*: *Франція, коллегія*, к которым делается следующее примечание: «Эти имена существительные и им подобные должны иметь в родительном, дательном и предложном падежах окончание *-ию*» (стр. 16). К первому склонению отнесены также имена существительных ср. рода на *-мя (имя, племя, семья)*, которые в род., дат. и мест. падежах ед. числа имеют окончание *-и: имяни, племяни, семьяни*. Флексии существительных на *-мя* во мн. числе у Горлицкого соответствуют современному. В это же склонение включаются имена существительные жен. рода с окончанием на мягкий согласный и на *ж, ш (лошадь)*. Косвенные падежи этих существительных идентичны флексиям современного третьего склонения, кроме дат. и мест. падежей, которые у Горлицкого имеют *-ѣ (лошадѣ)*. В этом можно видеть влияние твердой разновидности склонения *-а (-ѣ)* основ на склонение существительных с основами *-ѣ (ѣ)*¹⁷. Грамматики Лудольфа, Максимова, Адогурова в дат. и мест. этого типа склонения дают окончание *-и*. Окончание тв. ед. у Горлицкого *-ю (лошадю)*, у Лудольфа и Максимова *-ю*, у Адогурова *-ю* и *-ью*. Тв. мн. у Горлицкого и Лудольфа *-ми (лошадми)*, у Адогурова *-ями* и *-ьми*. В мест. мн. у Горлицкого живая русская форма *-ягъ (о лошадыгъ)*, у Лудольфа и Максимова книжнославянская — *-ехъ (о лошадыгъ)*.

Ко второму склонению Горлицкий относит все имена существительные муж. рода с окончанием на твердый согласный с *ъ* на конце и на *-еи (посолъ, Василии, Лаврентеи)* и все существительные ср. рода с флексией *-о* и *-е (ниво, море, рассуждение)* (стр. 18—20). Парадигмы склонения имен существительных муж. и ср. рода не отличаются от современного первого склонения. Тв. ед. имеет флексию *-омъ*, мест. *-ѣ*. Им. мн. имен существительных муж. рода имеет окончание *-и (-и)*, ср. рода *-а*, род. мн. муж. рода *-овъ*, ср. рода *-ѣ*. Для имен существительных ср. рода с окончанием на *-ие* в род. мн. предлагается флексия *-неи (рассужденеи)*.

В грамматике отсутствуют парадигмы склонения имен прилагательных, которые в других грамматиках приравнивают к именам существительным и называются пятым склонением. Наблюдения над склонением указательных местоимений и над текстами показывают, что все прилагательные склоняются по членному типу. Им. ед. муж. рода представлен в основном русской флексией *-ои/-еи*. Все порядковые числительные имеют эту флексию. Книжная форма на *-ицѣ* встречается редко, обычно в славянизмах: *богоблагодатныи* (стр. 6), *духовныи* (стр. 7), *людскѣи, небесныи* (стр. 8), *сладоблескѣи* (стр. 10) и т. д. Род. ед. муж. и ср. рода имеет формы *-ово* и *-ово*. В этом же падеже фиксируется и живое произношение *-ова: доброва* (стр. 29), *ренскова* (стр. 62), *деревянова, курительнова* (стр. 63) и т. д. Славянская форма *-аго* наблюдается в склонении местоимений *которои* и *иъкоторои* и в книжных текстах: *Посолю Императора Римскаго*,

¹⁷ Это явление отмечается применительно и к другим периодам истории русского языка. См.: В. И. Б о р к о в с к и й, П. С. К у з н е ц о в, Историческая грамматика русского языка, М., 1963, стр. 194—195.

Сын Короля Французского (стр. 29) и т. д. На стр. 23 специально оговаривается, что формы мн. числа указательных местоимений являются общими для всех трех родов. Отмечается лишь один пример с архаической формой им. мн. муж. рода на *-и/-иу*: *слуги Капитански* (стр. 30)¹⁸.

Склонение личных местоимений 1 и 2-го лица ед. и мн. чисел и возвратного местоимения (стр. 20—23) соответствует современному. Но в склонении личного местоимения 3-го лица наблюдаются такие формы, которые указывают на незавершенность процессов нормализации в этой сфере. Так, мест. ед. местоимения *онъ* имеет форму древнерусского указательного местоимения *емъ* (у Аодуорова уже современного *немъ*). Род., дат. и мест. ед. местоимения *она* получают форму *еи* (в грамматике Аодуорова соответственно *ея, ей, ней*). При склонении местоимения *они* дат. падеж получает форму *имъ*, тв. *ими*, мест. *изъ* (в грамматике Аодуорова соответственно *имъ, ними* и *ими, нихъ*). В других падежах формы парадигм соответствуют современным. Склонение указательных местоимений *тотъ, та, то, етотъ, ета, ето, сеи, сия, сие* соответствует современным, кроме тв. падежа местоимения муж. и ср. рода *этъмъ* и форм мн. числа местоимения *этотъ*, которое склоняется по твердому варианту. В род. ед. муж. и ср. рода отмечены параллельные формы *того* и *того, етого* и *етого*.

Все числительные из грамматики Горлицкого соответствуют современным, кроме *осми*, *осмнатцать* и производных. В словосочетаниях с числительным *четыре* наблюдаются недифференцированные написания. Ср.: *четыри челоуька, четыри рубля, четыри лошади* (стр. 28, в последнем слове, вероятно, опечатка), *четыри тысьчи* (стр. 12), *четырижди* (стр. 13), *четырь боки* (стр. 14) и т. д., но исходная форма представлена правильно — *четыре* (стр. 11).

Автор достаточно подробно рассматривает различные значения предлогов: *у* с род. падежом, *к* с дат., *в* с вин., *о* с мест., *из* с род. и т. д. (см. стр. 30—34). Их значения рассматриваются в словосочетаниях. Так, употребление предлога *к* с дат. при указании направления «куда» для обозначения лица иллюстрируется серией следующих примеров: *я иду за рьку къ моему брату, иду къ моей сестрицѣ, поиду къ моему корреспонденту* и т. д. Сопоставление этих примеров со словосочетаниями, построенными по модели «идти + предлог + с вин. падеж.» (*я иду въ поле, я иду въ Москву*), позволяет сделать вывод о разграничении этих моделей при указании направления и места действия в зависимости от одушевленности или неодушевленности существительного. Установленная закономерность в употреблении предлога *в* дополняется правилом использования предлога *из* в словосочетаниях для обозначения движения «откуда»: *я иду изъ повари, я иду изъ Москвы* и т. д. В этом же разделе рассматривается употребление предлога *о* (*об*) в конструкциях с мест. падежом в словосочетаниях с глаголами мысли и речи: *я говорю о моихъ женѣ, пишу о моемъ братѣ* и т. д., и употребление предлога *у* с род. падежом в конструкциях типа: *я былъ у моихъ госпожи* и т. д.

В разделе, посвященном глаголу, автор грамматики не дает правил спряжения, но по флексиям видно, что в русском глаголе он выделяет 1 и 2-е спряжения. Формы глаголов приводятся в следующей последовательности: сначала идут парадигмы спряжения настоящего, прошедшего и будущего времени, затем сообщаются формы повелительного и условного наклонения, приводятся инфинитив и формы причастий и дееспричастий. В конце раздела помещается список глаголов с указанием форм настоящего или будущего времени, прошедшего времени и инфинитива. Устарелые формы прошедших времен не приводятся в грамматике. Образцы спряжения глаголов и образование их форм за редким исключением соответствуют современным парадигмам и формам. При спряжении глагола *быть* в настоящем времени не оговаривается, что формы 1 и 2-го лица ед. числа и 1, 2 и 3-го лица мн. числа не употребляются в речи (стр. 46). В ед. и мн. числа глагол *зотвь* спрягается по 1-му спряжению (стр. 49). Наряду с формами прошедшего времени ед. числа муж. рода *могъ, росъ, несъ* встречаются и *могъ* (стр. 50), *рослаъ* (стр. 58), *неслаъ* (стр. 61).

В этом разделе много опечаток и ошибок, затрудняющих анализ: *блюблень* вместо *влюблень* (стр. 45), инфинитивы *биться* (стр. 57), *боятся* (стр. 58), *дешиться* (стр. 61) напечатаны без *ь*, инфинитив *любить* напечатан с *ъ* (стр. 45), форма 3-го лица мн. числа настоящего времени от глагола *зотвь* дана неправильно — она идентична форме инфинитива (стр. 49), повелительное наклонение 2-го лица ед. и мн. числа от глагола *имѣть* представлено как *имѣти* и *имѣте* (стр. 46) и т. д.

Хотя данные морфологии у Горлицкого отличаются нестротой, так как в них отражается процесс складывания новой литературной речи, однако эта грамматика дает более строгую систему морфологических норм, чем это можно обнаружить у Лудольфа, Кошевского и Максимова. Морфологические формы в грамматике Горлицкого отличаются значительной близостью к современной литературной русской речи, хотя

¹⁸ Анахронизмом выглядит стремление Тредиаковского вести начиная с 1746 г. разные родовые окончания в им. падеже мн. числа для прилагательных, местоимений и причастий. См.: В. П. В о м п е р с к и й, Ненапечатанная статья В. К. Тредиаковского «О множественном прилагательных целых имен окончении», ФН, 1963, 5.

диалектные вкрапления достаточно обильны. Правда, они не образуют целостной системы, представляя собою конгломерат разнородных диалектных черт.

Диалектными чертами южнорусской речи является употребление флексии *-ѣ* в дат. и мест. ед. имен существительных жен. рода современного третьего склонения: *лошаѣѣ* (стр. 17); инфинитива глаголов с суффиксом *т'*: *нести, принести, отнести* (все примеры на стр. 61), *привезти* (стр. 37) и инфинитива *итти* — *итти дождю* (стр. 59), *воити* (стр. 58); предлога *по* с вин. падежом неодушевленных и одушевленных имен существительных в конструкциях со значением цели: *поди по обедѣ* (стр. 36). Последнее явление отмечается также и в среднерусских говорах. Севернорусской чертой является окончание *-еи* в именах муж. рода: *Афанасеи, Лаврентеи* (стр. 19).

Показательны и диалектизмы в лексике. Характерен украинизм *коштувать* (вероятно, польское заимствование из немецкого) — *Что вамъ коштуеть эта лошаѣѣ* (стр. 37, в тексте: *кошту*); глагол *нишнуть* в значении «замолчать», распространенный на большой территории среднерусских и южнорусских говоров¹⁹.

Лексика пособия Горлицкого содержит в основном элементы русской обиходной речи. Это по преимуществу слова, представляющие собою названия различного рода продуктов питания, одежды, мебели, профессий и т. д. Вот несколько иллюстраций: *столь, ложка, мясо, баранина, птица, тетеревинокъ, рыба, пиво, платокъ, калака, священникъ* и т. д. (стр. 62—64). В примерах много вкраплений просторечных слов и выражений: *куди* (стр. 40), *сюды* (стр. 61), *вчера* (стр. 31, 34, 37), *поваря* (стр. 33, 34, 37), *кума* (стр. 40), *нужники* (стр. 40), *изволить* в сочетании с инфинитивом в значении формулы благодарности, приглашения и т. д. (*изволите госпожа учинить мне честь принять чашку кофею* — стр. 35), *баронша, сержантша, корпоралиша* (стр. 35) — имена существительные жен. рода с суффиксом *-ша* для названия жен по сословному положению мужа или его профессии и т. д.

Как отражение процессов, происходивших в лексике литературного языка Петровского времени, в грамматике обильно представлены заимствования из разных языков: *стулъ, салата* (в форме жен. рода), *салфетка, кофей, скарпетки, комзоль, корреспонденць, галстугъ, табакерка, манжетки, аптекаръ* и т. д. (стр. 61—64). Любопытны наблюдения над переводом некоторых французских слов. Слово *une casserole* переведено как *касариць* (стр. 62), хотя имя существительное *кастрюля* известно, по данным Фасмера, с 1720 г.²⁰ Слово *les pincettes* разъясняется с помощью русизма *клящи* (стр. 62), *une broche* переводится словом *рожень* (стр. 62)²¹, *un corset* — более ранним заимствованием с 1720 г. из голландского *бострогъ* «куртка, фуфайка», обозначающим род одежды моряков (стр. 64)²², *un collier* — словом *переведка* (стр. 64), *un manteau* — словом *епанча* (стр. 38), *une lettre* — словами *грамотка* (стр. 34) и *письмо* (стр. 20) и т. д.

Если оставить в стороне списки слов церковного содержания, использовавшихся под титулами в конфессиональном употреблении, то слои славянизмов в грамматике представлен в основном словами, вошедшими в состав русского литературного языка.

Для грамматики характерно отсутствие «обветшалых славянизмов» по терминологии Ломоносова. Из числа славянизмов, имеющих стилистическую окраску, следует отметить такие слова, как *аще* (стр. 28), имя существительное *здратье* в примере: *пить за здраіе госпожи капитанши* (стр. 36), глагол *рачить* «заботиться» (стр. 60) и т. д.

В. П. Волперский

¹⁹ В «Опыте областного великорусского словаря, изданного Вторым отд. имп. Акад. наук», указывается следующая территория распространения: «Владим. Покр., Костр. Нерех., Моск. Дмитр., Пенз. Наровч., Ряз. Касим. Равенб., Тамб., Твер. Вышневолоц. Осташ. Стариц.» (СПб., 1852, стр. 129).

²⁰ См.: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь русского языка, II, М., 1967, стр. 208.

²¹ В «Новом лексиконе на французском, немецком, латинском и на российском языках» С. Волчкова (СПб., 1755) семантика слова *broche* описывается следующим образом: «Вертель, роженекъ; на чомъ мясо жарять» (I, стр. 317). Ср.: «Роженъ — Заостренный кол, недлинная жердь. Рожновый. Стар. Относящийся к рожну. — Рожновое куря, зн. на рожке, или вертеле приготовленный щыленок» («Словарь церковнославянского и русского языка, составленный Вторым отд. имп. Акад. наук», 4, СПб., 1847, стр. 142).

²² Ср. в словаре С. Волчкова: «Corset, ш.— Женской бострогъ без рукавовъ, корсетъ» (I, стр. 568). См. также: М. Ф а с м е р, Этимологический словарь..., I, М., 1964, стр. 199.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

H. Kučera, W. Nelson. Computational analysis of present-day American English. — Providence, Rhode Island, Francis Brown University Press, 1967. 424 стр.

Рецензируемая книга представляет собой корпус, или свод, современного письменного американского варианта английского языка, обработанный на электронных счетных машинах, анализ лексико-статистических данных, полученных при машинном подсчете частотности слов-типов «корпуса» и результаты последующей математической обработки полученных при подсчете данных.

Основной целью этого труда, в отличие от всех ранее проводившихся подсчетов частотности слов для варианта основного словаря, было само создание подобного «корпуса» письменного американского варианта английского языка с последующим глубоким статистическим анализом полученных цифровых данных.

При создании корпуса, подготовленного группой ученых под руководством проф. Г. Кучера в Браунском университете (США) в течение 1963—1964 г., соблюдались следующие основные требования при отборе исходного языкового материала: 1) разбиение всех 500 отобранных текстов на 15 основных жанров или направлений (каждый жанр был представлен набором отрывков в 2000 слов). При этом количественное соотношение отрывков по жанрам определялось специальной комиссией, соответственно количеству письменного материала; 2) полная синхронность подобранных текстов: сюда отбирались отрывки из материала, опубликованного в течение одного календарного года. При этом строго соблюдалось следующее правило: материал организовывался так, чтобы из всего корпуса всегда можно было легко выделить отрывок любой длины. Учитывалась также возможность распространения данных методов анализа на другие участки корпуса и английского языка вообще. Сам корпус представляет собой свод 1014232 слов, извлеченных из подлинных (аутентичных) текстов¹.

¹ Детали кодирования, отбора текстов, разнесения по жанрам, определение количественного соотношения отрывков по жанрам, определение длины отрывков, требования к самим текстам, списки всех текстов, перфокарты, ленты, описания счетных машин и программ

Корпус не ставит своей задачей проверку достоверности различных математических моделей языка или предложение новых моделей. Однако авторы надеются, что цифровые таблицы, которые суммируют результаты анализа частотности слов корпуса и его различных подразделов, дадут ценный материал для обработки и совершенствования статистических исследований в области языка и сделают возможным построение более совершенных его математических моделей.

Книга содержит список слов-типов (types) с индексами реальной частотности, количества жанров и количества отрывков, в которых данное слово встречается. Например, *the* имеет частотность 69 971, встречается во всех 15 жанрах и во всех 500 отрывках. В список оно занесено следующим образом: 69 971—15—500 *the*. Список составлен в порядке убывания частотности слов. Далее помещен список этих же слов-типов, но уже разнесенный в алфавитном порядке. Следующие подразделы книги содержат данные математического анализа в виде таблиц и графиков.

Рецензируемая книга представляет огромный интерес как в плане теоретического исследования английского языка, так и в плане его практического применения. Тот факт, что корпус содержит структуры, которые могут быть исследованы с точки зрения грамматического выражения без учета семантического содержания, составляющих структуру слов-типов и слов-членов (возможно *token* следовало бы переводить как «слово-знак», а не «слово-член»), позволяет исследовать словарный состав в различных разновидностях письменного языка и провести корреляцию между лексическими свойствами отрывка и содержащейся в нем семантической информацией.

Представленный объем материала, его стилистическое разнообразие, объективность данных, полученных машинной обработкой (что в свою очередь требует

можно найти в информационном сборнике факультета лингвистики Браунского университета за 1964 г.

очень глубокого и критического подхода исследователя к анализу языковых реалий), все это обеспечивает научную строгость и точность полученных результатов.

Большое внимание в книге уделяется анализу распределения ста самых частотных слов английского языка, который был проведен на основе использования формулы статистической вероятности. Так, например, относительная частота ста самых частотных слов составляет 0,010% и более. Таблица распределения встречаемости этих ста слов (distribution-of-occurrence table) показывает интересные отклонения и некоторые частотные неравномерности распределения единиц высокочастотного словаря. Так, *the* является самой высокочастотной единицей во всех жанрах, второе по частоте слово *of* является самым частым в десяти жанрах, а третье по частоте слово *and* лишь в пяти жанрах. Уже из этих трех примеров видно, что выбор слов для соответствующего жанра не является случайным, а целиком обуславливается стилем, что подтверждается цифровыми колебаниями относительной частоты слов в различных жанрах. Так, для *the* (1 ранг) 5,09%—7,73%, для *and* (3 ранг) от 2,44% до 3,28%, для *we* (41 ранг) от 0,121% до 0,630%, для *many* (89 ранг) от 0,033% до 0,172%. К сожалению, такой анализ дан только для ста самых частотных слов, так как объем книги не позволяет подвергнуть такому анализу все 50 406 слов-типов. Однако при желании, используя данные статистико-вероятностной формулы, такие сведения можно получить для любого слова-типа или любого набора слов-типов корпуса. Введение ранговой (порядковой) величины, которая применяется авторами произвольно, позволяет использовать истинную частоту слов-типов корпуса, чтобы подсчитать относительную частоту любого слова языка на базе частотных характеристик данного корпуса.

Очень интересен анализ *haphs legomena*, которые составляют 44,72% от всего корпуса. Если проследить распределение *haphs legomena* в зависимости от количественного объема подраздела, то мы получим:

для 1 014 232 слова-члена (весь корпус)—
44,72%

для 100 000 (50 отрывков) — 51,64%

для 18 000 (9 отрывков)—64,00%—65,99%

для 10 000 (5 отрывков) — 70,00%—
71,99%

для 10 000 (5 других отрывков) —
72,00% — 73,99%

для 2000 (1 отрывок) — 76,00%—77,99%

для 2000 (другой) — 78,00%—79,99%

Эта таблица показывает влияние размера подраздела на процент содержания *haphs legomena* и отражает характер исследованных жанров.

Большой интерес представляют таблицы и график соотношения слов-типов и слов-членов с их графической протяженностью. Из 50 406 слов-типов корпуса слова длиной от 3 до 13 графем составляют большинство. Самое большое количество слов длиной в 6—9 графем. Слова протяженностью в 32—44 графемы встречались лишь единицами. Среди слов-членов распределение происходит несколько иначе; самыми многочисленными являются слова-члены в 2—5 графем, затем число слов-членов резко падает и вновь резко возрастает в пределах 10—11 графем. Все эти таблицы и график дают наглядное представление о средней графической протяженности слов английского языка.

В корпусе дан также анализ распределения предложений соответственно их графической длине. Такой анализ дан не только для всего корпуса в целом, но также и для отдельных его жанров. Средняя длина предложений для всего корпуса составляет 19,2 слова, а для различных жанров колеблется от 25,4 до 12,7 слова. Наибольшая средняя протяженность предложений характерна для правительственных документов и научных статей, наименьшая средняя длина — для детективных романов. Отсюда совершенно очевиден сам факт стилистического использования длины предложения, которая различна для различных жанров языка. Наличие двух пиков на графиках протяженности предложений говорит, по всей вероятности, о наличии двух популяций предложений в отдельных жанрах. Отмечается также зависимость средней длины предложений от количества цитат. Чем меньше цитат, например, в научных статьях (2,8%), тем больше средняя длина предложений, для этого жанра она равна 23,8 графем. Самый высокий процент цитированного материала (29,2%) отмечается для романтических описаний в беллетристике, для жанра с относительно низкой средней длиной предложений в 13,7 графем. Однако такая корреляция наблюдается не всегда, так как на нее оказывают влияние и другие стилистические факторы.

Самая высокая средняя протяженность предложений — в правительственных документах, научных статьях, религиозных трактатах обуславливается и таким стилистическим фактором, как сам способ выражения мысли, который в свою очередь обусловлен тем, что читатель так же заинтересован в получении информации, как и автор заинтересован в самом точном и стилистически правильно оформленном представлении такой информации, а также сложностью самих сообщаемых мыслей.

Проблема использования электронно-вычислительной техники в лингвистическом исследовании является в настоя-

щее время одной из самых актуальных проблем, и ее успешное решение позволит и дальше использовать и развивать точные методы исследования в области языкознания. Можно согласиться с теми учеными, которые утверждают, что уже в настоящее время можно говорить о возникновении и успешном становлении такого нового направления в лингвистике, как вычислительная лингвистика (computational linguistics)².

² Ср. появление таких работ, как: M. Levison, *The mechanical analysis of language*, Teddington, 1961; H. Josselson, *Automatization of lexicography*, ..., 1965; D. Humes, *The use of computers in anthropology*, the Hague, 1965; D. Hays, *Introduction to computational linguistics*, New York, 1967. О тех путях, по которым идет раз-

витие этой области знания, читатель может составить представление, познакомившись с рецензиями О. С. Ахмановой на кн. «The use of computers in anthropology» (ВЯ, 1967, 3) и И. А. Мельчука на сб. «Автоматизация в лингвистике» (ВЯ, 1968, I).

М. М. Глушко

Зд. Ф. Оливернус. Современный анализ современного русского языка. — Praha, Universita Karlova, 1957. 78 стр.

Зд. Оливернус ставит очень важную — и в практическом и в теоретическом плане — задачу описания морфем современного русского языка, их классификации и определения правил их соположения в слове. Опубликованная работа представляет собою лишь часть задуманного исследования. Эта часть содержит общие теоретические предпосылки — обсуждение проблемы уровней анализа языка, определение таких понятий, как фонема, морфема, описание операций по выделению морфем в тексте и соображения о классификации морфем. Автор предполагает во второй части работы дать инвентарь русских морфем (с их алломорфами), построить классификацию морфем и определить валентность типов и классов морфем. Такое разделение теоретических построений и конкретного анализа материала может быть легко объяснено серьезными трудностями в работе над морфемным анализом современного русского языка. Ведь и по сей день у нас нет даже надежного словаря русских морфем. (Вряд ли можно строить серьезное исследование, опираясь на словарь Е. Волконской и М. Полторацкой, предназначенный для учебных целей и не свободный от серьезных недостатков). Эта объективная причина, однако, не позволяет в полной мере оценить глубину теоретических соображений автора. Более того, при решении вопроса об определении фонемы и фонемного состава русского языка автор опирается на свое исследование о дистрибуции фонем русского языка, которое имеется только в рукописи.

Несмотря на указанные обстоятельства, опубликованная часть большой ра-

боты Зд. Оливернуса представляет собою законченное на определенном этапе исследование и содержит немало тонких и интересных наблюдений.

Нельзя не согласиться с мыслью автора о необходимости различать в языке явления, не реализуемые в силу их невозможности в данной структуре, и явления, просто не реализованные, несмотря на теоретическую допустимость их в данной структуре. Эта мысль уже высказывалась М. В. Пановым при определении синтагматических законов русской фонетики. К сожалению, на практике такое разграничение подчас довольно затруднительно. Например, существование слова *июньский* позволяет утверждать, что мягкие зубные возможны перед твердыми, в то время как отсутствие слов с мягким губным перед твердым губным не позволяет исследователю объективно решить, с фактами какого рода он столкнулся — с теоретически невозможными или лишь практически не представленными.

Во всяком случае, как пишет Зд. Оливернус, на основании допущения в языке теоретически невозможных и практически отсутствующих элементов можно выделить корень *бел* в слове *белка* и суффиксы *ч* и *ие* как в слове *вдумчивый*, так и в слове *уступчивый*. Подобное членение имеет, видимо, то преимущество перед традиционным, что в приведенном случае устанавливается не словообразовательная связь (от производящего слова — к производному), но определяется морфемная комбинаторика. Впрочем это выделение «мнимых» морфем приводит к тому, что в число морфем включаются элементы, не соотносимые

с планом содержания, что противоречит авторскому определению морфемы как билплановой единицы (стр. 34).

Вообще, как кажется, в концепции автора «значение» занимает не совсем ясно определенное место. Так, например, трудно спорить с чехословацким лингвистом, когда он, развивая идеи А. И. Смирницкого, пишет о многозначности нулевой морфемы. Не вызывает сомнения утверждение о том, что фонемный уровень не соотносим с планом содержания в отличие от морфемного и лексемного. Можно сочувственно относиться и к тому заявлению, что значение слова не есть просто сумма значений, составляющих его морфем. И выдвигаема здесь аналогия с известной классификацией фразеологических единиц, предложенной В. В. Виноградовым, представляется вполне уместной. Однако, когда автор переходит от изложения теоретических предположений к описанию операций, не всегда ясно, в какой степени он использует значение.

Так, в согласии с опытом дескриптивистов алломорфы идентифицируются на основе сегментации и субституции (стр. 43, раздел 2.21. 2.22). Некоторое отличие предлагаемой операции от аналогичной процедуры в дескриптивной лингвистике заключается во введении нуля уже на уровне субституции. Однако, как кажется, здесь содержится логическая непоследовательность. Ноль, в отличие от ненулевой алломорфы, невозможно выделить без обращения к плану содержания. Следовательно, получается, что при сегментации и субституции текста значения исключаются всюду, кроме нулевых морфем. Но ведь ноль становится морфемой лишь тогда, когда другие сегменты связываются с каким-либо значением. В противном случае нельзя понять, где же следует видеть нулевые морфемы.

После операций сегментации и субституции следует операция сведения алломорфов в морфемы. Здесь «идентичное значение, проверяемое комплементарностью и параллелизмом дистрибуции, является единым и достаточным критерием единства морфемы» (стр. 50). В морфему, таким образом, могут входить алломорфы с близким и совсем различным фонемным составом. Таким образом, несмотря на длительность процедуры, инвариант плана выражения не найден, и почти каждая морфема «рассыпается» на несколько алломорф, различия в фонемном составе которых остаются необъясненными. В этом случае кажутся не очень убедительными сообщения о том, что морфема должна вычлениваться лишь в тексте, репрезентированном фонемою, поскольку возникает множество вопросов, связанных с вариативностью фонем. Но ведь фонемная репрезентация служит лишь для устра-

нения вариативности, вариантности, которая в конце концов оказывается устраняемой.

Более логичным представлялся бы другой путь. На первом этапе — сегментация текста на морфемы на основе определения значения каждого сегмента (синтагматический анализ с неизменным учетом значений сегмента). На втором этапе — определение дистрибуции полученных сегментов. На третьем — сведение алломорфов в морфемы на основе идентичности значения и параллельности дистрибуции (парадигматический анализ с неизменным учетом значения). И на последнем этапе — определение фонетической близости алломорфов и поиск их инварианта с учетом фонологических и морфологических закономерностей. Последнее, кстати, никак не противоречит идее автора, выдвигающей задачу морфологии в описании фонемного состава алломорфов. По отношению же к алломорфам, для которых невозможно найти инвариант уровня выражения, встанет при морфемном анализе другая задача: определение условий, в которых употребляются либо одна, либо другая алломорфа, не имеющая инварианта на уровне выражения. Видимо, эта задача ясна и Эд. Оливерусу, поскольку далее он пишет, что «морфемы разных типов группируются в классы взаимозаменяющихся морфем на основе близости значения и подобности дистрибуции» (стр. 63).

В качестве примера фигурируют суффиксы *-тель, -ец, -ак*. Но ведь в соответствии с принятой автором процедурой сведения алломорфов в морфему они все должны быть признаны одной морфемой.

То же стремление прибегнуть к значению лишь после всех других способов описания проявляется и в классификации морфем, предлагаемой в работе Оливеруса. В отличие от традиционной классификации морфем, опирающейся на типы их значений, Оливерус предлагает классификацию, построенную на позиционном принципе. Предлагается различать финальные морфемы, т. е. употребляющиеся только в конце слова, и нефинальные, т. е. употребляющиеся во всех остальных позициях. Последние делятся на самостоятельные, т. е. обязательно сочетающиеся с другими нефинальными, и несамостоятельные, т. е. обязательно сочетающиеся с другими нефинальными. Самостоятельные морфемы предлагается делить на обособленные, т. е. не принимающие финалы, и соединяемые, т. е. принимающие финалы (стр. 57). Автор убедительно показывает важность префинального элемента в суффиксальных словах.

Интересны наблюдения о связи между различными классами морфем в слове. Впрочем многие из этих наблюдений являются тривиальным следствием из

выражаемых в иных терминах положений об особенностях суффиксального словообразования существительных, прилагательных и глаголов. В самом деле, существование, например, суффикса-*щик* связано с окончаниями им. сущ. муж. рода, окончание *-ий* предполагает, к примеру, предшествующий суффикс *-ски* или *-н-*, но не *-ец* и т. д.

Без сомнения, заслугой автора является понимание того, что теряется в позиционной классификации морфем по сравнению со смысловой. Речь идет, в первую очередь о том, что большинство русских служебных морфем, выражающих одновременно не одно грамматическое значение, противопоставл корневым и аффиксальным морфемам, реализующим лишь одно значение.

Некоторые неясные попытки представить значение как категорию, являющуюся в лингвистике неизбежным злом, можно видеть и в рассуждении о том, как позиция устраняет омонимию слов (стр. 13—14). Само по себе это утверждение бесспорно, однако задача формального определения позиций, в которых *лук* — «растение», а в которых *лук* — «оружие» вряд ли будет чрезвычайно простой. Таким образом, даже «позиция», если ею пытаются объяснить «значения», становится термином не слишком строгим.

Не хочется согласиться с автором, говорящем о «фонемной омонимии» (стр. 21). Ясно, что имеется в виду нейтрализация фонем, неразличение в определенной позиции двух элементов плана

выражения. А термин «омонимия» употребляется в случае различения на уровне выражения объекта, различающихся на уровне содержания.

Изложенные выше соображения базируются на той мысли, что уменьшение роли значения в лингвистическом анализе — более или менее сознательное — в данном случае не может быть признано целесообразным. Изгнание значения было на определенном этапе неизбежным при описании непонятных лингвистам языков. Изгнание значения как интуитивного понимания неизбежно при составлении линейных программ для электронно-вычислительных машин. Однако для разработки проблем морфемного анализа русского языка значение необходимо. Без полного его признания как необходимого элемента лингвистического исследования невозможно провести морфемный анализ. Нет необходимости исключать из наших знаний о значении морфем. С другой стороны, в случае необходимости провести для каких-то нужд морфемный анализ без обращения к значению, он может быть проведен только после анализа с учетом значения. К сожалению, эта первоначальная работа еще не выполнена. Хорошо, что она нашла своего исследователя. Завершение такой работы будет важным вкладом в науку о русском языке и, видимо, позволит проверить безупречность теоретических построений Эд. Оливерпуса.

И. Г. Милославский

М. Кубик. Условные конструкции и система сложного предложения. — Praha, Universita Karlova, 1967. М. Кубик. Изъяснительные конструкции и способы их порождения. — Praha, Universita Karlova, 1967 (сб. «Проблемы современной лингвистики»)

В рецензируемых работах М. Кубика анализируются два типа сложноподчиненных предложений современного русского языка. Работы различаются по характеру и по методу исследования. Первая из них — монографическое, то есть ставящее целью всестороннюю и исчерпывающую характеристику рассматриваемого объекта, описание условных сложноподчиненных предложений, выполненное сопоставительным методом. Вторая работа — статья, задача которой сводится к собственно грамматической характеристике сложноподчиненных предложений изъяснительного типа, и точнее — к рассмотрению способов порождения различных изъяснительных конструкций. В исследовании фактического материала и построении внутренней классификации изъяснитель-

ных предложений автор пользуется методом генеративной (порождающей) грамматики — выводит готовые, употребляющиеся в речи изъяснительные конструкции («поверхностные структуры») из конструкций, на базе которых они образовались, — определяет их «глубинную структуру».

Рецензируемые работы и объединяются между собой. У них один объект исследования — сложное предложение и общая конечная цель — изучение системы сложных предложений русского языка и определение места отдельного типа в этой системе. У обеих работ общие теоретические предпосылки.

Монография «Условные конструкции...» отчетливо разделяется на две части. Две первые главы [1. Определение сложного предложения и его грамматическая струк-

тура, II. Классификация сложноподчиненных предложений (стр. 9—87) составляют вступительную часть, в которой автор определяет исходные теоретические позиции — излагает свою точку зрения на грамматическую природу сложного предложения, дает классификацию сложноподчиненных предложений, намечает основные принципы анализа грамматической структуры сложного предложения. Три следующие главы [III. Условные сложноподчиненные предложения, IV. Некоторые особенности в употреблении условных союзов, V. К вопросу об образовании условных союзов в русском и чешском языках (стр. 88—215)] составляют собственно исследование условных конструкций.

В понимании грамматической природы сложного предложения М. Кубик стоит, на наш взгляд, на наиболее удачной из имеющихся сейчас в синтаксисе точек зрения¹. Согласно этой точке зрения, как сложное предложение в целом, так и его компоненты рассматриваются с двух сторон — структурной и коммуникативной. Такой дуальный подход приводит к совершенно правильному выводу о том, что сложное предложение по своей грамматической природе является сочетанием компонентов, которые, обладая структурными признаками самостоятельных простых предложений, отличаются от них, однако, отсутствием коммуникативной самостоятельности, которая свойственна только всему сложному предложению в целом. Преимущество этой точки зрения — в преодолении одностороннего подхода к сложному предложению и его компонентам, заключающегося в рассмотрении их или как явлений только структурных, или же как явлений коммуникативных.

Чрезвычайно важным для разработки синтаксиса сложного предложения является изучение средств связи частей сложного предложения, поскольку способ объединения частей — как известно, определяющая черта структуры сложного предложения. В работах М. Кубика вопрос о средствах связи рассматривается с новой стороны — с точки зрения того, чем мотивируется выбор средств связи, способ оформления придаточного в том или другом типе сложноподчиненного предложения. Такая постановка вопроса представляется очень плодотворной для изучения синтаксиса сложного предложения. Вопрос о мотивированности средств связи частей сложного предложения в синтаксической литературе ставился². Но здесь обусловленность средств связи выдвигается как главный признак сложного предложения и кладется в основу классификации сложноподчиненных предложений.

В качестве главных факторов, определяющих способ связи частей сложного предложения, указываются два: 1) характер смысловых отношений между частями сложного предложения (ср. *Становится прохладно, и они закрывают окна; Как только становится прохладно, они закрывают окна; Если становится прохладно, они закрывают окна; Так как становится прохладно, они закрывают окна;* и т. д.), 2) наличие в структуре сложного предложения определенных конструктивных элементов, так называемых конструктивно-определяющих слов (ср. *Автор утверждает, что...; Он желает, чтобы..., Я не из тех, кто...;* и т. д.).

Классификация сложноподчиненных предложений в работах М. Кубика основывается на классификации Н. С. Поспелова и представляет собой еще одну, и, на наш взгляд, не безуспешную, попытку дальнейшей ее разработки и улучшения. Наиболее важным является, на наш взгляд, изменение, внесенное М. Кубиком в основание разграничения сложноподчиненных предложений расчлененного и нерасчлененного типа (двучленных и одночленных по терминологии Н. С. Поспелова). Вместо ставшего у нас почти общепринятым³ принципа отнесенности придаточного ко всей главной части в целом или к одному из слов главной части М. Кубик кладет в основу разграничения расчлененных и нерасчлененных сложноподчиненных предложений принцип различия мотивированности средств связи придаточной части с главной.

Нерасчлененные — те, которые содержат в главной части конструктивно-определяющее слово, обуславливающее (в силу своих лексико-грамматических

² См., например: Е. А. Иванчикова, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5, где этот вопрос затрагивается, хотя и не является основным.

³ См. классификацию сложноподчиненных предложений в статьях: С. Е. Крючков, Л. Ю. Максимов, Типы сложноподчиненных предложений с придаточной частью, относящейся к одному слову или словосочетанию главной части, ВЯ, 1960, 1; и также: К вопросу о типологии сложноподчиненных предложений, Уч. зап. [МГПИ им. Ленина], 148, Русский язык, 10, М., 1960; В. А. Белошанкова, Сложное предложение...

¹ У нас сходную точку зрения развивает В. А. Белошанкова. См.: В. А. Белошанкова, Построение раздела «Синтаксис сложного предложения» в кн. «Основы построения описательной грамматики современного русского литературного языка», М., 1966; ее же, Сложное предложение в современном русском языке, М., 1967.

свойств) способ связи придаточной части с главной. Расчлененные — предложения, в которых выбор средств связи, способ оформления придаточного не зависят от тех или других конструктивных свойств главной части, а определяется лишь смысловыми отношениями частей, из чего вытекает значительная свобода придаточной части в соединении с тем или другим видом придаточного.

Признак, положенный в основание разграничения сложноподчиненных предложений М. Кубиком, не противоречит признаку, на основе которого разграничиваются сложноподчиненные предложения у Н. С. Поспелова, и не снимает его. Но он представляется более грамматичным, более четко отражающим структурные различия между двумя главными разновидностями сложноподчиненных предложений.

Хочется остановиться на постановке у М. Кубика вопроса о месте бессоюзных сложных предложений в системе сложного предложения. В нашей синтаксической литературе в последние годы укрепился взгляд на бессоюзные предложения как на конструкции, стоящие обособленно, за пределами сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Невозможность различения сочинения и подчинения мотивируется отсутствием в них таких четких показателей сочинительной или подчинительной связи, как союзы и союзные слова⁴. М. Кубик предлагает дифференцированный подход к бессоюзным сложным предложениям, выделяющий из бессоюзных предложений ряд типов, у которых, несмотря на отсутствие союзов, совершенно очевидна структурно-семантическая близость к соответствующим союзным предложениям и которые поэтому вполне возможно рассматривать в пределах того или другого союзного типа как один из его структурных вариантов. К таким относятся, например, изъяснительные бессоюзные предложения, которые, обладая той же существенной чертой, что и союзные — наличие в главной части слова с определенной семантикой и способностью к сильному фразовому управлению — не могут не считаться структурным вариантом союзного типа. Ср.: *Я в и ж у,*

⁴ Эту точку зрения развивает Н. С. Поспелов в ст. «О грамматической природе и принципах классификации бессоюзных сложных предложений», сб. «Вопросы синтаксиса современного русского языка», М., 1950; см. также у других синтаксиков: Е. А. Иванчикова, Соотносительное употребление форм будущего времени глагола в составе частей бессоюзного сложного предложения, сб. «Исследования по синтаксису русского литературного языка», М., 1956; В. А. Белошапкова, Сложное предложение...

что здесь ничего не изменилось; Я в и ж у, здесь ничего не изменилось.

Дифференцированный подход к бессоюзным сложным предложениям представляется более целесообразным.

Среди бессоюзных условных предложений также есть, по мнению автора, такие разновидности, которые имеют формальные основания для объединения с союзными. Однако в основной части работы раздела о бессоюзных условных предложениях нет, а материал, который мог бы составить этот раздел, либо рассматривается кратко во вступительной части, либо совсем не рассматривается. Короче говоря, исходное положение автора о бессоюзных сложных предложениях в применении к условным бессоюзным предложениям остается нереализованным.

Есть во вступительной части монографии «Условные конструкции...» также положения, с которыми нельзя согласиться. Одно из них — о соотносительных словах. М. Кубик включает в разряд соотносительных слов парочки с конкретным лексическим значением, такие, например, как *вперед, направо*, и считает, что они, как и указательные местоимения (*тот, туда, там* и т. п.) могут стать структурным ядром («конструктивно-определяющим словом») сложных предложений местоименно-соотносительного («коррелятивно-относительного») типа.

Считаем, что предложения *Они оба посмотрели туда, куда предстояло идти полку; Они оба посмотрели вперед, куда предстояло идти полку* не могут рассматриваться как предложения одного, местоименно-соотносительного («коррелятивно-относительного») типа. Слова типа *вперед, направо*, в отличие от указательных местоимений (*туда, там* и т. п.), не нуждаются в конкретизации своего значения и потому не сигнализируют о необходимости придаточной части. Стать соотносительными словами и образовать сложное предложение местоименно-соотносительного типа способны только местоимения. Что же касается предложений типа *Они посмотрели вперед, куда им предстояло идти*, то мы считаем, что это предложения другого типа: это бессоюзные предложения с пояснительными отношениями, которые можно выразить с помощью пояснительных союзов *то есть, а именно*. Одинаковое же оформление придаточных в этих предложениях и предложений местоименно-соотносительного типа (что М. Кубик выдвигает как аргумент в пользу своего утверждения) не является здесь существенным: в качестве поясняющего может выступать придаточное с любым оформлением⁵.

⁵ См.: Г. П. Уханов, Пояснительные конструкции с союзом *то есть* и придаточным предложением во второй

Нельзя, по нашему мнению, считать указательные местоимения — соотносительные слова средством выражения модальности предложения, как это делается у М. Кубика (стр. 33 «Условных конструкций...»), иначе понятие модальности становится совершенно неясным.

В анализе фактического материала М. Кубик, используя опыт исследования условных сложноподчиненных предложений в русской и чешской литературе, и прежде всего в работах Р. П. Рогожниковой⁶, вносит в характеристику условных предложений ряд существенных уточнений, поправок, приводит новые, интересные наблюдения. Сопоставительный метод позволяет М. Кубику выявить целый ряд структурно-семантических особенностей условных предложений, которые вне сопоставления остаются незамеченными или получают неверную трактовку. В сопоставительном ее плане заключается главная ценность монографии М. Кубика и большой ее интерес для синтаксиса сложного предложения.

В исследовании условных предложений М. Кубик следует принципу «комплексного анализа»⁷ грамматических средств, создающих структурно-семантическое единство сложного предложения. Несомненно, что только изучение всех черт структуры в их соотношении, неодинаковом даже в отдельных разновидностях одного типа, даст настоящее представление о сложном предложении.

Как на положительный момент в классификации условных предложений укажем на специально отмеченное М. Кубиком отсутствие резкой границы, которая обычно проводится между условными предложениями индикативной и кондициональной разновидности. Между полярно противоположными значениями — 1) значением реально существующего условия, близкого к причине, выражаемого индикативом, и 2) значением ирреального, явно не существующего и представляющегося неосуществимым условия, выражаемого кондиционалом — находятся конструкции со значением потенциального, возможного условия. И это значение в целом ряде случаев может выражаться как формами индикатива (будущего времени), так и формами кондиционала.

части, «Р. яз. в шк.», 1961, 2; И. М. О и ц е, Сложные предложения с пояснением в современном русском языке, канд. диссерт., М., 1965.

⁶ Р. П. Рогожникова, Условные придаточные предложения в современном русском языке, канд. диссерт., М., 1952, и др. работы.

⁷ См.: М. Кубик, Комплексный анализ структуры сложных предложений в русском языке, «Československá ruská», IX, 1964, 4.

Раздел, в который включаются структурные разновидности условных конструкций — предложения с инфинитивными, императивными, «неглагольными» придаточными (стр. 151—160), а также глава IV («Некоторые особенности в употреблении условных союзов»), в которой представлены предложения с условными союзами, частично или полностью утратившими свое условное значение, представляют большой интерес приведенным в них материалом. Но рассмотрен этот материал, к сожалению, довольно бегло, с трактовками также не всегда можно согласиться.

В последней, V главе работы («К вопросу об образовании условных союзов в русском и чешском языках») автор, опираясь на русскую и чешскую литературу по вопросу об образовании условных союзов, дает историческую справку о происхождении и развитии русского союза *если* и его чешских эквивалентов — союзов *jestli, jestliže, li*. Этот экскурс в историю условных союзов хорошо дополняет анализ современного языкового материала и делает работу более целостной по содержанию.

Во второй работе («Изяснительные конструкции и способы их порождения») М. Кубик анализирует изяснительные сложные предложения с помощью приема генеративной грамматики — исследует порождающие структуры и способы порождения изяснительных сложных предложений.

Такой подход помогает, прежде всего, более точной характеристике изяснительного типа в целом, более четкому разграничению изяснительных и некоторых других сложных предложений, поверхностные структуры которых близки.

Так, очевидно, нельзя не согласиться, что такие сложные предложения, как *Он исходит из того, что...; Он кончил тем, что...; Достаточно того, что...; Работа отличается тем, что...* относятся к изяснительному, а не местоименно-соотносительному типу, несмотря на то, что их главная часть (как и в местоименно-соотносительном типе) включает в себя как структурно необходимый элемент указательное местоимение, а изясняемое слово (*исходит, кончил, отличается, достаточно* и др.) не представляется по его семантике входящим в тот круг слов, которые принято считать изясняемыми.

Однако глубинная структура этих предложений оказывается точно такой же, как и у бесспорных изяснительных конструкций — с опорным словом со значением речи-мысли, способным присоединить к себе придаточное без помощи местоимения.

Ср. *Дождь кончился* † *Он сказал* +
+ *С_{obj} → Он сказал, что дождь кон-*

члса; Она работает \neq Достаточно + C_{obj} → Достаточно того, что она работает. В обоих случаях MS (матрицевая структура) включает опорное слово, нуждающееся в обязательном объектном (иногда — субъектном) распространителе. В обоих случаях CS (конститутивные структуры) одинаковы и заключаются в объектную позицию MS с помощью изъяснительного союза что.

Наличие/отсутствие коррелятива в главной части изъяснительных предложений — не существенная черта этого типа. Что же касается семантического круга изъясняемых слов, то он должен быть расширен.

Порождающие же структуры местоименно-соотносительных предложений отличаются от структур изъяснительных предложений своей CS (конститутивной структурой — придаточным предложением)⁸.

Однако, увлекшись трансформационными операциями, автор в некоторых случаях выходит за границы изъяснительного типа, забывая о его существенных структурных ограничениях. Так, М. Кубик относит к изъяснительной структуре типа... осудили за то, что...; ...наградили за то, что... и под. Глубинные структуры у них (Он хорошо работает \neq Его наградили + C_{obj}) только внешне совпадают со структурами изъяснительных предложений. По существу же они разные. MS изъяснительной конструкции имеет обязательную объектную позицию (Он сказал + C_{obj} ; Это приведет + C_{obj}). В рассматриваемых же случаях (Его наградили за то..., ...осудили за то...) позиция, заполненная местоимением, во-первых, не обязательна, а во-вторых, она не чисто объектного, а смешанного, объектно-обстоятельного (причинного) значения. (Ср.: Она ушла из дома из-за того, что...).

Такие предложения не могут считаться изъяснительными, что впрочем, ясно и без генеративного анализа.

Анализ методом генеративной грамматики помогает уточнению внутренней классификации изъяснительных конструкций. В нашем синтаксисе до сих пор не принято было делить изъяснительные сложные предложения по модальному значению и структуре придаточного. В чешской синтаксической традиции такая классификация существует. М. Кубик, основываясь на классификации Я. Вауэра, дает вместо его трех типов (с придаточными 1) повествовательными, 2) побудительными, 3) вопросительными) пять типов изъяснительных сложных предложений: 1) повествовательный,

2) предположительный, 3) волеизъявительный, 4) восклицательный, 5) вопросительный.

Выделение предположительного типа — со значением возможного, предполагаемого, сомнительного действия в придаточном, присоединяемом союзами чтобы, как бы (Я не верю, чтобы он проговорился; Она боится, как бы ребенок не простудился) представляется оправданным.

Убедительная характеристика побудительного типа (по Я. Вауэру) как волеизъявительного, выражающего не только побуждение (Отец сказал, чтобы я остался дома), но и значения необходимости, желательности/нежелательности (Разведка позаботилась о том, чтобы листовки попали к японцам; Он хочет, чтобы я остался дома).

Соглашаясь с выделением каждого из названных типов в отдельности, нельзя, однако, не заметить, что вместе взятые, они не составляют строгой системы. Противопоставление между ними, как нам представляется, не лежит в одной плоскости. Предложения вопросительного типа противопоставляются не каждому типу в отдельности, а всем другим вместе взятым. Среди невопросительных типов, далее, вызывает сомнение восклицательный, который, в отличие от трех других, выделен не по модальному признаку.

Противоречиво изложение вопроса о том, что является определяющим в структуре изъяснительного сложного предложения — семантика изъясняемого слова или модальный характер придаточного (конститутивного) предложения. В нескольких местах работы говорится о «выборе» изъясняемых слов, который «определяется модальной сущностью конститутивных предложений» (стр. 102 и др.). Но это противоречит исходному принципу автора в подходе к изъяснительным сложным предложениям как к предложениям нерасчлененного типа, то есть таким, у которых структура придаточного определяется свойствами конструктивно-определяющего слова главного предложения.

Интересен последний, третий раздел работы («Изъяснительные конструкции и их параллельные трансформы»), где рассматривается с генеративной стороны соотношение изъяснительных сложных предложений с синонимическими конструкциями — простыми предложениями с отглагольными существительными и инфинитивами. (Сообщили, что снижены цены. Сообщили о снижении цен. Отец обещал, что пришлет деньги. Отец обещал прислать деньги). Выясняются условия возможности/невозможности трансформации изъяснительного придаточного в отглагольное существительное и инфинитив.

⁸ См.: М. Кубик, К трансформационной интерпретации сложноподчиненных предложений в русском языке, «Ceskoslovenská rusistika», XI, 1966, 2.

Работа М. Кубика «Изыскательные конструкции и способы их порождения» представляет несомненный интерес для синтаксиса сложного предложения. Использование метода генеративной грамматики — не как единственного и само-

довлеющего, разумеется, а как одного из возможных — открывает новые стороны сложного предложения и новые возможности его изучения.

Н. В. Куртичкова

«Московская деловая и бытовая письменность XVII века». — М., изд-во «Наука», 1968. 338 стр.

Рецензируемый сборник текстов опубликован Сектором библиографии, источниковедения и издания памятников Института русского языка АН СССР. Это — третья публикация в серии изданий текстов деловой и бытовой письменности XVII в., богатейшие собрания которой покоятся в наших архивах и в основной своей массе остаются малодоступными для широкого круга лингвистов¹.

Изданиям древнерусских памятников предшествовало появление составленной Сектором инструкции² — первой в русском языкознании специальной инструкции для лингвистического издания текстов. Составленные О. А. Князевской при участии С. И. Коткова «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности» хорошо продуманы и, как замечают сами составители, обобщают опыт предшествующих лингвистических публикаций³. Большое место в них уделяется разбору достоинств и недостатков двух основных типов изданий — фотомеханического и наборного. При оценке каждого из этих типов составители «Правил» исходят из того, что языковед может удовлетворять лишь такое издание, «которое в максимальной степени исключает необходимость обращения непосредственно к оригиналу» при лингвистическом анализе памятника⁴. Отсюда склонность к наборному изданию, представленному публикациями «Изборника 1076 года» и «Синайского патерика». Публикации эти сами по себе заслуживают высокой оценки⁵; и все же в отношении уни-

кальных древнерусских памятников наилучшим является комбинированное издание⁶, превосходящим образом которого можно признать осуществленную К. Мирчевым и Хр. Кодовым публикацию так называемого «Енинского Апостола»⁷. Что же касается скорописных документов более позднего времени, то здесь наборное издание является единственно целесообразным.

Серьезное внимание уделяется в «Правилах» принципам отбора памятников для публикации; при этом справедливо подчеркивается, что «публикация древнерусских рукописей-подлинников, время написания которых известно и приурочено к определенной территории, даст наиболее ценные сведения для исследователей, позволяя сделать конкретные выводы о языковых особенностях определенного времени и определенной территории»⁸. И если указанное требование в большинстве случаев не применимо к ранним текстам, особенно XI—XII, да, пожалуй, и XIII в., которые долж-

Обзор работ Института русского языка АН СССР по библиографии, источниковедению и изданию памятников, «Р. яз. в шк.», 1968, 3, стр. 105—106. Об издании «Синайского патерика» см.: В. И. М а л ы ш е в, Серьезный недостаток хорошего издания, ВЯ, 1968, 4.

⁶ Такое издание считает «идеальным» и С. И. Котков (см.: С. И. Котков, О совместном издании древнерусских скорописных памятников лингвистами и историками, сб. «Лингвистическое источниковедение», М., 1963, стр. 11).

⁷ См.: К. Мирчев, Хр. Кодов, Енински Апостол. Старобългарски паметник от XI век, София, 1965; см. также рецензия М. М. К о п ы л е н к о на это издание (ВЯ, 1966, 4). Упоминаемые составителями «Правил» (см. стр. 13) безукоризненные публикации новгородских берестяных грамот (с черно-белыми фотокопиями, прописями и наборным воспроизведением текстов) касаются несколько иного типа письменных памятников и могут, в частности, служить образцом для издания различных видов граффити.

⁸ «Правила...», стр. 14.

¹ См.: С. И. Котков, Н. П. Панратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, М., 1964; «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия (Из фонда А. И. Безобразова)», М., 1965.

² См.: «Правила лингвистического издания памятников древнерусской письменности», М., 1961.

³ См. там же, в частности, стр. 7—8.

⁴ Там же, стр. 8.

⁵ Характеристику издания «Изборника 1076 года» см.: Л. С. К о в т у н,

ны издаваться все подряд (может дискутироваться лишь вопрос о первоочередности издания того или иного памятника), то по отношению к документам более поздним строгая предварительная локализация, которая бы определяла целесообразность их издания, необходима. В противном случае лингвистическое использование опубликованных текстов оказывается крайне ограниченным по своим возможностям.

Если подходить к оценке публикаций Сектора с этих позиций, понимание которых не раз подчеркивается в «Правилах», лежащих в основе изданий⁹, то следует признать, что из трех названных сборников скорописных текстов XVII в. одобрения историка русского языка заслуживает лишь последний — «Московская деловая и бытовая письменность XVII века» (МДБП)¹⁰.

Обосновывая целесообразность публикации материалов частной переписки XVII — начала XVIII в., С. И. Котков отмечает, что частная переписка «в сравнении с иными источниками того же самого времени (включая деловую документацию. — Г. Х.) отражает старую устную речь наиболее ярко и непосредственно»; причем разъясняется, что эти отражения «помогают воссоздать конкретный облик народно-разговорного варианта русского национального языка в эпоху его становления...»¹¹. Последний тезис сразу же настораживает: что это за «народно-разговорный вариант русского национального языка»? Не утверждается ли здесь существование в XVII в. территориально не ограниченной, «наддиалектной» устной языковой системы, явно не совпадающей при такой формулировке с системой, представленной в деловой письменности? Последующие разъяснения, кажется, должны опровергнуть это предположение: «Заключенные в частной переписке следы диалектных влияний должны быть приняты во внимание при исследовании соотношения и взаимодействия в процессе формирования национального языка (? — Г. Х.) южно- и северновеликорусских начал, при изучении отдельных диалектов... Свидетельства грамоток существен-

ным образом уточняют хронологию языковых изменений и их территориальное распространение»¹². Вряд ли можно отрицать, что материалы, дающие возможность решать перечисленные проблемы, должны представлять бесспорную лингвистическую ценность.

К сожалению, обращение к самим материалам частной переписки сразу же разочаровывает, ибо обнаруживается, что диалектная принадлежность авторов, а точнее — писцов «грамоток», как правило, остается неизвестной. Даже те случаи, когда о личности корреспондента имеются данные, не спасают положения: «В публикации представлено 501 письмо. В оригиналах несколько меньше количество почерков. Грамоток, сходных по почерку, сравнительно немного. Нередко письма, посылаемые от одного и того же лица, пишутся разными почерками...»¹³, и кто является обладателем того или иного почерка — неизвестно, а сами письма посланы из различных уголков Московской Руси, причем место отсылки подчас в свою очередь оказывается неизвестным; не случайно письма собраны по адресатам, а не по корреспондентам, личность которых не всегда удается установить.

Все сказанное относится и к публикации документов из фонда А. И. Безобразова: круг корреспондентов А. И. Безобразова «представлял обширную зону России от Боровска до Алатьяря и от Кром до Вологды»; диалектная принадлежность корреспондентов (или их писцов), как правило, неизвестна, а в отдельных случаях «недостаточно ясно» даже отнесенность самих писем «к тем

¹² Там же. Здесь непонятен смысл замечания о роли диалектов в «формировании национального языка», так как национальный язык — это не конкретная языковая система, а определенная стадия (ступень) в развитии отношений между местными и центральным диалектом или койне и далее — литературным языком, который в период формирования нации непременно ориентируется на народно-разговорную речь, в то время как в донациональный период он может существовать и как иноязычная система (подробнее о содержании понятия «национальный язык» и его признаках см.: Г. А. Хабургаев, Несколько замечаний относительно формирования национального русского литературного языка, «Уч. зап. МОПИ им. Н. К. Крупской», 138, Русский язык и литература, 8, 1963, стр. 34—36).

¹³ Н. П. Панкратова, Сведения о публикуемых рукописных текстах и правила их воспроизведения, в кн.: С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка, стр. 15.

⁹ См. еще: «Следует отметить, что при выборе памятника для лингвистического издания предпочтение отдается тем рукописям, время и место написания которых, а также писец известны» («Правила...», стр. 16).

¹⁰ Такое сокращение предлагают сами публикаторы (см. стр. 338).

¹¹ С. И. Котков, Материалы частной переписки как лингвистический источник, в кн.: С. И. Котков, Н. П. Панкратова, Источники по истории русского народно-разговорного языка XVII — начала XVIII века, стр. 3.

или иным местам России»¹⁴. Какова же лингвистическая ценность таких изданий, если иметь в виду задачи конкретных исследований по истории русского языка, а не общую констатацию возможности нарушения формирующихся орфографических норм под влиянием особенностей живой речи?¹⁵ И самое удивительное, что оба издания предприняты при участии С. И. Коткова, являющегося одним из наиболее авторитетных поборников исторической диалектологии, в которую постепенно перерастает абстрактная «историческая грамматика» русского языка¹⁶.

Публикация МДБП существенно отличается от двух предшествующих публикаций, которые в значительной степени были шагом назад по сравнению с известными шахматовскими изданиями

¹⁴ «Памятники русского народно-разговорного языка XVII столетия», стр. 4.

¹⁵ Необходимо подчеркнуть, что названные издания представляют ценность в том отношении, что они дают материал для исследователей истории быта, хозяйственных отношений и других сторон жизни Московской Руси; лингвисту же они напоминают, с одной стороны, о бесспорном существовании в XVII в. относительно устойчивых норм, которых старались придерживаться все пишущие (даже авторы частных писем!), т. е. некоей наддиалектной письменной («культурной») разновидности русского языка, противопоставленной церковнославянскому; с другой стороны, о возможности нарушения этих норм малоискусственными в письме авторами.

¹⁶ Замечу попутно, что необходимость разграничения двух дисциплин — история русского литературного языка и так называемой «исторической грамматики» (хотя необходимость такого разграничения иногда и оспаривается; см.: А. В. Исаченко, Два пособия по исторической грамматике русского языка, ВЯ, 1965, 4, стр. 129—130) — обуславливается еще и тем, что в них изучается генезис разных нормализованных разновидностей национального русского языка: первая исследует становление системы собственно литературного языка, представленной в произведениях художественной литературы, науки, в ораторской речи и т. п.; вторая выясняет процесс образования нормированной устной речи, т. е. той языковой системы, которая представлена в бытовой речи людей, владеющих литературными нормами, и которая исторически складывалась на базе московского говора, впитавшего черты различных территориальных диалектов (см. об этом: Г. А. Хабургаев, Несколько замечаний относительно формирования национального русского литературного языка, стр. 39 и сл.).

новгородских и двинских грамот, где материал подобран по территориальному признаку¹⁷. Единственным критерием отбора текстов для МДБП служила «несомненная принадлежность их москвитчам, выступающим в этих случаях в качестве авторов или дисков или одновременно тех и других» (МДБП, стр. 5). Этот критерий нельзя не признать строго лингвистическим. Следует по достоинству оценить и тот факт, что свой первый локальный сборник текстов XVII столетия Сектор посвятил московскому говору.

МДБП открывает вступительной статьей С. И. Коткова «К вопросу об истории московского говора и ее источниках» (стр. 3—8), где обращается внимание на то, что любая научная гипотеза образования национального русского языка не может обойтись без постановки вопроса об особенностях старинного говора Москвы. С. И. Котков, несомненно, прав, утверждая, что при выяснении этих особенностей нельзя опираться на современную московскую речь: «изменения в составе населения Москвы за счет притока из других областей в течение XIX столетия, в начале XX в. и особенно в советский период были настолько интенсивны, что судить по современной московской речи о ее состоянии в далеком прошлом и даже в минувшем столетии было бы нереально» (стр. 3). Отсюда делается вывод о необходимости восстановления старомосковского говора по отражениям в текстах того периода, когда его черты приобретали значение общих (наддиалектных) норм «культурного» языка Московской Руси. Таким периодом является XVII в., которому и посвящен сборник МДБП.

При оценке качества публикации, включающей столь обширный материал (свыше 330 документов, многие из которых довольно велики по объему — есть протоколы судебных дел, занимающие 30, 55 и даже 90 листов!), да к тому же отобранный из различных фондов четырех хранилищ, рецензент практически лишен возможности проверить точность воспроизведения текстов. Но тщательность обработки каждого документа, продуманная система передачи особенностей скорописи XVII в., обстоятельность примечаний с несомненною свидетельствуют о большой научной добросовестности, проявленной издательским коллективом при подготовке публикации. Вводная статья «О составе издания и воспроизведении рукописных текстов» (стр. 9—12) и составленные И. С. Филипповой указатели личных имен и географических названий (стр. 291—327) зна-

¹⁷ В «Правилах» среди «многочисленных изданий-сборников» только эти издания А. А. Шахматова отмечены как специально предназначенные для лингвистических исследований (см. стр. 21).

чительно облегчают пользование сборником.

Публикуемые в МДБП рукописи распределены по пяти отделам на основании типа документов. При таком распределении хорошо заметны как специфические особенности оформления различных типов документов, так и заметное сходство, с одной стороны, между письмами и челобитными, с другой — между официальными юридическими актами — сказками, памятями, духовными, поручными записями и т. д.

Опубликованный материал освещает самые различные стороны государственной и общественной жизни, хозяйственных и даже личных отношений, повседневного быта, человеческих переживаний и т. д. А это очень ценно не только для историка, но и для лингвиста, поскольку способствует употреблению в рассматриваемых текстах разнообразной лексики, подчас совершенно не свойственной официальной актовой письменности, и, главное, самых различных словоформ, дающих богатейший материал для историко-морфологических и фонетических исследований — ибо чем менее регулярно употребление словоформы в официальном письменном языке, тем больше вероятность ее передачи на письме в соответствии с особенностями оформления в живой речи.

Так как сборник МДБП предназначен для исследования особенностей московского говора XVII в., приходится вновь возвращаться к вопросу о критериях отнесения той или иной рукописи к собственно московской, т. е. написанной москвичом, а не просто в Москве. Понимая важность этого вопроса, составители сборника уделяют ему специальное внимание во вводной статье (см. стр. 10), где, в частности, утверждается безусловно московское происхождение так называемых площадных подьячих и служащих московских приказов, перу которых принадлежат многие «неподписанные» документы. В этом утверждении не учитывается нестрога московского населения, отражающая «интенсивные, всесторонние связи Москвы с различными областями России» (МДБП, стр. 5). Сообщения, встречающиеся в документах XVII в., свидетельствуют о том, что безымянные писцы площадей и служащие московских приказов совсем не обязательно были по происхождению москвичами, а в отдельных случаях работали в Москве лишь непродолжительное время. Чтобы не быть голословным, приведу два таких свидетельства.

Один из документов Центрального государственного архива древних актов (ЦГАДА) сообщает о том, что некий Михаил Иванов, до 1625 г. бывший площадным подьячим в Курске, отправился затем в Москву, где наминался «писать писцовые книги» (в Нижний Новгород),

а в ожидании назначения зарабатывал на хлеб составлением различных бумаг (в Москве!). Группа курян, также находившихся в это время в столице и удостоверявших личность «курчанина» (1) М. Иванова, сообщает при этом, что «племянник его и до сих пор пишет на площади»¹⁸.

Среди курян, удостоверявших в 1625 г. личность М. Иванова, находился Афанасий Иванович Мезенцев, о котором мне уже приходилось сообщать как об авторе знаменитой «Книги Большому чертежу», считающейся безымянной. Курский помещик, сын боярский А. И. Мезенцев, занимавший в родном городе различные должности по крайней мере с 1612 и по 1633 г. (последнее упоминание о нем в известных мне документах относится к 1636 г.), за это время дважды находился на службе в Москве в качестве подьячего Разрядного приказа: в 1616—1620 гг. (в это время — в 1618 г. — он вместе с Ф. Наквасиным работал над картами — «чертежами» Московского государства) и в 1625—1628 гг. (в это время — в 1626 г. — им был составлен «чертеж» Вязьмы, а в 1627 г. — так называемый «Большой чертеж» Московской Руси; в сентябре 1627 г. А. И. Мезенцев приступил к описанию этой карты, причем ему было поручено составить «всему чертежу роспись»)¹⁹.

Нет оснований считать, что приведенные факты представляли редкое исключение; поэтому их следует учитывать при определении вероятности местного происхождения «неподписанных» документов. Но это, разумеется, не означает, что под сомнение должно ставиться московское происхождение любой неподписанной рукописи. Как, впрочем, и наоборот: есть ли уверенность в том, что, например, подьячий Поместного приказа И. Тиневский, писавший отпускную память (МДБП, стр. 154, № 7), был москвичом по происхождению?

Высоко оценивая качество издания и принцип отбора текстов, вошедших в МДБП, хотелось бы надеяться, что в будущем за этим сборником последуют другие собрания локальных текстов (скажем, вологодских, архангельских, калужских, курских, оскольских и т. д.), которые помогут созданию лингвистической карты русского языка XVII и близ-

¹⁸ ЦГАДА, ф. 210, Столбцы Приказного стола Разрядного приказа, стлб. 14, лл. 168—172.

¹⁹ Более подробные сведения об А. И. Мезенцеве и перечень источников см.: Г. А. Хабургаев, Заметки по исторической фонетике южновеликорусского наречия (Введение. Вокализм), «Уч. зап. [МОПИ им. Н. К. Крупской]», 163, Русский язык, 12, 1966, стр. 309—310, примеч. 51.

ских столетий. Вместе с тем, учитывая сделанные выше замечания о локализации документов, которая осуществлена лишь при работе над самими рукописями, можно предложить, чтобы такие локальные сборники, кроме вступительных статей и указателей, содержали бы специальный справочный отдел, посвященный местным писцам. Здесь в перечне местных грамотных людей должны быть указаны основания установления грамотности каждого лица, перечислены опубликованные в сборнике документы, которые написаны им, а также могут предположительно приписываться ему на основании сличения почерков и анализа орфографических особенностей; для отдела, который объединит документы воеводской канцелярии («съезжий избыв»), необходимо восстановить поименный штат подъязычных канцелярии за период, охватываемый публикациями. При наличии такого справочника ценность сборника как источника для лингвистических исследований неизмеримо возрастет.

Вводная статья в МДБП вновь поднимает принципиальный для истории русского языка вопрос о культурном билингвизме в Московской Руси. По мнению автора вводной статьи С. И. Коткова, обозрение публикуемых в МДБП материалов «приводит к мысли о том, что реально такого двуязычия, о котором писал Лудольф, а вслед за ним некритически и некоторые исследователи (разговаривали по-русски, а писали по-славянски), в XVII столетии, собственно, уже не было. В этих источниках наблюдаем факты такого органического взаимодействия народно-разговорной и „славянской“ стихий, что упомянутое двуязычие представляется немислшим, если только не иметь в виду противопоставления языка церковных книг и устной народной речи... Применительно к XVII столетию можно было бы констатировать лишь культовое, церковное иноязычие у русских, но отнюдь не двуязычие русского народа в зависимости от того, пользовался он устной или письменной формой общения» (МДБП, стр. 6).

В материалах МДБП действительно можно встретить церковнославянские слова и выражения, которые, однако, почти целиком относятся к частной переписке, притом к тем местам писем, где корреспондент почтительно обращается к адресату (например, на выбор, из письма № 12-а, стр. 30: *здравстуети свѣт мои на многие лета... как тебя свѣта моего Христос своею мастию хранит... буди свѣт мои бгом храним, но ср. здесь же: прикажи писат(ь) о своем здоров(ь)е и т. д.*). Очевидно, перед нами свидетельство тех форм обращения людей друг к другу, которые выработались религиозным воспитанием. Вот почему в остальных типах документов, носящих деловой характер, ничего церковнославян-

ского не находим — даже на уровне лексическом: составители прошений и протоколы обходятся без «славянизмов».

Но, может быть, церковнославянский в XVII в. действительно был лишь «языком церковных книг», исключительно культовым, как утверждает С. И. Котков?

Обратимся к особенностям языка таких памятников, заведомо не имеющих отношения к культовой литературе, как «Сибирские летописи» — художественно-исторические повести о завоевании Сибири, созданные разными авторами в первой половине («Есиповская летопись»), в середине («Строгановская») и в конце («Ремизовская») XVII в. Ю. В. Фоменко, исследовавший морфологический строй этих произведений во всем их объеме²⁰, сообщает, что здесь нередки такие формы существительных, как дат. падеж с окончанием *-ови* — *-еви* (*Господеви, дневи, Кучюлови*) и местн. падеж с *-и* (*на камени, во огни, о плачи и под.*), им. падеж мн. числа на *-и* (*ангели, апостоли, еареари, гради, кѣдри, леди, пси и т. п.*), *-и* (*жители, звѣрие, люде и др.*), *-ове* (*ледове, слоновѣ, сѣбове и под.*). Встречаются словоформы с отражением II палатализации заднебных (*нозѣ, руже; по Бозѣ, в стразе; врази, дружи, посланници, удобници и др.*), звательные формы (*аспиде, брате, человеколюбче, Израилю*), формы двойственного числа и т. д. Среди глагольных форм обычны аорист и имперфект, исчезнувшие в живой русской речи за много столетий до XVII в.; так, в «Есиповской летописи» из 2969 форм прошедшего времени перфект отмечен лишь в 296 случаях, в то время как аорист встречается 2449 раз, а имперфект — в 224 случаях; формы перфекта встречаются с вспомогательным глаголом: *велели есмя, умножилъ еси, спаслъ еси* и др. Будущее сложное образуется с глаголами *имуть, почнутъ, хоцеть* и т. д. и лишь однажды (!) — с глаголом *быть*. Обычны здесь причастия типа *всемогий, ядый, бывый, изволивый*, а также *оставшые, рождшая, створше* и под. То же касается и форм других частей речи; да и сам строй предложений достаточно выразительно характеризует авторские вкусы (см., например: *Поидоша сии воины и дошедше и на стагы изъ нападоша ноцию... Пришедши же ноци, казаки жъ, утрудившися от мнозго пути, доидоша до перекоти, ту обночевашася... и под.*).

²⁰ Ту же или близкую картину представляет язык многих художественно-литературных или научных произведений XVII в. Предлагемый ниже материал заимствован из работ: Ю. В. Фоменко, Язык Сибирских летописей 17 века (Наблюдения над морфологическим строем). Автореф. канд. диссерт., М., 1963.

В материалах, публикуемых в МДБП, ничего подобного нет. Их авторы, рассказывая о повседневных отношениях, не ставят перед собой никаких художественных или публицистических задач, а потому всячески избегают «славянизмов», используя лишь отдельные вошедшие в разговор церковнославянские выражения. Напротив, как показывают «Сибирские летописи» и подобные им произведения, претензия на научность или литературность заставляет писателей XVII в. обращаться к языку церковнославянскому, который, очевидно, воспринимался современниками как собственно литературный (а не деловой, повседневный, сниженный).

Все это лишний раз подчеркивает справедливость утверждения Г. В. Лудольфа о том, что не только Св. Библия и остальные книги, по которым совершается богослужение, существуют только на славянском языке, но невозможно ни писать, ни рассуждать по каким-нибудь вопросам науки и образования, не пользуясь славянским языком. Поэтому, чем более ученым кто-нибудь хочет казаться, тем больше приращивает он славянских выражений к своей речи или в своих писаниях, хотя некоторые и посмеиваются над теми, кто злоупотребляет славянским языком в обычной речи. Одна единственная книга напечатана на простом наречии, она называется Уложение и представляет собой собрание русских законов...» (разрядка наша. — Г. Х.)²¹. Эти разъяснения не оставляют сомнения в том, что своей общей формуле («разговаривать надо по-русски, а пи-

сать по-славянски» — стр. 114) Г. В. Лудольф отнюдь не придавал буквального значения: он отчетливо представлял себе границы функционирования «славянского» языка и, не имея доступа к рукописным актам, заметил, что единственное печатное издание, отражающее тот тип языка, который, в частности, представлен в материалах МДБП, написан «простым наречием», а не церковнославянским языком. И если, как этого требуют интересы истории русского языка, наряду с изучением деловой и бытовой письменности будут широко вовлечены в научно-лингвистический оборот памятники русской письменности XII—XVII вв., писанные книжным славянозвонным слогом²², мы окончательно убедимся в том, что до XVIII в. церковнославянский язык не был только культовым, а формирование русского литературного языка осуществлялось как процесс русификации церковнославянского²³, в результате чего уже в середине XVIII в. возникла необходимость отсева «обветшавшего» славянского материала и официального признания его русских эквивалентов.

Г. А. Хабургаев

²² В. В. Виноградов, Основные проблемы изучения, образования и развития древнерусского литературного языка, М., 1958, стр. 65.

²³ Разумеется, это замечание надо понимать лишь как указание на общую схему процесса; реально же процесс формирования русского литературного языка был достаточно сложным и поразному реализовался в разных видах письменного творчества (см. В. В. Виноградов, О новых исследованиях по истории русского литературного языка, ВЯ, 1969, 2, стр. 7).

²¹ Г. В. Лудольф, Русская грамматика, Оксфорд, 1696, переизд., перевод, вступ. статья и примеч. Б. А. Ларина, Л., 1937, стр. 113.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ИЛИЙСКИЕ РУНИЧЕСКИЕ НАДПИСИ

В бассейне р. Или, до недавнего времени оставшемся белым пятном на карте распространения древнетюркского рунического алфавита, стали известны четыре небольшие надписи в стиле тюркской руники (три на северных склонах хребта Кетмень в Уйгурском районе, одна на северном склоне хребта Кунгей Алатау в Кегенском районе Алма-Атинской области), однако первая попытка прочитать эти надписи не принесла успеха¹. В данной заметке предлагаются фотографии, заново проверенные прописи и исправленное чтение илийских рунических надписей.

1. Надпись из ущелья Терексай (левый берег р. Большая Аку), рис. 1а, б.

Эта надпись высечена на труднодоступной отвесной скале в узком проходе, удобном для охоты на зверя (последнее обстоятельство, как увидим ниже, имеет прямое отношение к содержанию надписи).

Руническая надпись состоит из трех вертикальных строк — четыре знака в правой строке, рунический знак и скелетное изображение горного козла (идеограмма «ТЕКЕ») посредине и четыре знака в левой строке. Несколько необычным для тюркской руники является начертание знаков 1 i, 8 z и P q. Из

них первый встречается в тех енисейских и таласских рунических надписях, которые читаются слева направо (зеркальный

вариант буквы 1 i, ср. 1 p), другой имеет полную аналогию во втором талас-

¹ А. С. Аманжолов, Древние надписи и петроглифы хребта Кетмень (Тянь-Шань), «Изв. АН КазССР», Серия общественная, 5, 1966 (даны прописи и предположительное чтение трех наскальных рунических надписей, надпись на гранитном валуне была принята за руническую ошибочно); Г. Г. Мусабаев, Кегенская надпись, «Вестник АН КазССР», 3 (263), 1967 (автография и вольное чтение рунической надписи на «каменной бабе» — древнетюркском гранитном изваянии воина, обнаруженной, как выяснилось, в 1961 г. К. А. Акишевым).

ском памятнике², а третий представляет собой переходный вариант между иртышским

прототипом $\int q^3$ и начертанием $\triangleright q$

(перед или после негубного узкого гласного i) в Онгинском памятнике, ср. арамейский P с тем же значением.

Надпись читается сверху вниз и справа налево:

- (1) isiz
- (2) $\tilde{a}d$
- (3) $q^3 i q^3 a^3$

(изображение горного козла — «ТЕКЕ»)

Перевод: «Горный козел — добро без присмотра, притесненный (загнанный на охоте) зверь». Лексика надписи: isiz «находящийся без присмотра, беспризорный» (ср. казах. *eci3* с тем же значением, кирг. *eci3* «горемычный, бедный, болезненный», в «Кутадгу билиг» *asiz* «дурной»); $\tilde{a}d$ «имущество, добро, благо» (употребляется в «Кутадгу билиг»); $q^3 i q^3$ «естественный, закатный», от глагола *qis-* «давить, жать; притеснять, принуждать» (ср. в Онгинском памят-

нике $\{\rightarrow\} \triangleright q^3 i s m i s$ «он притеснил», кирг. *кысык* «сжатый, сдавленный, узкий; теснина, узкий проход»); a^3 «зверь, дикое животное (как предмет охоты)». По содержанию рассмотренную руническую надпись, скорее всего, следует отнести к сфере охотничьей магии.

2. Надпись из ущелья Садыр (правый берег р. Большая Аку), рис. 2 а, б.

Знаки надписи высечены на скальной плоскости посреди различных изображений. Судя по стешени «пустынного загара», силуэтные изображения горного барана-архара и горных козлов-таутеке вместе с контурным изображением двое-

² Ч. Джумагулов, Второй таласский памятник, сб. «Новые эпиграфические находки в Киргизии (1961 г.)», Фрунзе, 1962, стр. 26.

³ А. С. Аманжолов, Еще раз об иртышской рунической надписи, «Вестник АН КазССР», 9 (269), 1967, стр. 67.



Рис. 1а

ного цветка являются первоначальными в данной экспозиции. Впоследствии были выбиты легкой насечкой скелетные изображения охотника с арканом, горных козлов, всадника на лошади, снежного барса и знаки надписи (все они сделаны поверх старых изображений и, по-видимому, в одно время).

Надпись состоит из горизонтальной строки с тремя знаками под условной сценой случки диких животных и над изображением загадочного цветка, а также рунического знака возле всадника на лошади и барса. Знак **Г** обозначает в тюркской рунике звук *t* (как правило, мягкого слога), он совпадает графически и по звуковому значению с финикийской буквой «tau». Знак **У** по начертанию

несколько отличается от орхонского **>** *o*,

u и в то же время он идентичен древнегреческой букве «*äpsilon*» (*u*, *ü*); орхонский знак **Н** *ö*, *ü* сближается с другими вариантами той же буквы — **У** и **Р**.

Знак **М**, как можно допустить, имеет здесь не буквенное, руническое значение (*id*, *it*), а числовое значение 10 000, согласно греческой аттической цифровой системе. Благодаря недавней находке в долине р. Или наскальной надписи на архаическом греческом алфавите ⁴, эти ана-

⁴ А. С. Аманжолов, Опыт историко-культурной интерпретации одной «древнегреческой» надписи (доклад, прочитанный на III Всесоюзной конференции по истории, культуре и филологии Древнего Востока 4 февраля 1966 г. в Москве); А. Аманжолов, Ан

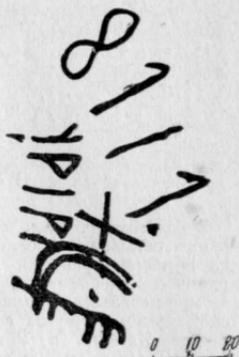


Рис. 1б

логины получают реальное историческое подтверждение.

Надпись читается справа налево:

(1) *tö lä^d* (? *tü* «TUMÄN»)
(2) *ap*

Перевод: «Размножайся (? множество, 10 000), промысловый зверь!» Глагол *töldä-* «размножаться, плодиться, давать приплод» (< *töl* «приплод» + архаический ⁵ аффикс *-dä*, ср. кирг., алт. *толда-*, казах. *толда-* [*толда-*] и к.-калп. *толме-* в том же значении) употреблен в форме 2-го лица повелительного наклонения, совпадающей с основой глагола. В другом варианте чтения можно усмотреть слово *tü* «количество, число» (ср. *tümän* «десять тысяч; несметное количество, тьма, множество», *tümän tü* «бесчисленный; несметное количество» в «Кутадгу билиг») и идеографическую логограмму со значением «10 000».

В любом случае данная руническая надпись представляет собой магическое заклинание, назначение которого — умножить численность зверей и тем самым обеспечить своему роду удачу в охотничьем промысле.

3. Надпись из ущелья Надьыр (правый берег р. Баян-Казак), рис. 3 а, б.

Надпись вырезана на выступе скалы поверх сильно потемневших силуэтных изображений горных козлов и двух козлов **⊗**, известных в тюркской рунике как идеограмма «Баш» (голова, глава). Верхняя часть надписи — рамка с изображением горного козла. Это, вероятно, родовая тамга или геральдический знак.

«Ancient Greek» inscription from the Region of Alma-Ata, АО, 35/1, 1967.

⁵ См.: Г. И. Рамstedт, Введение в алтайское языкознание, М., 1957, стр. 175.



Рис. 2а



Рис. 2б



Рис. 3а

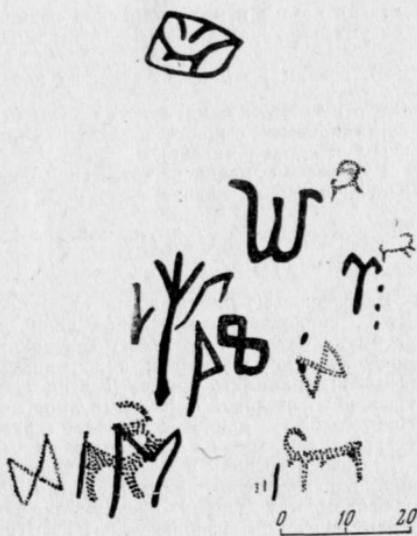


Рис. 3б



Рис. 4

Несколько ниже — еще один тамгообразный знак. Затем следуют две горизонтальные строки рунических знаков.

Необычные знаки 8 z и P q уже отмечены нами в первой ийской надписи из ущелья Терексай (в 10—15 км западнее), а знак \downarrow h имеет такое же начертание в третьем памятнике из Тувы (где вертикальные строки читаются снизу вверх и справа налево).

Руническая надпись читается справа налево и сверху вниз:

$$(1) \bar{a}_r : \bar{a}_z^i q \text{ i} \bar{c}^i \eta$$

$$(2) \bar{a}_s^{\bar{a}} \text{ i} \bar{d}^{\bar{a}} s$$

Перевод: «Муж, поеште състного! Друг, соплеменник». Лексика надписи: $\bar{a}r$ «муж, воин», $aziq$ ($azuq$) «провиант, продовольствие, състное; пища; корм», $i\bar{c}$ — «есть; принимать пищу» (глагол употреблен в вежливой форме 2-го лица повелительного наклонения), $\bar{a}s$ «друг, товарищ, союзник» и $\bar{a}ld\bar{a}s$ «соплеменник».

Эта очень древняя руническая надпись является, бесспорно, заклінательным обращением к родовому предку-покровителю (судя по изображению сверху, это — «ТЕКЕ»).

4. «Надпись на каменной бабе» из урочища Мын-

Ж и л кы (р. Каркара), или «Кегенская надпись» по Г. Г. Мусабаеву, рис. 4а, б, в.

Изваяние воина ростом около двух метров, не считая отломленной головы, было обращено лицом на восток и наклонено назад (рис. 4а — фотоснимок 1961 г., выполненный А. Махмутовым и представленный нам К. А. Акишевым). В правой руке у изваяния кубок, левая рука на рукояти палаша, подвешенного к поясу. Справа колчан и другие предметы с узорами или тамгами. Слева по подолу халата, по сообщению Г. Г. Мусабаева, выбита «руническая надпись» из пятнадцати знаков.

В надписи несколько отличаются от «классического» орхонского образца четыре знака: знаки для q и k в соседстве с губными гласными, знак для мягкого согласного g и знак для губных гласных заднего ряда o , u (последний симптоматично совпадает в написании с древнегреческой буквой \downarrow «upsilon»).

«Древнетюркская руническая надпись» из трех строк читается справа налево и сверху вниз следующим образом:

$$(1) uq\gamma^{\bar{a}}n \text{ (? } oq^{\bar{a}} \gamma^{\bar{a}}n) : \bar{a}l\bar{i}$$

$$(2) \bar{b}^{\bar{o}}kt^{\bar{a}}g$$

$$(3) \bar{a}lu : \bar{a}rt$$

Перевод: «Внявший (призвавший [отведать жертвенных угощений]), пребывав в полном достатке и изобилии, получив (в помощь) шесть благодатей!».

Лексика «надписи»: *uγan* (или *oγγan*) — причастная форма глагола *uγ* «внимать, понимать; покоряться» (или *oγi* — «звать, приглашать; читать»); *alti* «шесть»; *bök-täg* «помощь, благодать» (ср. парное слово *bujan bök-täg* «благодатная помощь» в «Покаянной молитве манихейцев»); *alu* — деепричастная форма глагола *al* «обрат, принимать, получать»; форма 2-го л. повелит. накл. глагола *art* «быть в издешке; увеличиваться, умножаться; перепаливать».

При непосредственном обследовании мною каменной бабы в урочище Мыс-Жилки (Кегенский район Алма-Атинской области) 28 апреля 1969 г. эта «руническая надпись» не была обнаружена. На месте «рунических знаков» я нашел лишь изображения различных предметов (кинжал, сосуд вроде кумгана или колчан⁶, фляга), вырезанные по гранту на левом боку каменной бабы. Очертания этих предметов, были вероятно, приняты за рунические графемы. Таким образом, «надпись» на каменной бабе, опубликованная в 1957 г., Г. Г. Мусабаяевым и изображенная на рис. 4б, 4в, можно считать мистификацией.

В археологической литературе неоднократно высказывалось предположение, что именно Семиречье (долина р. Талас) явилось колыбелью первого в истории тюркоязычных племен алфавитного

письма⁶. В связи с найденной в долине Иртыша прототюркской рунической надписью и ввиду того, что весьма архаичные по своему почерку, в отличие от «классического» шрифта орхонских надписей VIII в., рунические надписи с Енисея и горного Алтая (за исключением надписей на золотых и серебряных предметах из погребений VI—VIII вв.) не имеют надежной датировки⁷, вопрос о месте первого применения тюркского рунического алфавита трудно решить безоговорочно, даже если бы удалось доказать его присутствие в Семиречье в эпоху ранних кочевников (надписи из Таласской долины также не имеют надежной датировки, хотя знаки на деревянной палочке отличаются своим архаичным начертанием).

⁶ См.: С. В. Киселев, Древняя история Южной Сибири, М.—Л., 1949, стр. 344—345; А. М. Щербак, Знаки на керамике и кирпичах из Саргела — Белой Вежи (К вопросу о языке и письменности печенегов), «Труды Волго-Донской археологической экспедиции», II, М.—Л., 1959, стр. 388.

⁷ И. А. Батманов, З. Б. Арагачи, Г. Ф. Бабушкин, Современная и древняя энисеика, Фрунзе, 1962, стр. 23—30; Э. Р. Тенишев, Древнетюркская эниграфика Алтая, «Тюркологический сборник», М., 1966, стр. 265.

А. С. Аманжолов

К ПРОБЛЕМАМ ДИАЛЕКТНОЙ ЛЕКСИКОГРАФИИ

Широко развернувшаяся в последние годы работа по лексикографической обработке диалектного материала — как русского, так и других языков, — естественно, привела к усилению внимания диалектологов к целому ряду теоретических вопросов. Прежде всего возникает вопрос о характере диалектных словарей — должна ли включаться в диалектный словарь вся лексика, употребляющаяся в диалектах, или возникает необходимость отбора из всего лексического состава диалектов определенной части лексики? Иными словами, какой тип словаря следует предпочесть: полный или дифференциальный, основанный на каких-то дифференциальных признаках диалектной лексики?

Присоединение к той или иной точке зрения еще не означает, однако, решения всех вопросов, связанных со структурой диалектного словаря. Выбор дифференциального типа словаря, к созданию которого склоняется большинство диалектологов¹, не определяет конкретного

характера этого словаря, принципов отбора диалектной лексики, ибо дифференциальность словаря понимается разными учеными по-разному.

Ф. П. Филин, посвятивший различным проблемам диалектной лексикографии много статей и докладов, организатор, автор и главный редактор уже выходящего в свет «Словаря русских народных говоров», в своих ранних статьях считал единственным критерием помещения слова в диалектный словарь наличие у него изоглоссы. «Словарный диалектизм (единственный объект областного словаря), — пишет Ф. П. Филин, — слово, территориально ограниченное в своем употреблении, имеющее диалектную изоглоссу»². В более поздних ра-

создания полных диалектных словарей, а лишь исходят из существующих реальных возможностей диалектной лексикографической работы.

² Ф. П. Филин, Об областном словаре русского языка, «Лексикографический сборник», II, М., 1957, стр. 5.

¹ Как правило, сторонники дифференциального типа диалектного словаря не отрицают теоретической возможности

ботах Ф. П. Филин присоединяет к этому требованию и отсутствие слова в литературном языке: «...диалектным словом (единственным объектом «Словаря русских народных говоров», как и любого дифференциального диалектологического словаря) является слово, имеющее локальное распространение и в то же время не входящее в словарный состав литературного языка (в любую его разновидность)»³, причем главным критерием остается наличие изоглоссы. Прежде чем включить какое-нибудь слово в диалектный словарь, Ф. П. Филин предлагает проверить, употребляется ли данное слово на какой-нибудь конкретной территории или же оно известно везде, где говорят на русском языке⁴. Ф. П. Филин пишет: «Верно, что мы не знаем точных границ распространения абсолютного большинства диалектных слов. Однако для того, чтобы определить, является ли слово общераспространенным или локальным, достаточно установить, что интересующее нас слово известно на всех или не на всех территориях русского языка»⁵. При этом Ф. П. Филин опирается на академическую словарную картушку, которая, как известно, содержит материалы главным образом на предметную лексику, а, например, глаголов в ней сравнительно мало; кроме того, как указывает и сам Ф. П. Филин, там в основном содержатся лексические и семантические диалектизмы, «что же касается других типов диалектизмов, то наблюдения их пока очень незначительны, случайны»⁶.

В своей лексикографической практике Ф. П. Филину не удалось последовательно провести принцип невключения в диалектный словарь слов, известных «на всех территориях» русского языка. Среди диалектизмов, уже включенных в вышеданные тома «Словаря русских народных говоров», имеются слова, известные говорам «самых разных русских областей». Ср., например, слово *бабка* в значении «малая укладка снопов в поле». Согласно второму тому этого словаря⁷, слово *бабка* известно и на севере и на юге, при этом — на основных территориях русского языка.

Среди пробных словарных статей «Словаря русских народных говоров» помещено слово *нива* в значении «поле, пахня»⁸, также, по данным «Проекта»,

встречающееся на всех основных территориях русского языка. При этом слово *нива* в указанном значении отмечено без всяких помет во всех словарях литературного русского языка. То же относится и к слову *нива* в четвертом значении («хлеб на корню, посевы; поле с посевами»), представленному на еще более широкой территории.

Вопрос о характере диалектного словаря и о критериях отбора лексики для него Ф. П. Филин неразрывно связывает с вопросом о «диалектном слове» или «словарию диалектизме». Нам представляется, что выбор определенной лексики для включения в диалектный словарь не зависит непосредственно от вопроса о том, что такое диалектное слово вообще. Действительно, диалектное слово можно рассматривать только с территориальной точки зрения, являющейся лишь одним из признаков «диалектного» вообще в отличие от общенародного или литературного. Что касается объема диалектного словаря и лексики, в него включаемой, то здесь следует учитывать не столько территориальный⁹, сколько системный аспект — различия лексических систем диалектов и литературного языка.

Ф. П. Филин проводит аналогию между диалектным словом и диалектными явлениями других сторон языка. «Что такое диалектное слово?», — пишет он. — Понимание диалектного слова неразрывно связано с понятием территориального диалектизма, в основном оно аналогично с понятием диалектных явлений в фонетике, морфологии, синтаксисе¹⁰. Диалектность же последних Ф. П. Филин видит в том, что «они не входят в нормы общенародного языка, их распространение территориально ограничено, они имеют свои особые области распространения...»¹¹. Здесь Ф. П. Филин на первое место ставит отношение к другой системе — общенародного языка.

Не наличие изоглоссы, не территориальная ограниченность слова, а отличия диалектной лексики от лексической системы литературного русского языка должны служить критерием отбора слов для диалектного словаря. Дифференциальность диалектной лексики при ее включении в словарь должна устанавливаться лишь в ее отношении к нормированному типу лексической системы¹².

При обсуждении вопросов диалектной лексикографии возникает вопрос об от-

³ Ф. П. Филин, Проект «Словаря русских народных говоров», М.—Л., 1961, стр. 22.

⁴ Ф. П. Филин, Некоторые проблемы диалектной лексикографии, ИАН ОЛЯ, 1966, стр. 5.

⁵ Там же, стр. 11.

⁶ Там же, стр. 4.

⁷ «Словарь русских народных говоров», вып. второй, М.—Л., 1966, стр. 22.

⁸ Ф. П. Филин, Проект «Словаря русских народных говоров», стр. 190.

⁹ В значительной части случаев вообще территориальная приуроченность многих, может быть большинство, лексических диалектизмов пока неизвестна.

¹⁰ Ф. П. Филин, Некоторые проблемы диалектной лексикографии, стр. 3.

¹¹ Там же, стр. 4.

¹² См.: О. Г. Гецова, О характере областного (диалектного) словаря, ФН, 1964, 3.

личии диалектного словаря одного говора от диалектного словаря многих говоров. И. А. Оссовецкий выдвигает идею об особом типе диалектного словаря одного говора в его противопоставлении типу словаря многих говоров. И. А. Оссовецкий утверждает, что «по основным принципам показа семантической структуры слова словарь одного говора и словарь многих говоров качественно отличаются друг от друга, потому что в основе каждого из них лежит качественно различный языковой материал»¹³. Эти качественные различия названных словарей, по мнению И. А. Оссовецкого, касаются также и словарных статей: «Словарная статья словаря многих говоров покажет в основном лишь номинативные значения слов без углубления в другие типы значений и тем более в тонкие семантические оттенки значений слов. В словаре многих говоров также ограничены возможности показа фразеологических связей отдельных слов»¹⁴.

Нам представляется, что такое противопоставление лишено серьезных оснований. В самом деле, оно строится лишь на том, что в словаре одного говора собирается и интерпретируется лексический материал, представляющий собой единую систему, а также на том, что материал для словаря одного говора собирается, по мнению составителей «Словаря говора дер. Деулино», интенсивным путем, тогда как диалектный материал для словаря относительно широкой территории собирается экстенсивно.

С нашей точки зрения, принципиальных отличий здесь нет, словарь многих говоров должен представлять собой отражение и интерпретацию системы лексических систем этих говоров, т. е. суммировать результаты лексикографического изучения лексических систем отдельных говоров. Интенсивность собирания диалектной лексики (если под интенсивностью разуметь большую степень проникновения в диалектный материал) — понятие весьма относительное; во всяком случае, мера интенсивности может быть очень различной и, видимо, не имеет предела. Материал для словаря многих говоров должен на современном этапе собираться также не экстенсивным, а интенсивным путем, иначе эти словари будут продолжать находиться на старом уровне. Конечно, сводный словарь многих лексических систем может иметь отличие от словаря одного говора, заключающееся в степени полноты и объема

лексического материала, в него включенного. Но это различие не принципиального, а чисто количественного характера. Если в количественном отношении работа над каждым из отраженных в диалектном словаре говоров (разумеется, при условии той же степени квалификации составителей) совпадает с количеством работы над лексикой одного говора, отраженной в диалектном словаре этого говора, то принципиальных отличий словаря одного говора от словаря многих говоров не окажется.

Можно согласиться с тем лишь, что структура словарных статей словаря многих говоров будет, конечно, отличаться от структуры словарных статей словаря одного говора. Словарные статьи словаря многих говоров будут более сложными, ибо они включают материал разных лексических систем. Однако внутри каждой словарной статьи такого словаря должны отражаться все системные связи лексики как каждого говора в отдельности, так и всех изученных говоров вместе. При этом в словарных статьях такого словаря будут осуществлены все требования, которые могут быть поставлены к диалектному системному словарю, учтены все значения слов и их фразеологические связи; в этом словаре должна быть показана семантическая структура однокоренных слов, раскрыты многообразные смысловые связи слов. Более того, словарные статьи такого словаря могут показать более глубоко историю значений того или иного слова, ибо различные говоры одной общей территории в разной степени сохраняют разные значения слов.

Правда, до сих пор еще нет ни одного словаря многих говоров, выполненного в соответствии с названными принципами. И все же это не означает, что создать такой словарь невозможно. Ниже мы покажем на нескольких примерах, как в сводном дифференциальном диалектном словаре многих говоров могут быть показаны семантические структуры слов с отражением системных связей лексики как каждого говора в отдельности, так и всех говоров вместе. Указанная задача может быть решена при условии показа точной географии (территориальной приуроченности) каждого слова, каждого его значения и его оттенков, а также и фразеологических сочетаний.

В работах последних лет обращается внимание на необходимость изучения и изучения всех возможных типов отличий лексики русских диалектов от лексики литературного языка, т. е. типов лексических диалектизмов. «...до сих пор пока изучались только лексические и семантические диалектизмы, — пишет Ф. П. Филин — ...В новых же записях диалектной лексики было бы желательно расширить круг диалектных лексических типов. Изучение их — одна

¹³ И. А. Оссовецкий, Словарь говора дер. Деулино Рязанского района Рязанской области, сб. «Вопросы диалектологии восточно-славянских языков», М. 1964, стр. 182.

¹⁴ Там же. См. также: И. А. Оссовецкий, О составлении региональных словарей, ВЯ, 1961, 4.

из теоретических и практических задач современной диалектной лексикологии и лексикографии¹⁵.

Остановимся на некоторых вопросах, связанных с характером и типами лексических диалектизмов. Предлагаемые ниже разработки связаны с решением одного из основных вопросов диалектной лексикографии — отбора лексики в современный диалектный словарь и, тем самым, характера такого словаря и отражают теоретические основы составления Архангельского областного словаря¹⁶.

Первый вопрос касается тех отличий диалектной лексики от литературной, которые связаны с различной сочетаемостью диалектного и литературного слова¹⁷, т. е. с их синтагматикой. Исследование этой стороны семантики слова, являющейся чрезвычайно важной для понимания системных связей лексики, в последнее время активизируется¹⁸. Однако в применении к диалектной лексике, в практике составления диалектных словарей сочетаемость слова до сих пор обычно не учитывается. Между тем именно ее особенности в очень большом количестве случаев резко отличают диалектное слово от соответствующего литературного, одинакового с диалектным и по фонемному составу и, в основном, по значению. Такого рода специфика слова может быть выявлена в процессе длительного и глубокого проникновения в лексическую систему диалекта при наблюдении над лексикой диалекта в целях составления диалектного словаря.

Приведем некоторые примеры. Глагол *выстяться* имеет в литературном русском языке значение «возвышаться над

¹⁵ Ф. П. Ф и л и н, Некоторые проблемы диалектной лексикографии, стр. 4.

¹⁶ Архангельский областной словарь (АОС) составляется кабинетом русской диалектологии кафедры русского языка филологического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова под руководством автора данной статьи. Сбор материала производился в говорах Архангельской области в течение десяти последних лет. Используются материалы, собранные в картотеке АОС. Объем ее — около 1 млн. карточек. В сборе материала принимает участие Архангельский пед. ин-т им. М. В. Ломоносова (зав. кафедрой русского языка доц. К. И. Семёнова).

¹⁷ Ср.: И. А. Оссовецкий, Словарь говора д. Деулино... стр. 204; О. Г. Гедова, указ соч., стр. 104.

¹⁸ Ср., например, широко развернувшееся в последние годы изучение лексики литературного языка с точки зрения ее дифференциальных семантических признаков в связи с работой над составлением экспериментального словаря русского языка.

окружающими предметами, высоко подниматься». Обладая тем же значением, в архангельских говорах он может сочетаться со словами, с которыми в литературном языке он сочетаться не может: *Он глеуц! одній роуд ёвсацц; Застытис ёвб, а би на палъце ёвсица (о насекомом).*

Наречие *ерасплох* «неожиданно» сочетается в литературном языке только с глаголами *застать, застигнуть, захватить*. В архангельских говорах употребляют это наречие с любым глаголом, даже: *умереть ерасплох*. Ср. *Онá мáкетó еросплóх кáк зевóплá!*; *Срэдцá, тáк ёжели еросплóх уейдиси — испугеяси; Он еросплóх на мейá набезжé!; Ковдý травянйстóй бóрек — бáтил! рýба у сáмого тó берега! еросплóх стýпйси ковдý вóду..*

Наречие *ерастяжку* «вытанувшись» в литературном языке сочетается, по-видимому, только с глаголом *лежать*. В диалектах можно и *уасть еростяжку, вальтисья еростяжку*: *За кóрень запчлáсь нóгий, тáк еростяжку и упáл; Она вáлилась еростяжку, дáк недели дее мý её здымáли.*

Глагол *выстунать* в значении «по-являться, показываться, становиться видимым» сочетается в литературном языке с определенным кругом существительных: *слезы, пот, румянец, кра-ска* (на лице), *кровь* и т. п. В говорах возможно и сочетание с одушевленными существительными: *В мáе выстунáют слезцý (слезни).*

Глагол *иссякнуть* при общем с говорами значении «исчерпаться, прийти к концу» не может сочетаться в литературном языке с такими существительными, как, например, *картошка* и др.: *Фсá картóшка иссякá.*

Глагол *водиться* в значении «иметься, жить (о животных, птицах и т. п., когда речь идет о районе их распространения)» (четырёхтомный «Словарь русского языка») в литературном русском языке может сочетаться только со словами, обозначающими живые существа. В архангельских говорах эти связи не ограничены, ср. *Окол рёвчиси грáби не ёвдвáца.*

Глагол *возбудить* в значении «вызвать что-либо к жизни, пробудить, породить, усилить» в литературном языке обычно может сочетаться со словами, означающими мысль, чувство, состояние и т. п. человека. В материалах Архангельского словаря зафиксировано: *Англичáна возбудили войнý-ту; Я возбужу бóльшэ соёв.*

Глагол *валить* в значении «быстро двигаться сплошной массой чего-нибудь» в литературном языке может быть употреблен при существительных определенного типа: *валит ёым, снег, пар, пот валит градом, народ валит, по улице толпа валила*. В архангельских говорах: *ветер валит, вода валит из самовара, лес валил по реке, огонь валит, темень валит и т. п.*

Другой вопрос, который мы хотим здесь затронуть, состоит в том, включать или не включать в диалектные словари лексику, имеющую в литературном русском языке ограниченную сферу употребления в связи с особой стилистической окраской. Речь пойдет о словах, обычно фиксируемых в словарях литературного языка в качестве слов разговорных, просторечных и устаревших. В диалектной лексикографии этот вопрос не решен.

Многие исследователи исходят из того, что просторечие находится за пределами русского литературного языка, не входит в его состав. «Приобщение к культуре широких масс (в 20-е годы нашего столетия.— О. Г.) привнесло в литературное употребление черты жаргонов, диалектов и просторечия», — пишет В. Г. Костомаров¹⁹. И далее по отношению ко времени конца 40-х годов: «Живое развитие языка требовало нового культурно-нормативного подхода: уточнения сущности нормы, границ литературного языка и его взаимодействия с просторечием и другими сферами общенародного языка, разграничения и упорядочения в стилистическом парете»²⁰. На этой же точке зрения находится и целый ряд других исследователей.

Исходя из этого, исследователи диалектной лексики русского языка приходят к выводу о том, что, находясь за пределами литературного языка, будучи одной стороной обращена к русским диалектам, а другой — к устно-разговорной форме литературного языка, просторечная лексика должна стать объектом диалектной лексикографии²¹. Однако с этим согласны не все.

Ф. П. Филин так мотивирует свое несогласие с предложением о включении в областные словари просторечной лексики: «Просторечие, — пишет он, — как посредствующее звено между диалектами и литературно-нормативными словами — только один из путей передвижения диалектной лексики в сферу литературного употребления. Почему мы должны интересоваться лишь одним этим путем и игнорировать остальные?... Если мы будем иметь в виду все основные каналы, по которым диалектная лексика попадает в литературную, мы будем обязаны включить в областные словари не только просторечные слова, но и нейтральные, разговорные, специальные и другие лекси-

ческие пласты, а это будет означать возврат к словарю типа *thesaurus* или что-то вроде того, что практически невыполнимо»²².

Основное высказываемое здесь возражение, связанное с практической невозможностью беспредельного расширения объема диалектных словарей, не является принципиальным. Дело, конечно, не в объеме словаря. Диалектные словари, включающие просторечную (и разговорную литературную) лексику, уже появляются. Составители находящегося сейчас в печати «Словаря современного русского народного говора (д. Деушино, Рязанского района, Рязанской области)», отказавшись в процессе работы над словарем от задуманного вначале принципа полного словаря, пришли к типу дифференциального словаря, однако не узкодифференциального характера, а более широкого — с включением в этот словарь просторечных и устно-разговорных слов литературного языка.

Нам представляется, что нельзя говорить о просторечии вообще²³, а следует говорить о разных видах русского просторечия, о различительных элементах внутри него, связанных с взаимодействием народных диалектов и устно-разговорной разновидности литературного языка на разных территориях распространения русского языка (правда, этот вопрос совсем не исследован). Эти различительные элементы выделяются прежде всего в области лексики, затем, безусловно, в фонетике. Ср. известные лексические различия между устно-разговорной формой городского языка Москвы и Ленинграда: моск. *ручка*, ленингр. *вставка*, *вставочка*, моск. *тённиска*, ленингр. *бббочка*, моск. (школьное) *ластик*, ленингр. (школьное) *резинка*, ленингр. разг. *карточка* при моск. *ебный*, *проведной* «провозной билет», ср. также моск. *очёшник* «футляр для очков», *колеотной* — слова, незнакомые ленинградцам.

Можно привести и массу других примеров из речи жителей разных русских городов. Являются ли эти и подобные лексические различия в городской речи разных русских городов просторечными,

²² Ф. П. Филин, Некоторые проблемы диалектной лексикографии, стр. 10—11.

²³ С нашей точки зрения, нельзя говорить и о единой устно-разговорной форме литературного языка. Она имеет свои разновидности на разных территориях — ср. устную речь интеллигенции разных русских городов: Москвы, Ленинграда, Ярославля, Горького, Владимира, Рязани, Архангельска и т. д. Эти разновидности различаются, по крайней мере, фонетически (в том числе и интонационно) и лексически.

¹⁹ В. Г. Костомаров, О ретро-спективности учения о культуре речи, ИАН ОЛЯ, 1966, 2, стр. 82.

²⁰ Там же, стр. 83.

²¹ См.: О. Г. Гедова, О характере областного (диалектного) словаря; С. Д. Кац, К вопросу о так называемом «просторечии» в составе современной диалектной лексики, «Уч. зап. Азерб. пед. ин-та», Язык и литература, 1964, 1.

разговорно-просторечными или просторечно-диалектными? Пока это не выяснено. Во всяком случае, если это просторечная лексика, то она имеет свои изоглоссы, как и диалектная лексика.

Несомненно, что при дальнейшем более глубоком изучении лексики русских говоров будет выявлено определенное количество слов, известных на основных территориях русского языка и не входящих в состав литературного языка. Это будут, по нашим наблюдениям, видимо, в основном глагольные образования с общерусскими корнями. К сожалению, пока у нас нет достаточных материалов такого рода.

Иногда мнение о том, что в языке вообще могут существовать территориально ограниченные просторечные слова, считается парадоксом²⁴.

В книге «Русская диалектология» Р. И. Аванесов выделяет, с одной стороны, устную речь русского языка вообще — в противовес письменному литературному языку, и с другой стороны — просторечно-диалектные различия, свойственные разным территориям одного языка и противопоставленные единому литературному языку. «Общерусские черты устного языка — такие элементы структуры языка, которые свойственны устной речи как таковой, т. е. диалектному языку, разным формам народно-разговорного языка, а также устной форме литературного языка (таким образом, эти черты отсутствуют в письменном литературном языке)... под чертами просторечно-диалектного языка имеются в виду такие элементы структуры языка, которые объединяют диалектный язык на данной территории с народно-разговорным языком на той же территории, отсутствия при этом в литературном языке, не только письменном, но и устном»²⁵. «Просторечно-диалектные различия, — продолжает Р. И. Аванесов, — это такие элементы строя языка, которые как для диалектного языка, так и для языка народно-разговорного, «полудиалектового» (практически — языка коренных жителей городов этой территории) являются общими на одной, данной, территории и, напротив, отличаются по языку разные территории»²⁶.

²⁴ Ср.: Ф. П. Филин, Некоторые проблемы диалектной лексикографии, стр. 12.

²⁵ «Русская диалектология», М., 1964, стр. 9.

²⁶ Там же, стр. 10. Ср. также: Т. С. Коготкова, О некоторых особенностях диалектной лексики в связи с устной формой ее существования, сб. «Славянская лексикография и лексикология», М., 1966, где говорится о проблемах, связанных с изучением устно-разговорной разновидности общенародного русского языка независимо от того, является ли она

В указанной выше статье Ф. П. Филин продолжает: «Если мы примем предложение О. Г. Гецовой включить в областные словари и просторечную лексику, то мы будем вынуждены помещать в них массу разговорных слов, поскольку очень часто трудно или невозможно бывает определить, является ли то или иное слово просторечным или разговорным. А это опять повлекло бы нас к практически неосуществимому расширению объема диалектологических словарей»²⁷. Действительно, граница между устно-разговорной литературной лексикой и просторечной, с одной стороны, и лексикой просторечной и диалектной, с другой стороны, является во многих случаях весьма расплывчатой. В статьях Ф. П. Филина и в названной выше статье О. Г. Гецовой приведено достаточное количество примеров такой нечеткости границ между этими слоями лексики. Эта расплывчатость границ широко отражается имеющимися словарями литературного языка.

Однако трудно согласиться с Ф. П. Филиным, что «несмотря на расхождение в стилистической оценке слов в толковых словарях, все же в подавляющем большинстве случаев помета „обл.“ во всех современных словарях ставится одинаково. Каждый лексикограф знает, что наиболее зыбкими являются границы не между областными и просторечными словами (точнее, между пометами „обл.“ и „простореч.“ в словарях), а между просторечными и разговорными»²⁸. Детально познакомившись со всем материалом на букву «В», содержащимся в двух последних словарях литературного русского языка: четырехтомном «Словаре русского языка» (I, М., 1957) и семнадцатитомном «Словаре современного русского литературного языка» (II, М., — I, 1951), и выбрав лексику, имеющую при себе помету «обл.» (или «обл.» в сочетании с другими пометами), мы обнаружили следующую картину. Всего слов, содержащих помету «обл.» или пометы, включающие в себя «обл.», в четырехтомном словаре — 110, в семнадцатитомном — 123, т. е. в последнем на 13 слов больше. Однако из этого общего количества слов, имеющих двойную помету «обл. и простореч.» или «простореч. и обл.», в четырехтомном словаре всего 39, т. е. около одной трети, а в семнадцатитомном — 65, т. е. более половины всего количества. Думается, что подобные наблюдения лишней раз подтверждают как тесную связь русских диалектов с просторечием русского языка, так и ту мысль, что основным источником просто-

принадлежностью литературного языка или русских диалектов.

²⁷ Ф. П. Филин, Некоторые проблемы..., стр. 11.

²⁸ Там же.

речия (во всяком случае современного) являются русские говоры²⁹.

Имеются расхождения в отнесении тех или иных слов к просторечным или диалектным и между современными словарями литературного языка и предложениями, содержащимися в «Проекте „Словари русских народных говоров“». На стр. 35 этого «Проекта» слово *вёдро* («ясная погода») отнесено к лексическим диалектизмам, составителями же всех современных словарей литературного языка оно не признается диалектным: в словаре под ред. Д. Н. Ушакова при нем стоит помета «простореч.», в четырехтомном — «устар. и простореч.», а в семнадцатитомном словаре и вовсе нет никакой пометы, т. е. составители последнего считают это слово за нейтральное литературное. То же относится к слову *бацать* (в значении «ударяя, производить сильный, резкий, отрывистый звук»), помещенному во втором выпуске «Словаря русских народных говоров» (стр. 159), и, следовательно, признаваемому за словарный диалектизм. В четырехтомном словаре это слово помещается без помет («бацать» — неслов. к *бацнуть*), в семнадцатитомном имеется только *бацнуть*, без помет; в словаре 1847 года это слово дано с пометой «в просторечии». Ср. также выше о словарных статьях на слово *ниса*.

Не совсем ясно, каким образом, отвергая просторечную и разговорную лексику в качестве объекта диалектной лексикографии, Ф. П. Филин предлагает включать в диалектные словари различия, состоящие в «наличии в общем языке и в говорах разных несовпадающих стилистических оценок одного и того же слова — стилистические диалектизмы». При этом в качестве примера такого стилистического диалектизма Ф. П. Филин приводит слово *баба*: «ср. *баба* со сниженным значением в общем языке и *баба* в нейтральном значении в говорах»³⁰.

Расплывчатость и нечеткость границ между областными, просторечными и разговорными словами, отражающая движение, происходящее в лексике русского языка, не должна служить препятствием для включения этих слов в диалектные

словари. При этом, как справедливо утверждает Ф. П. Филин, имея в виду все основные каналы, по которым диалектная лексика попадает в литературную, по необходимости придется включать в диалектный словарь и разговорную лексику литературного языка.

Итак, с нашей точки зрения, в диалектные словари следует включать лексику просторечную, лексику устно-разговорной разновидности литературного языка, а также лексику, устаревшую в системе литературного русского языка, но являющуюся активной в говорах.

Просторечная лексика включается в диалектные словари, прежде всего, в качестве лексики, находящейся за пределами литературного языка и относящейся к просторечно-диалектной сфере бытования общенародного устно-разговорного языка. Лексика устно-разговорной формы литературного языка представляет собою ту сферу, через которую передвигаются диалектно-просторечные слова в состав литературного языка; необходимо поэтому ее также включать в составляющиеся диалектные словари. Устаревшая лексика (уже исчезнувшая из состава литературного языка или находящаяся сейчас на его периферии, исчезающая из него) должна включаться в диалектные словари в качестве лексики, находящейся фактически за пределами лексической системы литературного языка. Для так называемых архаизмов литературного языка Ф. П. Филин также делает исключение, предлагая включать их в диалектный словарь.

Все названные разряды слов могут быть объединены в одну группу по признаку их отличия от литературного языка. Это отличие относится к стилистической характеристике слова. Названные разряды слов объединяет в литературном языке их стилистическая «окрашенность», которая, с другой стороны, отличает их от соответствующей лексики в говорах русского языка. Вопрос о стилистических различиях диалектной и литературной лексики совсем не разработан. Стилистически окрашенная лексика литературного языка обычно выступает в диалектах как стилистически неокрашенная. Это относится и к словам устно-разговорной формы литературного языка (имеющим в словарях литературного языка помету «разг.»), и к словам просторечным (имеющим в словарях помету «прост.», «в просторечии»), и к словам устаревшим (имеющим помету «устар.»).

Приведем некоторый материал употребляющихся в архангельских говорах слов, помещенных в словарях современного русского языка с пометами «прост.», «разг.» и «устар.» и не являющихся стилистически окрашенными в современных архангельских говорах. Примеры слов, имеющих в большинстве словарей литературного языка помету «прост.»:

²⁹ Сказанное отнюдь не означает, что иных источников пополнения лексического состава литературного языка за счет диалектной лексики не существует. Однако все другие источники ищут лексику литературного языка, как правило, в сфере этнонимической, топонимической, профессиональной и т. п., т. е. в области главным образом терминологической лексики. Что же касается слов нетерминологического — нейтрального — характера, то основным каналом их проникновения в литературный язык продолжает оставаться просторечие.

³⁰ Ф. П. Филин, Некоторые проблемы..., стр. 4.

Взойти в значении «войти внутрь чего-нибудь» (в семнадцатитомном словаре — «войти в помещение» в словаре под ред. Д. Н. Ушакова — с пометой «прост.», в четырехтомном словаре имеет помету «устар. и прост.», в семнадцатитомном — «в просторечии»). В архангельских говорах: *Как без бѣлта на моряк-от взойдѣш?* (моряк «морской пароход»); *Анна-то взойдѣт да 2 часа в бѣины сидѣт*; *В зоопарке это зверѣ-то. Тѣлько взойдѣш — ѣк налѣво в дѣври*; *Взошл ѣвѣбу, а забѣла зацѣм*; *Боемса ѣвѣди брата ѣвѣтѣ домѣи*.

Этот же глагол в значении «быть впопугу» (об одежде и обуви) в словаре под ред. Ушакова — «прост.», то же в словаре четырехтомном, в семнадцатитомном без помет. В изучаемых говорах: *Не ѣвѣдут мой сапоги тебѣ*.

Выметаться «уходить, убраться прочь»; в словаре под ред. Ушакова — «простореч. вульг.», в четырехтомном — «грубопрост.», в семнадцатитомном — «в просторечии. Шутл. или в фамильярном обращении». В архангельских говорах сниженной окраски нет: *Как тѣлько семѣйтку конѣчяю, так ѣметѣюце; Ф ту избушку ѣметѣиси, а хтѣ пѣстит?*

Враз, в словаре под ред. Ушакова — «разг.», в четырехтомном — «прост.», в семнадцатитомном — «в просторечии». Все литературные словари указывают значение «одновременно, разом, вместе», четырехтомный приводит и второе значение — «разу, тотчас же», семнадцатитомный выделяет еще оттенок основного значения «разу, в один прием». В архангельских говорах это наречие зафиксировано в четырех значениях: 1) за один раз, сразу, в один прием, единожды: *Дак мнѣго ли враз капель надо?*; *У меня ѣвдоѣк (о корове) — мѣтра цѣмѣре врас тѣлько дойт*; 2) одновременно: *Старушки мѣячя врас и ѣдѣт врас*; 3) быстро, моментально, сразу: *Тѣнко (связаны носки), дак нѣдѣго стой, врас прибѣдѣца; Остригу ѣволосы врас!*; *Врас никто не созоѣт; Чѣгѣ принесѣт, дак ѣтъ не врас кормѣт-то будѣт*; *А штѣ на самолѣте — озмѣлѣт врас*; 4) впору, точно по мерке, в самый раз: *На ней врас сарафан-то; Тебѣ слѣпко будѣт, мнѣ — врас; Степѣна Иѣвѣнча тѣнки мнѣ врас*.

Волчица; в словаре под ред. Д. Н. Ушакова — «обл.», в четырехтомном — «прост.», в семнадцатитомном — без помет. В архангельских говорах: *Заплѣдѣись, ѣволчица, она тѣжо принесѣт мнѣго*; *Волчица-та тут летѣт слѣдом*.

Примеры слов, имеющих в словарях литературного языка помету «разг.»: *Вон «прочь, наружу»*; в словаре под ред. Ушакова — «разг.» в случае употребления с глаголами *исчезнѣла, улѣтучилася, ѣвишл*, в четырехтомном словаре — «разг.», в семнадцатитомном — без помет. В архангельских говорах это наречие имеет значение «наружу, вовне, снаружки»:

Егѣ отпустили, а оскѣлок пошлѣ ѣвн, не на сѣрце; Ф пѣчки-то ѣгоды ѣвн идѣт; Вѣн-то не бросаѣте, ѣѣ ѣтъ там не рѣте; Сѣн-то ѣвн нестѣт?; Я тогдѣ ѣѣшла ѣвн; Оксѣнья-то, говорѣт, поѣжѣт; Картошка сѣварѣце и ѣ ѣѣмѣу егѣ ѣвн; Сѣн со сногѣй ѣвн пошлѣ.

Вѣльничать — «поступать своевольно»; в словаре под ред. Ушакова — «неодобрит.», в четырехтомном — «разг.», в семнадцатитомном — без помет. В архангельских говорах: *Тѣ, дѣфка, не ѣвльничѣй, обѣмѣсь! Не ѣвльничѣть, а тѣ ф кропѣву брѣшу обѣз!*; *Кѣтѣри ѣвльни, так ѣвльницѣют, а кѣтѣри смѣрѣни, так они ѣѣк смѣрѣни*.

Водѣца, в литературном языке ласкательное к *вода* (в словарях под ред. Ушакова и четырехтомном — «разг.», в семнадцатитомном — без помет). В архангельских говорах: *Тудѣ ѣвѣдѣцы ѣлѣт; До тоѣо брѣвнѣ былѣ ѣвѣдѣца (во время половодья); Водѣца не понрѣвилася, ѣвѣдѣ-то солѣна, худѣя, нѣша ѣвѣдѣца лѣгонѣка*.

Вѣлѣжать «пролежать до определенного срока или определенное время»; в словаре под ред. Ушакова и четырехтомном — «разг.». В архангельских говорах: *Нѣколаѣвна ѣвѣлѣжала нѣѣѣ врѣстѣнику; Я ѣвѣлѣжала сѣвѣдѣно до двѣнѣцѣти*.

Вѣлѣжаться «пролежать долгое время, отдохнуть в лежачем положении»; с пометой «разг.» в двух четырехтомных словарях. В архангельских говорах: *Я как ѣвѣлѣжусь, дак мнѣ худо; Вѣлѣжусь ещѣ; Устѣла, дак ѣвѣлѣжусь*.

Вѣзка «перевозка, доставка» с пометой «разг.» в двух четырехтомных словарях. В архангельских говорах: *За ѣвску-то клѣждѣй дѣнь мешѣк; За рѣпку, за ѣвску, за кѣрку — фѣѣ одѣнѣ денѣги дадѣт; Вѣска смѣля, да на потѣѣѣѣ былѣ*.

Вѣметать «выбросить, выкинуть все постепенно, по частям»; в словаре под ред. Ушакова отсутствует, в четырехтомном словаре — «разг.» В архангельских говорах: *Тѣлѣнок накопѣл, не мѣзу ѣвѣметѣт; Сѣдѣни нѣтъ сѣдѣтѣ назѣм ѣвѣметѣт*.

Из слов, имеющих в словарях литературного языка помету «устар.», приведем примеры таких, которые еще не вышли из употребления в литературном языке и в то же время не являются историческими терминами.

Воздѣмѣть «поднимать вверх»; в словаре под ред. Ушакова — «книжн. устар.», в четырехтомном и семнадцатитомном — «устар.». В архангельских говорах: *Стѣлько въздѣмѣть, дак это с умѣ сойтѣ! Не въздѣмѣйте меня тѣпѣрь, я тѣжѣлой; Ой, форѣст, рѣло-то въздѣмѣт, хо-хлѣха; А как ѣрѣтет, так дрѣбѣзѣгом, то-лоѣк въздѣмѣло*.

Воздѣмѣться «подниматься» в словаре под ред. Ушакова — «книжн. устар.», в четырехтомном — «устар.», в семнадцатитомном помета «устар.» стоит толь-

ко у глагола *воздымать*. В архангельских говорах: *Колесо на повороте скьяльцо-то вот воздымаетца; Иби не воздымаетца; Пар-то как воздымаетца.*

Виниться «признавать себя виновным»; в слове под ред. Ушакова — «разг. устар.», в четырехтомном словаре — «устар.». В архангельских говорах: *Светка не винилась; Другой день как а у тебя спрашываю, ты не винишься; Ниде нет робинка, и она не виницца.*

Воздохнуть «вздохнуть»; в слове под ред. Ушакова — «книжн. устар.», в двух других словарях — «устар.». В архангельских говорах: *Воздохнуть не могу никак.*

Високос «високосный год»; в слове под ред. Ушакова — «устар.», то же в семнадцатитомном словаре, в четырехтомном слово отсутствует. В архангельских говорах: *Високос забй год для севера.*

Вожитый «тот, кто ведет кого-либо, указывает кому-л. дорогу; проводник, поводырь»; в слове под ред. Ушакова — «книжн. обл.», в четырехтомном словаре — «устар.», в последнем словаре это слово дано в словарной статье *водить*, при этом без помет. В архангельских говорах: *Наа вожитой вам, одним вам не найти.*

Выше мы проиллюстрировали различия диалектной и литературной лексики в ее сочетаемости с другими словами и в стилистической окраске. Однако отличия диалектной лексики от литературной гораздо шире. Почти каждое (а, может быть, и абсолютно каждое) диалектное слово — это слово особой лексической системы: различны не только значения диалектных и литературных слов и их оттенки, различны связи слов между собой (как семантические, так и словообразовательные), различны фразеологические сочетания, в которых они выступают, и т. д.

Ниже приводится несколько пробных словарных статей Архангельского областного словаря, которые это иллюстрируют. Сознательно избраны словарные статьи для слов, имеющих и в литературном языке. В приводимых словарных статьях географические пометы (названия района и населенного пункта Архангельской области) подаются в сокращенном виде³¹ и проставляются как после

каждого примера, иллюстрирующего то или иное значение слова, так и после всех иллюстраций. В последнем случае из списка географических помет исключаются названия тех населенных пунктов, которые были приведены выше при иллюстрациях.

ВЕЛІ́КОЙ, -а(я), -о(е), кратк. ф. — вели́к, -а́, -б. Значительный по размерам, крупный, большой. *Денеги велики надо. Куйцца не так велика.* В.-ТОЕМ. Верх. *Корвы порато велики. У обла брощина-та велика. Не знаю, велика ли посылка.* ШЕНК. ВП. *Великую стипендию дайт.* КАРГ. Хот. *У нас бьяно великую деревен нет.* ВЕЛЬ. Лих. *Она как скьяль велика, она с той кбже выхдит (о змее). У нас семья-то велика была.* ВЕЛЬ. Сдрм. *Раньше там пьло было, што великийе подати были. Такой великой яшицаек.* КОТЛ. Зблт. *Велика ли стипендия?* УСТ. Сип. *В великом море трудно найти.* ПРИМ. З. Зол. НЯНД. Сп. **ВИН**. **КОНЕГ**. В.-ТОЕМ. Пуч **ВИЛЕГ**. Павл. **МЕЗ**. Дор. Дягц. **ЛЕШ**. Вжг. //Большой по росту, высокий, длинный. *Велики отростила (о вологах). Жито-то выростет велико. Рбстом не великой.* ШЕНК. ВП. *Паты-те уж бьяно велики. Он даром, што велик, а наит провбрной.* ВЕЛЬ. Лих. *Покажи, какбй выростеши, велик ли. Велик ли выростеши, Васенька?* КАРГ. Нок. *Травы-то себегоду велика. Сила нао большия носить — тяжбла травы-то, велика.* УСТ. Сип. *И мы тогда пьзъдили з Геном, так кбль вода-то была велика.* ПИН. Квр. *О, какбй велико выросло! (о ребенке).* МЕЗ. Дор. ВЕЛЬ. Сдрм. //Большой по возрасту (обычно о детях). *Он великово ли приес?* В.-ТОЕМ. Пуч. *У тебя сын-от велик? — как ты иево остблял!* УСТ. Сип. *Великой ли парнишко?* КАРГ. Хот. *Микбла велик ли ббй?* ВЕЛЬ. Лих.

хопаденьга, П. — Поташевка, Кот. — Котаяка, Прип. — Першпахта, Влс. — Волосово, Рыжк. — Рыжково, Пор. — Поромское, Оп. — Ошевенск, Нок. — Ноколо, Лкш. — Лёкшозеро, Оз. — Озёрко, Хот. — Хотеново, Яд. — Ядяны, Мас. — Маселга, Сп. — Ступино, Врл. — Верала, Сдрм. — Судрома, Лих. — Лиходеево, Сип. — Сипики, Пл. — Плёсо-Мякурье, Сель. — Сельцо, Морж. — Моржегорское, Конецг. — Конецгорье, Верш. — Вершина, УВ. — Усть-Вья, Пуч. — Пучуга, ВУ. — Верхняя Уфтуга, Зблт. — Заболотье, Павл. — Павловское, Дор. — Дорогорское, Ким. — Кимжа, Дягц. — Долгощелье, Лмжк. — Ламшожня, Кар. — Карьеполье, Влдк. — Валдокурье, Вальт. — Вальтево, Квр. — Кеврола, Вжг. — Вожгора, Цнгр. — Ценогора, З. Зол. — Зимняя Золотца, Л. Зол. — Летняя Золотца, Пдп. — Подпорожье, Там. — Тамица, Хач. — Хачела.

³¹ Приводим список сокращений. Районы: ШЕНК. — Шенкурский, ПЛЕС. — Плесецкий, КАРГ. — Каргопольский, НЯНД. — Няндомский, КОНОШ. — Коношский, ВЕЛЬ. — Вельский, УСТ. — Устьянский, ХОЛМ. — Холмогорский, ВИН. — Виноградский, В.-ТОЕМ. — Верхне-Тоемский, КРАСН. — Красноборский, КОТЛ. — Котласский, ВИЛЕГ. — Вилегодский, ЛЕН. — Ленский, МЕЗ. — Мезенский, ПИН. — Пинежский, ЛЕШ. — Лелуковский, ПРИМ. — Приморский, ОНЕЖ. — Онежский. Населенные пункты: ВП. — Вер-

Сколь велики были, титку есаи. ШЕНК. ВП. // Значительный по силе, интенсивности. На улице побудушка, великая метель. Вѣтер велик порало. ШЕНК. ВП. Бьяно побода велика была. ВЕЛЬ. Сдрм. Бес пейц велико ли тепло будѣт? ЛЕШ. Вжг. Оуень велик естер бья. ВИН. Конечг. С отрицанием *невеликой* — неважный, плохой, небольшой по значимости. Сѣмдесят пять мублѣй — невеликой побобье. КАРГ. Хот. Невелика запрафна (покрывало и пр.). ВЕЛЬ. Лих. Силь осяодя! — невелика разница. УСТ. Син. // В сочетании с наречиями степени сколь, столько, сколько имеет значение — соответствующий данному размеру, обладающий указываемым размером. У нѣг вот столько великая забота (травы). Столь велика рѣна. Косытка сколь велика, лѣтка-та нескусна. Эсколь велик лѣдной рѣнь, я у йев видла. Оеури эсколь велики. А сам был эсколь велик. ШЕНК. ВП. Столь великие шли вазали, как обеляо. Иива, если замля у йей исатка — столь велико прутье росѣт за еом. В. ТОЕМ. Верш. Сколь велик зорѣт, так и остбьѣ длают. ПРИМ. З. Зол. Девушку вот столько велику приел. С Валерку будѣт столько велик. ВЕЛЬ. Лих. Наперѣк эх айцки, зубѣ-от столько велико. Ваяли такой, от столько велик, луцѣнку. ВЕЛЬ. Сдрм. УСТ. Син. // Огромный, превышающий по своим размерам обычное представление о предмете. Дак великой хлѣп, наѣрно не сѣйш. ШЕНК. ВП. Он был страшной, великой зѣрь. ПЛЕС. Пор. // // Большого размера, чем надо. Велико шикко сойти. УСТ. Син. ◊ Великое говенье. Великий пост. В великой говинѣ тьяки отелася. В. ТОЕМ. Верш. ШЕНК. ВП. ◊ Великое дело. О чем-н., не имеющем большого значения, неважном. Велико дѣло, што байна згорѣла. ШЕНК. ВП. ◊ На (через) силу велику(ю). См. сила. Великобле, тономн, назв. земельного участка. Великоблѣ. Грязнѣо, раньше было грязнѣо. НЯНД. Стп. ВОДА, -ы, вып. воду, мн. воды, ж. 1. Водная масса моря, реки. В ед. и мн. числе. У нас вода приливна, мѣло хорбшего мѣста уш. У нас вода приливна, возьмѣт понесѣт и фѣв. Вода зарубила, начинѣт прибывѣт. Сухой-то воды пойдѣт — уу, и еѣт не видно. МЕЗ. Длгц. Рѣба иѣт по воды: вода прибывѣт, рѣба прихѣдит, вода надѣт, рѣба узѣдит. Сѣверо-зѣпат, воды болѣиушиши хѣдат. ОНЕЖ. Кянда. Пока вода иѣт на прибывѣт, рѣба иѣт вѣрѣ, а как вода на убывѣт, рѣба иѣт вѣис. ВЕЛЬ. Сдрм. МЕЗ. Дор. // Вода пришла (приѣдет). О приливе. Вода пришла, знѣчит лѣбѣца тудѣ, ф ту стѣрону. Вода пришла, онѣ кричѣт (чайки). Вѣд бѣдѣ, вода-то пришла еѣцѣром. Вода нѣтъ ишѣшѣ не пришла. Потѣм вода-то пришла, кѣпка опѣла. Дѣфка, нѣтъ иѣхѣт, воды мѣло пришла. МЕЗ. Длгц. Потѣм вода приѣдет, на пѣной он иѣт ф Пѣурнему. ОНЕЖ.

Лямца. / Вода ушла (уйѣдет). Об отливе. Фѣв вода ушла, обрѣзали уѣбрѣшки. МЕЗ. Длгц. А ф сѣмь, вѣсемь, наѣрно, вода уйдѣт. При сухой-то воды вода од бѣрега узѣбит. ОНЕЖ. Лямца. // Вода западѣт. Начѣтѣт отлив. У нас вода приѣт ѣ западѣт. МЕЗ. Длгц. 2. Уровень воды в водоеме. Когда вода упадѣт, тогда йѣг и стѣвят. Скажу молѣтке, штоп не сряжѣлась к эѣбѣ воды. МЕЗ. Длгц. Рѣно как падѣт вода... ПИН. Сура. Вода зажмыѣ, и иѣхѣт наѣдо по эѣтой воды, штобы не по сухой воды. ПРИМ. З. Зол. А сѣяс полуѣд — така сѣѣ вода сѣрднѣа. МЕЗ. Длгц. Зовѣяѣт вода. ПИН. Влдк. 3. Состояние морской воды между двумя приливами или между приливом и отливом; время между двумя приливами. От воды до воды тѣнем. На одну воду мѣло попадѣт, а на друѣй бѣле (рыбы). Ми фѣвѣ воду тѣнем эѣти плѣтѣ. По два пѣда на воду попадаѣло на одну воду. ОНЕЖ. Пдп. Сѣйѣом ни одной воды не простояѣл, раньше фсе воды перѣстѣвал (о пароходе). ОНЕЖ. Кянда. Тоньшкѣ одна вода краѣсит — лѣто вѣсѣделѣ попусту, не уловѣи ни одной рыбы. Тоньшкѣ одна вода скраѣсит. ПРИМ. З. Зол. МЕЗ. Длгц. // По водам. В зависимости от состояния течения и уровня воды в водоеме. Онѣ тѣже как-то по водам хѣбит, по водам да по врѣмени (о рыбе). МЕЗ. Дор. // Изменение уровня и состояния воды в море во время морского прилива или отлива, стадия, фаза этого изменения. Там до воды успѣвай, иѣдут. Напрѣтѣ вѣтра — три воды. Ф хорбшей побѣде на трѣтей воде прихѣдут. Черѣз ѣѣе воды. Черѣз три воды вернуцѣца. Сѣмѣя вода прихѣдит, то врѣмя уж знѣш. Когда ф полмѣсяца да воды ф три набѣрем... МЕЗ. Длгц. 4. Прилив, максимальное повышение воды в прибрежной морской полосе или в реке при морском приливе. Вода-то тепѣре когда? Он без воды отпѣда не вѣйѣдет. Какѣны сѣтѣки ѣѣе воды прибывѣт. ПРИМ. З. Зол. На воды прихѣжала, стѣрацѣ хотѣла. Онѣ на той-то воды не уѣѣхали. До воды убрѣтѣ. С воды приѣдут. МЕЗ. Длгц. На эѣтой воды заприбѣдет. (пароход). Так би на денѣю воды приѣдет. ОНЕЖ. Кянда. Кѣлько рас хѣбѣла фѣтѣру, небѣсь воду окомѣрѣла? ОНЕЖ. Там. МЕЗ. Лямж. // Во мн. числе. Повышенне уровня морской воды при сильном ветре. Во врѣмя ѣѣт, когда вѣтра мѣло. ОНЕЖ. Кянда. // Время прилива. На эѣтой воды будѣт нѣтъ написѣтѣ (пѣсьмо). МЕЗ. Длгц. 5. Движение воды во время морского прилива или отлива; морское или рѣчное течение. Снѣсь-то тудѣ неѣт, прѣтѣс воды. Рѣба особенно захѣбит не по воды, а прѣтѣс воды. Прѣтѣс воды грѣп. Фѣрѣд ѣѣло иѣдѣм, прѣтѣс воды-ти. А ѣ Долгоишѣльѣе я была, там по водам

йёздыа, а манйги там нёт... ПРИМ.
 3. Зол. Отсюда вы выйдедете по водё.
 МЕЗ. Дор. Он с водёй ухóдит. Йему
 нать с водёй. МЕЗ. Кым. При большй
 водё с водёй хóдят. МЕЗ. Длгц. Шли
 не протйе водё, рыбаки тюю тянут,
 оны перекрестйались, фелнакали, стайи
 овешйице. Как тяжёло протйе водё
 плыть или грестй, уш не тák, как на
 пловть. МЕЗ. Дор. Рыба-та идёт не по
 водё, а протйе водё, протйе течёнйя.
 По водё вёрьз. УСТ. Син.
 6. Участок моря и прибрежной полосы,
 отведенный для рыбной ловли. На Ма-
 сленской водё сидит Иван. Он на нашой
 водё-то сидит. ПРИМ. З. Зол.
 7. Половодье. Весной-то водё у нас
 больше жывёт, она лпу и наташйит.
 КАРГ. Нок. Водё вейка, дак худó попа-
 дйет. ВЕЛЬ. Сдрм. Водё-то большйца,
 большйца, фсё потонуйа. ПИН. Квр.
 8. В ед или множ. числе. Жидкость при
 родах, отёле животных. Схóбйи ручкой
 в водё, провёрйш, правйльно ли нет ыдет
 телёнок. ВЕЛЬ. Сдрм. У меня корвóа
 не моглá ростелйца — у нейó водё не
 рождáйица. ПРИМ. З. Зол.
 9. Стирка, мытье чего-н в одной воде,
 однородная стирка, мытьё. Обычно в со-
 четании с числительными с предлогом
 «на». Сперв в одной ч'ашки помойеш,
 потём в другой, на две воды. Губы замá-
 цываюат водё на три, на четёрё, выпо-
 лоскают и осылают, оны как блинцы эти
 губы. Йа на две, на три водё мыла.
 МЕЗ. Дор.
 10. В значении наречия, кому. Благо-
 приятные для жизни условия. Тебё как
 жывёце, по здорвёю, тебё, дёфка, здёсь
 одá, водё! Не водё вам, вйдно, здёсь,
 не здёшня знáют — не водё, не камáнт,
 а здёшны-то как не водё?! — знáют здёсь
 родйаась. Йей там припáтки забрале,
 не водё йей тák. Из-за меня нарóчно
 вйдезале, мбжет не водё мнё. Прийдут
 на смённу водё и болёйут, в другой водё,
 нёт, вам здёсь не водё! Не водё вам, не камáнт.
 МЕЗ. Дор. ОНЕЖ. Там.
 ◇ Водá большáя/водё большй(е). 1. По-
 ловодье, весенний разлив реки; время
 половодья. В рекё-то лёт вйдет при
 большй водё. ОНЕЖ. Лямца. Мосты-
 то бйли на козлах, водё-то большá, штобы
 переходйть. ОНЕЖ. Кянда. Йес тогда
 стáют, когдá идёт водё на убыль, в бол-
 шую водё. Большй водё былá, нанесёт сору,
 лому. ВЕЛЬ. Сдрм. Сижу 27-ой гóт, тóлько
 обйнова заливлá большáя водё. МЕЗ.
 Лмжк. Большй-то водё фсё тóпит.
 ВИЛЕГ. Павл. По угбру не пройдёш,
 когдá большáя водё. В.-ТОЕМ. Верш.
 У нас тóже когдá большáя водё, сёмга
 идёт ф Твоу. ПРИМ. З. Зол. Фсё это тóпит,
 большй водё у нас. Вот тóлько,
 когдá большёвдье, когдá большйе водё,
 рекá роскрóйеца. МЕЗ. Длгц. Дор. Кым.
 ВЕЛЬ. Лмж. УСТ. Син. ХОЛМ. Сня.
 Собинь. ВИН. Морж. ПИН. Влдж. Вальг.
 Квр. ОНЕЖ. Хач.

2. Высокий уровень воды в реке. Не плá-
 вайте, водá большá, бйстра, скóро сф-
 дороги возьмёт. Тепёр водá прибывáт,
 большй водá, под забр пóцты вбзат,
 сёйгод водá большй, йёздыат ис-под
 ёрки. Тепёр водá большй, скóро, бат,
 не вйпадет, оны и пожывёт. МЕЗ. Кым.
 Йёсьли водá большй, напрохóд идёт
 (пароход), цяса трёх-четёрё — и ф Ка-
 менки. По водё-то по большй мнбго
 ёнок. МЕЗ. Дор. Когдá водё большй,
 и вётёр подлáдит пот крыл... МЕЗ.
 Длгц. ВЕЛЬ. Сдрм. Лмж. УСТ. Син.
 Холм. Собинь. ВИН. Морж. КРАСН.
 ВУ. МЕЗ. Лмжк. ЛЕШ. Влж.
 3. Морской прилив; время прилива. Па-
 стужй провёваю ины рас — водá бол-
 шй придёт и затопит скóт. В деветь
 цясóф прибывáт большй водё. Когдá
 большйе водё, она прихóдит в деветь
 цясóф утра, никакй цясы не нужнй.
 Водё-ти большй пришли. Как большй
 водё, так понесёт. МЕЗ. Длгц. Большй
 водё — корышки поч'тй нёт, фсё скри-
 вёеца — вйдно по корышкам. ПРИМ.
 З. Зол. Большй водё рётко к нам хóдит.
 ПИН. Квр. //Повышение уровня морской
 воды во время полнолуния. Сейцá мё-
 сёц плон, и водё большйе. Скажут:
 водá оджылá в большй водём. Большй
 водё бывáют черес сёмь дён: сёмь дён
 большйе водё, сёмь дён малйе водё.
 МЕЗ. Длгц. Из-за этóво рыбы нёту —
 большйе водё. Сюдá-то мáло идёт,
 на большй водáх тóлько (морская вода в
 реку). ПРИМ. З. Зол. На полну (при
 полнолунии) фсёгдá водá большй бывёт.
 Мёсяц плоный — водá на прибывáт —
 трёх водё большйу бывáет. ОНЕЖ.
 Кянда. //Увеличение уровня морской
 воды близ берега при сильном морском
 ветре. Север прймёце, бльно большу
 набнют. (А когдá большáя вода бывáет?)
 — Весной. А бывáед зймóт, от вётра,
 когдá какóй вётёр потёнёт. ОНЕЖ.
 Лямца. Йёсьли метёл, большй водё,
 дак новй рас возй бросюат, углопáюца
 тák. ОНЕЖ. Кянда.
 4. Цикл, период движения морской воды
 от начала прилива до полного отлива.
 Большáя водá шёсь цясóф — трёх прибывáт
 и трёх убывáт. ПРИМ. З. Зол.
 ◇ Водá сухá(я). 1. Мелководье, сильное
 обмеление реки в летнее время; время
 мелководья. Тепёр водá сухá, на мёл-
 как сёдёш, просидйш. Водá сухá, дак бн
 мёлйца и дёржйца. Водá былá сухá, дак
 пóздо, ходйа, а тепёр водá большй. Во
 врёмя сухóй водё она фсá пересыхáт.
 МЕЗ. Дор. Вйдыш, чернйет песóк, это,
 говорáт, кóшка вйпала, сухá водá стáла.
 МЕЗ. Длгц. Сухá водё, тák ы тйзо,
 а большй водá, так ы бйстро (о течении).
 Туйт сухá водá — на сёрткё кóшка
 стбит. МЕЗ. Кым.
 2. Морской отлив, минимальный уровень
 воды во время морского отлива; само
 время отлива. Сухá водá мй продлбнйца-то
 стбйем, вот рынку-то и обйраём.

В *двѣть сухѣ водѣ-то*. Пока вода сухѣ и перейдем. На сухѣ-то водѣ будѣт не-солонѣ (вода в реке). ОНЕЖ. Там. Водѣ сухѣ тепѣрь, вѣт и несѣк. Когда вода сухѣ, к нам не поидѣт. МЕЗ. Длгц. Я ѣхала двѣ недѣли назад, сухѣя вода была. На сухѣй водѣ не выйедем. ПРИМ. 3. Зол. Ф сѣтки она двѣ раз выѣдет сухѣ водѣ. При сухѣ-то водѣ водѣ од берега ухѣдит. ОНЕЖ. Лямца. Кянда.

◇ Водѣ мѣла(я)/водѣ мѣлы(е) 1. То же, что вода сухѣя в 1 знач. Мѣлая водѣ, когда сильнѣо засушилава рекѣ. ВЕЛЬ. Сдрм. Была мѣла водѣ тѣмѣтки, таг дѣлог итти. Была б мѣла водѣ, тогда пѣлобо бы. ПИН. Вальт. Водѣ мѣла, а пѣс в большѣй вѣду гнѣят. МЕЗ. Дор. ЛЕШ. Вжк. Мѣлы вѣды — тихѣнько идѣт (вода). Тепѣрь, пока вѣды-то мѣлы, косидѣ бы. МЕЗ. Длгц.

2. То же, что водѣ сухѣя в 2 значении. В вѣсемѣ чѣсѣф прихѣдит мѣла водѣ. Это сѣкс мѣла водѣ, ѣж, как большѣй по-пѣра. МЕЗ. Длгц. Так тѣжо мѣла водѣ, никуда кѣрбас не поидѣт. ПРИМ. 1. Зол. Сейчас уже мѣлая водѣ станбѣца — мѣй приѣхали: сухѣ водѣ. ПРИМ. 3. Зол. //Только во множ. числе. Понижение уровня морской воды во время последней фазы луны. Сѣмѣ двѣ мѣлыѣ вѣды. Большѣвѣе уйдѣт, мѣла водѣ. МЕЗ. Длгц. Маловѣды — мѣлыѣ вѣды сѣмы — б—в чѣсѣф. ПРИМ. 3. Зол.

3. Небольшой морской прилив, длѣющийся три часа, бывающий в промежутке между основными приливами. То же, что манѣжа. У нас пѣсѣ мѣла водѣ выѣйот—манѣжа. ПРИМ. 3. Зол.

◇ Водѣ мѣленька(я) — то же, что водѣ сухѣя (мѣлая) в 1 знач. Ничѣе уш мѣленькая водѣ стѣла: рѣньше по жѣрткѣ переходили, а тепѣрь — фѣс уш. Мѣленька водѣ жѣвет, мужикѣ броткѣм бродили. ПИН. Квр. Водѣ, сѣйгот водѣ мѣленькая. Мѣлая водѣ, когда сильнѣо засушилава рекѣ, она мѣленька водѣ. ВЕЛЬ. Сдрм.

◇ Водѣ пѣлна(я)/вѣды пѣлны(е). 1. Максимальный уровень морской воды во время полной фазы луны. Вѣт пѣлна будѣт водѣ. Перет пѣлноѣ вѣдѣй придем. МЕЗ. Длгц. Вѣт пѣлная водѣ — большѣвѣды — вѣйдѣ два разѣ в месѣцѣ. Прим. 3. Зол.

2. В ед. и множ. числе. Максимальный уровень сѣточного морского прилива; время прилива. Во скѣлько водѣ была пѣлная? Сѣбне, наѣрно, ф три чѣсѣ была пѣлная водѣ. На пѣлноѣ водѣ пѣлобо ходитѣ берегом. На пѣлнѣх водѣх-то, когда водѣ зажѣвет. ПРИМ. 3. Зол. Рѣньше в рекѣ бѣтѣ заходили, старикѣ скѣзѣвали, а сѣч'ѣс в дѣре плѣть мѣжно, ѣсѣлы пѣлна водѣ, а так нельзя. ПРИМ. 1. Зол. На пѣлноѣ-то водѣ поидѣду. А так не виднѣо ѣебѣ на пѣлноѣ водѣ. ОНЕЖ. Кянда. Водѣ-то придем, на

пѣлну вѣду поидѣт ф Пурнему. ОНЕЖ. Лямца.

◇ Водѣ зажѣлѣ(я). 1. Наличие постоянного уровня воды между приливом и отливом; время этого состояния. Кѣжна водѣ зажѣлѣ. Водѣ тѣлько пришил, зажѣлѣ водѣ, тѣжо, как в бѣре. Как водѣ зажѣлѣ, фѣс сѣлѣс вѣдут. МЕЗ. Длгц. 2. Самое начало движения воды при (начинающемся) приливе. Как топѣть стѣло, зажѣлѣ водѣ. МЕЗ. Длгц.

◇ Водѣ отжѣлѣ(я)/вѣды отжѣлѣ(е). 1. Самое начало повышения уровня морской воды в связи с фазой луны. Ўсѣлы сѣмѣга на оджѣлѣх водѣх, то прибудѣ, как на урѣннѣх — не будѣт. Она на оджѣлѣх водѣх, не на урѣннѣх. ПРИМ. 3. Зол. Перес сѣмѣ вѣт водѣ оджѣвет, оджѣлѣя водѣ. 28-го водѣ оджѣлѣ. МЕЗ. Длгц.

2. Увеличение уровня морской воды при начавшемся приливе. Оджѣлѣя водѣ в двѣть чѣсѣф утрѣ. МЕЗ. Длгц.

◇ Вѣды полноѣй(е). Высокий уровень морской воды при полной фазе луны. Однѣ вѣды ветхѣвѣ, друѣж полноѣй. МЕЗ. Длгц. Сѣвднѣе ужѣ полноѣй вѣды, водѣ большѣя. ОНЕЖ. Кянда.

◇ Вѣды ветхѣвѣ(е) — понижение уровня морской воды в период от полнолуния до новолуния, при месяце на ущербе. Однѣ вѣды ветхѣвѣ, друѣж полноѣй. Луны мѣньше — ветхѣвѣ вѣды. Ветхѣвѣе вѣды ф приѣлѣ идѣт. Эти ветхѣвѣ водѣ, не так бѣлѣско (боязко, страшно). Ветхѣвѣ вѣды — на ветхѣ (месяц). МЕЗ. Длгц.

◇ Водѣ упѣлѣ(я) / вѣды упѣлѣ(е) — наименьший уровень морской воды во время максимального уровня при полнолунии («большевѣды»). Церес двѣять вѣт водѣ упѣлѣ. Скѣжут — упѣлѣ водѣ, мѣньше прихѣдѣтѣ будѣт. Церес сѣмѣ вѣт пѣлѣт упѣлѣх мѣньше будѣт вѣды. МЕЗ. Длгц.

◇ Водѣ пѣлѣ(я) — отлив, уменьшившийся уровень морской воды при отливе. На пѣлѣ у и на приѣлѣ, на кѣйвату большѣе, стѣвят и на пѣлѣ (рюки). Идѣт сѣмотрѣтѣ на пѣлѣ вѣду. ОНЕЖ. Кянда.

◇ Водѣ пѣлѣя(я) — половеде. Опѣт водѣ пѣлоѣ не будѣт. ОНЕЖ. Кянда.

◇ Водѣ жѣвѣ(я) — находящаяся в движении, волнении морская вода. На жѣвѣй вѣды нѣдо ходитѣ по волнѣм. ПРИМ. 3. Зол.

◇ Вѣды урѣннѣ(е) — уменьшающийся уровень морской воды при изменении фазы луны в сторону ущерба. Ўсѣлы сѣмѣга на оджѣлѣх водѣх, то прибудѣ, а как на урѣннѣх водѣх — не будѣт. Она на оджѣлѣх водѣх, не на урѣннѣх. ПРИМ. 3. Зол. ◇ Водѣ приѣлѣ(я). 1. Вода, появляющаяся во время половеда. Бѣйлет на ѣйѣ приѣлѣя вѣды. УСТ. Снг. 2. Прилив. В ѣту рѣжку будѣт поидѣтѣ с приѣлѣй водѣ. Ўйѣб и с приѣлѣй водѣ не засорѣш и с пѣлѣй тѣжо. ОНЕЖ. Кянда.

◇ Водѣ убѣлѣ(я). 1. Спад воды после половеда. Убѣлѣя водѣ — на убѣль пошлѣ. УСТ. Снг.

◇ **Водить дела.** Исполнять, отправлять какое-л. дело, заниматься чем-н. *Дела вожу разные.* МЕЗ. Ким. *Молодой нарётчикакити ы делабе не вбдят* \ ЕЗ. Дор.

◇ **Водить песню (песни, стихи).** Исполнять, запевать что-н., причитать. *Пойёт, песни водит.* ЛЕШ. Вжг. *Фсв на голосах-то и вдра.* КАРГ. Лжп. *А тут стихи иещв вбдят. У нас кто умеёт, дак стихи вбдят.* ОНЕЖ. Там. *Заплэцки ббляют, она ревет, водит стихи да.* ОНЕЖ. Хач. **Водить водком**—постоянно водить за собой. *Вотком сначала водил.* ЛЕШ. Вжг. ◇ **Водить в ум**—держат в уме, иметь в уме. *Нисколько в ум собсьм не водил.* МЕЗ. Дор. ◇ **Водить совет** см. **совет**.

◇ **Водить вниманье** см. **вниманье**.

ВОДИТЬСЯ, -жусь, водится, несов., с кем-чем или без. доп. 1. Дружить—знаться с кем-н. *Не понравился, не будет ы водиче с тобой.* ВЕЛЬ. Сдрм. *Как стау с ийми водиче, так ы домой стау рётко ходит.* ВЕЛЬ. Леново. *Я с тобой не вожусь, сиди.* ПИН. Вальт. КАРГ. Нок. МЕЗ. Ким. Длгц.

2. Выращивать, воспитывать, обеспечивать уходом. О детях. Нячиться. *Йссыли с робенком вбдича, называйеца няня, раньше пестунья была.* МЕЗ. Дор. *Робят много было, водилась, отець промышлял.* ЛЕШ. Вжг. *Робенок йссь, а некому водиче, нать нянька наймовать. Не стану водич, со своим наводилась.* КАРГ. Нок. *Ф пестуньях-то водича некому з дёфкой.* В.-ТОЕМ. УВ. (нов.) ШЕНГ. ВП. П. Кот. ПЛЕС. Прш. Влс. Рязк. КАРГ. Лжп. Оз. Мас. Хот. Ляд. НЯНД. Стп. Врл. ВЕЛЬ. Сдрм. Лях. Леново. УСТ. Син. Подгорное. ХОЛМ. Сель. Пл. Ся. Собинь. ВИН. Морж. Конецг. В.-ТОЕМ. Горка. КРАСН. ВУ. ВИЛЕГ. Павл. МЕЗ. Ким. Лмжк. Длгц. Кар. ПИН. Влдж. Вальт. Квр. Сура. ЛЕШ. Цнгр. ПРИМ. З. Зол. Л. Зол. ОНЕЖ. Пди. Кянда. О детенышах животных, птиц, домашнем скоте. *Одна свишка водилась.* ВЕЛЬ. Сдрм. *Самки вбдича, иййца лбжат.* УСТ. Син. *Не умейт водича с кўрами.* МЕЗ. Дор. *Цюжыйе водилсе с хорьбой.* МЕЗ. Ким. *Она-то и не захотела водича с телятами.* ПИН. Квр. *Я со скотиной-то водилась,*

дак со фсёми вжывалась. ВЕЛЬ. Лях. ПЛЕС. Рязк. УСТ. Син. В.-ТОЕМ. УВ. КРАСН. ВУ. ПИН. Влдж. ЛЕШ. Вжг. ОНЕЖ. Там. //Разводить. О растенях. *Сб льном водича и кудбляо цыснить—это фсв равно одно и то же.* УСТ. Син. *Кто лучче водилась, у тоб и урожай хорьшой.* ПИН. Квр. *Не хотели новы, а у нас хтб-то водилась, рбстля (овоци).* МЕЗ. Дор. *Мя, бывало, с Йелёной ковди с капустой водилсе.* ВЕЛЬ. Сдрм. ОНЕЖ. Хач. //Обеспечивать уходом, содержать, ухаживать за кем-н. О больных, немощных людях. *Поббльки возмўт, опеть свернўса, тоды кто со мной будет водиче? Захотят ли друж жьть у таковой старўжи водиче.* МЕЗ. Дор. *Три годя ле два водилась со стариком.* ЛЕШ. Вжг. *Со мной водилсе, добр водилсе.* ВЕЛЬ. Лях. Сдрм. ПЛЕС. Рязк. УСТ. Син. КРАСН. ВУ. МЕЗ. Ким. ПИН. Влдж. ОНЕЖ. Там. 3. Заниматься каким-либо делом, производить какую-л. работу, возиться с чем-н. *С малых лет с рыбой вожусь.* ЛЕШ. Вжг. *З брвнами водиласа.* ПЛЕС. Влс. *Вбдимсе вот, я пособлёо.* КАРГ. Ляд. *Робота не тяжбла водиче да надоидёлива.* ВЕЛЬ. Лях. *З землей водилась да пряли.* ВИН. Морж. *Поставаю вдра, и тут пўсь кто хцет вбдича.* ВЕЛЬ. Сдрм. *Она фсв иещв вбдича с кўклами.* МЕЗ. Длгц. Дор. КАРГ. Нок. Хот. УСТ. Син. ВИН. Конецг. КРАСН. ВУ. ПИН. Вальт. Квр. ПРИМ. Ижма. 4. Находиться в употреблении, иметься в наличии, быть в хозяйстве, сохраняться. *Косья потолкаш, когди солбна рыба вбдичца.* ОНЕЖ. Там. *У меня мука фсвгд вбдича. Оны, бывалошии слова, иещв вбдича и оговтаивши.* МЕЗ. Дор. *Правда, у меня пбвж нету, а подтвержаны иещв вбдичца.* КАРГ. Нок. *Стаойны-те вбдичца.* КАРГ. Ляд. //Быть принятым, являться обычаем. *У нас так не вбдиче.* ОНЕЖ. Хач. ВЕЛЬ. Сдрм. //Расти, обитать где-н. (о животных и растениях). *Скокуйше вверо, там скокуди один вбдиче.* КАРГ. Нок. *Окол рўцки грибб не вбдичца.* ХОЛМ. Пл. *Они к хлбопам вбдичца.* ВИЛЕГ. Павл.

О. Г. Гецова

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

17 и 18 декабря 1968 г. в Ленинграде проходили организованные Институтом языкознания АН СССР научные чтения, посвященные памяти выдающегося советского языковеда и археолога академика Ивана Ивановича Мещанинова. Многие важнейшие проблемы науки о языке, входившие в круг исследовательских интересов И. И. Мещанинова, и сейчас находятся в центре внимания советских лингвистов.

Открывая чтения, А. В. Десницкая (Ленинград) отметила, что в темах докладов чтений отражен круг вопросов, стоявший в течение многих лет в центре исследований И. И. Мещанинова, и что такие научные чтения предполагается устраивать ежегодно — в знак того, что направление научных исследований учебного продолжает развиваться.

В докладе «О задачах типологических исследований и критериях типологической классификации языков» В. З. Панфилов (Москва) определил эти задачи в общем виде как установление закономерностей, способов реализации функции языка в качестве средства осуществления абстрактного мышления (в процессе внешней и внутренней выраженной речи). Он наметил основные этапы (аспекты) типологических исследований: 1) выявление того общего, что свойственно всем способам реализации указанной языковой функции, 2) установление различных способов реализации этой функции (языковых типов) в конкретных языках, т. е. тех черт, которые свойственны одному способу реализации в отличие от других, 3) выявление тех специфических черт, которые присущи тому или иному конкретному языку и отличающ его от других языков, представляющих тот же способ реализации (языковой тип). В. З. Панфилов остановился также на критериях типологической классификации языков и в этой связи дал детальный анализ типологических констант, связанных с такими языковыми единицами, как слово и предложение.

Доклад Ф. П. Филиппа (Москва) был посвящен некоторым вопросам истории синтаксиса восточнославянских языков (доклад печатается в настоящем номере журнала).

В докладе И. М. Тронского (Ленинград) «Развитие системы наклонений в греческом и латинском языках» показано, как процесс преодоления диффузности, свойственной общиндоевро-

пейской системе наклонений, проходил в греческом и латинском языках разными путями.

Греческий язык сохранил конкретные парциальные наклонения недействительности, а также использовал в модальном значении восходящие к инфинитиву претеритальные времена индикатива. Средством дифференциации значений внутри наклонений стала грамматизированная модальная частица. При учете ее как средства аналитической морфологии в греческой прозе V—VI вв. н. э. можно выделить, по меньшей мере, семь наклонений с дробно дифференцированными модальными значениями.

В латинском языке, как и в большинстве ветвей индоевропейской группы, конъюнктив и опитив еще до начала письменной традиции были сведены в единое наклонение с обобщенным значением недействительности (субъюнктив). Дробным греческим наклонениям соответствуют значения единого наклонения, дифференцирующегося временными противопоставлениями (настоящего-будущего и прошедшего), частнами и т. д. Со временем употребление субъюнктива в независимых предложениях все более группируется вокруг категорий долженствования, воли, желания и т. д. Обобщенное значение латинского субъюнктива способствует тому, что в придаточных предложениях субъюнктив становится выразителем не только собственной модальности предложения, но и тех связей, которые имеют место между подчиненным и подчиняющим.

В докладе «К вопросу о возвратных местоимениях в алтайских языках» О. П. Сунник (Ленинград) на обширном материале показал, что те словоформы, которые в грамматиках отдельных алтайских языков именуются обычно «возвратными местоимениями», либо не являются местоимениями вообще, либо, если это местоимения, то местоимения определительного типа (аналогичные русск. *сам*). В некоторых синтаксических функциях алтайские слова со значением «сам», «свой» (происходят из алтайских слов с семантикой «особа», «тело», «человек» и т. п.) в разных словоизменительных формах могут выражать, в частности, и то, что в индоевропейских языках выражается часто специальной категорией местоимения — местоимениями возвратными (или рефлексивны-

ми). Несомненная структурно-типологическая и материальная общность в области средств выражения грамматического понятия «возвратности» во всех алтайских языках свидетельствует, по мнению докладчика, в пользу теории, объясняющей материальную и типологическую общность алтайских языков происхождением их из общего праалтайского языка, а не одними только взаимовлияниями групп этих языков в эпоху их обособленного развития.

В докладе «О выражении единичности и множественности в эскимосско-алеутских языках» Г. А. Меновщиков (Ленинград) на обширном материале показал, что грамматическая категория числа (единственного, двойственного и множественного) выступает лишь одним из способов выражения понятийных категорий единичности и множественности. Особое внимание Г. А. Меновщиков уделил характеристике способов обозначения категории множественности посредством различных групп имен собирательных, имен вещественных, а также лексико-семантическими способами.

В. Н. Ярцева (Москва) в докладе «Типология морфологизованных и неморфологизованных значений в разнотипных языках» обратила внимание на то, что выяснение взаимосвязи формы и содержания в грамматике важно как для типологического сопоставления различных языков, так и для понимания отношений между различными уровнями структуры одного языка.

За многообразием языков мира вскрываются некие общие «базисные» понятия (что и позволяет ставить в лингвистике вопрос об языковых универсалиях), однако, их грамматическое выражение для разных языков во многих случаях не может быть размещено в пределах одного языкового уровня. Поэтому при передаче одного значения (т. е. при ориентации на план содержания) как при сопоставлении разных языков, так и при проведении трансформаций в пределах одного языка, по мнению докладчика, следует выделять три типа процедур: 1) процедура коррелятивных замен; 2) процедура преобразований и 3) процедура синонимических перифраз.

В докладе «К вопросу об элементах структуры предложения» П. Я. Скворик (Ленинград) отметил, что книга И. И. Мещанинова «Члены предложения и части речи», в которой значительно углублено традиционное представление синтаксическом членении предложения, продолжает сохранять значение как для дальнейшей разработки общей теории грамматики, так и для изучения грамматического строя конкретных языков.

Проблема инкорпорации, которая имеет более чем вековую историю, продолжает оставаться остро дискуссионной (при этом докладчик признал неоснователь-

ным обращение к правилам орфографии, т. е. к случаям раздельного или слитного написания инкорпоративных комплексов, как к аргументу в научном споре).

В работах И. И. Мещанинова инкорпорация рассматривается как один из способов выражения синтаксических отношений, однако отношения эти выделяются из совокупности синтаксических отношений, выражаемых сочетанием слов. Тем самым выделяется и инкорпоративный комплекс как особая структурная единица предложения, отличная от всех других его структурных единиц. Проведенные в последнее время углубленные исследования подтверждают и в определенной мере уточняют это положение И. И. Мещанинова, свидетельствуя о том, что отношения между компонентами инкорпоративного комплекса лишь соответствуют определенным синтаксическим отношениям, но не тождественны им. Инкорпоративный комплекс является особым элементом структуры предложения в языках определенного типа. Этот элемент четко ограничен как от слова, так и от словосочетания, хотя имеет общие с ними признаки. Морфологическая цельность объединяет инкорпоративный комплекс со словом, но своей лексико-семантической речлененностью (выражающей определенные грамматические отношения) он отличен от слова и сходен со словосочетанием, от которого в свою очередь отличается морфологической цельностью.

В. М. Павлов (Ленинград) в докладе «О понятии „синтаксического отношения“» поставил вопрос о необходимости различать «динамическое» и «статическое» синтаксические отношения. В понятии «динамического» синтаксического отношения учитывается признак соотношения слов в акте речи в соответствии с действующей синтаксической моделью. «Статическое» синтаксическое отношение устанавливается в результате применения критерия «выражения признака понятия в другом слове» (при условии употребления слов в их прямых номинативных значениях) при анализе текста. Не выходя за пределы этого критерия, нельзя отделить в теории так называемые «свободные» синтаксические образования от устойчивых словосочетаний и в первую очередь — от тех из них, в которых нет сколько-нибудь заметных смысловых наслоений на семантику лексических компонентов и грамматической формы их соединения.

В заключение акад. В. М. Жирмунский (Ленинград) кратко отметил важность прошедших чтений и сообщил о том, что готовятся к печати избранные труды И. И. Мещанинова в четырех томах.

КНИГИ, ЖУРНАЛЫ И БРОШЮРЫ, ПОСТУПИВШИЕ В РЕДАКЦИЮ

Приводимый список подтверждает получение посланных в редакцию книг. Редакция благодарит издательства и авторов, направивших книги в адрес редакции журнала «Вопросы языкознания». Редакция сообщает, что она не может гарантировать рецензирование всех присланных в редакцию книг. Рецензии помещаются в зависимости от возможностей и от профиля журнала, два экземпляра оттисков рецензии высылаются издателям или авторам. Присланные книги не возвращаются.

- Прилози проучававу jezika. 3. 1967. 230 стр.
 Archivio glottologico italiano. LII, 1967. Стр. 105—196.
 Brno studies in English. 1968. 165 стр.
 Rassegna italiana di sociologia, 2. 1968. Стр. 190—425.
 Studies in Hindi — Urbi, I.— Deccan college, 1968. 87 стр.
 Československá rusistika, XIII. 4, 1968. Стр. 197—260.
 Slovo a slovesnost, XXIX, 2. 1968. Стр. 113—225.
 P. A r i s t e. A grammar of the Votic language.— Bloomington, 1968. 121 стр.
 E. B a l a c z k y, A. Hollós, Oszláv nyelv.— Budapest, 1968. 198 стр.
 I. C o t e a n u, Où en sont la philologie et la linguistique roumaines?— Bucarest, 1960, 67 стр.
 U. O o m e n. Automatische syntaktische Analyse.— Mouton, 1968. 84 стр.
 A. O r t i z, E. Zierer. Set theory and linguistics — Mouton, 1968. 61 стр.
 F. R o s s i—L a n d i. Il linguaggio come lavoro e come mercato.—Milano, 1968. 243 стр.
 H. S c h m e j a. Der Mythos von den Alpengermanen.— Wien, 1968. 91 стр.
 Z. V e n d e r. Adjectives and nominalizations.— The Hague, 1968. 134 стр.
 С. И. Б а е в с к и й. Описание персидских и таджикских рукописей Института народов Азии.— М., 1968. 102 стр.

ИСПРАВЛЕНИЕ

В рецензии В. И. Абаева (1969, № 1, стр. 108, в левой колонке 30-я строка сверху) следует читать: «сыном Папака, а не Папа».

CONTENTS

Articles: E. Kuryłowicz (Kraków). Inflections of adjectives in Baltic and Slavic; B. A. Serebrennikov (Moscow). Did nominal classes exist in Proto-Uralic?; **Discussions:** M. M. Makovskij (Moscow). A tentative typological description of lexical-semantic systems; E. M. Mednikova (Moscow). A critical review of some modern methods in linguistic semantics; **Contributions to the discussion on the Slavonic akanje:** Y. Rigler (Ljubljana). The problem of akanje and its importance for all the Slavonic languages; P. Ivić (Novy Sad). On the dating of akanje in the Slavonic languages; **Materials and notes:** F. P. Filin (Moscow). The nominative form of feminine nouns in *-a(-a)* for designating the accusative in the East Slavonic languages; V. A. Dybo (Moscow). Middle-Bulgarian texts as source for the reconstruction of Proto-Slavonic accent; I. I. Revzin (Moscow). The so-called «unmarked plurals» in modern Russian; M. G. Priadokhin (Moscow). The semantic structure of unfinished utterances—the special type of Chinese fixed word-combinations; S. B. Tošian (Yerevan). Syllable-division and structure of the syllable in Armenian; **From the history of linguistics:** V. P. Vomperskij (Moscow). An unknown grammar of the Russian language by I. S. Gorlickij (1730); **Critics and bibliography;** **Scientific life:** A. S. Amanjolov (Alma-Ata). The Ili runic inscriptions; O. G. Gecova (Moscow). On problems of dialectal lexicography.

SOMMAIRE

Articles: E. Kuryłowicz (Cracovie). Desinences des adjectifs dans les langues baltiques et slaves; B. A. Serebrennikov (Moscou). Les classes nominales, existaient-elles en proto-ouralien?; **Discussions:** M. M. Makovskij (Moscou). Essai d'une caractéristique typologique des systèmes lexico-sémantiques; E. M. Mednikova (Moscou). Critique de quelques méthodes modernes de sémantique linguistique; **Contributions à la discussion sur l'akanje en slave:** Y. Rigler (Ljubljana). Le problème de l'akanje et son importance pour toutes les langues slaves; P. Ivić (Novy Sad). Le phénomène d'akanje et la date de son origine dans les langues slaves; **Matériaux et notices:** F. P. Filin (Moscou). Contribution à la syntaxe historique des langues slaves d'est. La forme du nominatif des noms féminins en *-a(-a)* pour désigner l'accusatif; V. A. Dybo (Moscou). Textes moyen-bulgares comme source pour la reconstruction de l'accent proto-slave; I. I. Revzine (Moscou). Le prétendu «pluriel non-marqué» en russe moderne; M. G. Priadokhine (Moscou). Structure sémantique de l'énoncé non-fini — un type spécial des groupes de mots fixés en chinois; S. B. Tošian (Yerevan). Division de la syllabe et structure de la syllabe en arménien; **De l'histoire de la linguistique:** V. P. Vomperskij (Moscou). Une grammaire russe inconnue de I. S. Gorlickij (1730); **Critique et bibliographie;** **Vie scientifique:** A. S. Amanjolov (Alma-Ata). Inscriptions runiques d'Ili; O. G. Gecova (Moscou). Problèmes de lexicographie dialectale.

Технический редактор Н. А. Кондрашова

Служба в набор 26/II—1969 г. Т-05786.
Зак. 1900 Формат бумаги 70×108³/₄

Подписано к печати 8/V—1969 г. Тираж 6725 экз.
Усл. печ. л. 16,1 Бум л. 5¹/₄. Уч.-изд. л. 16,2